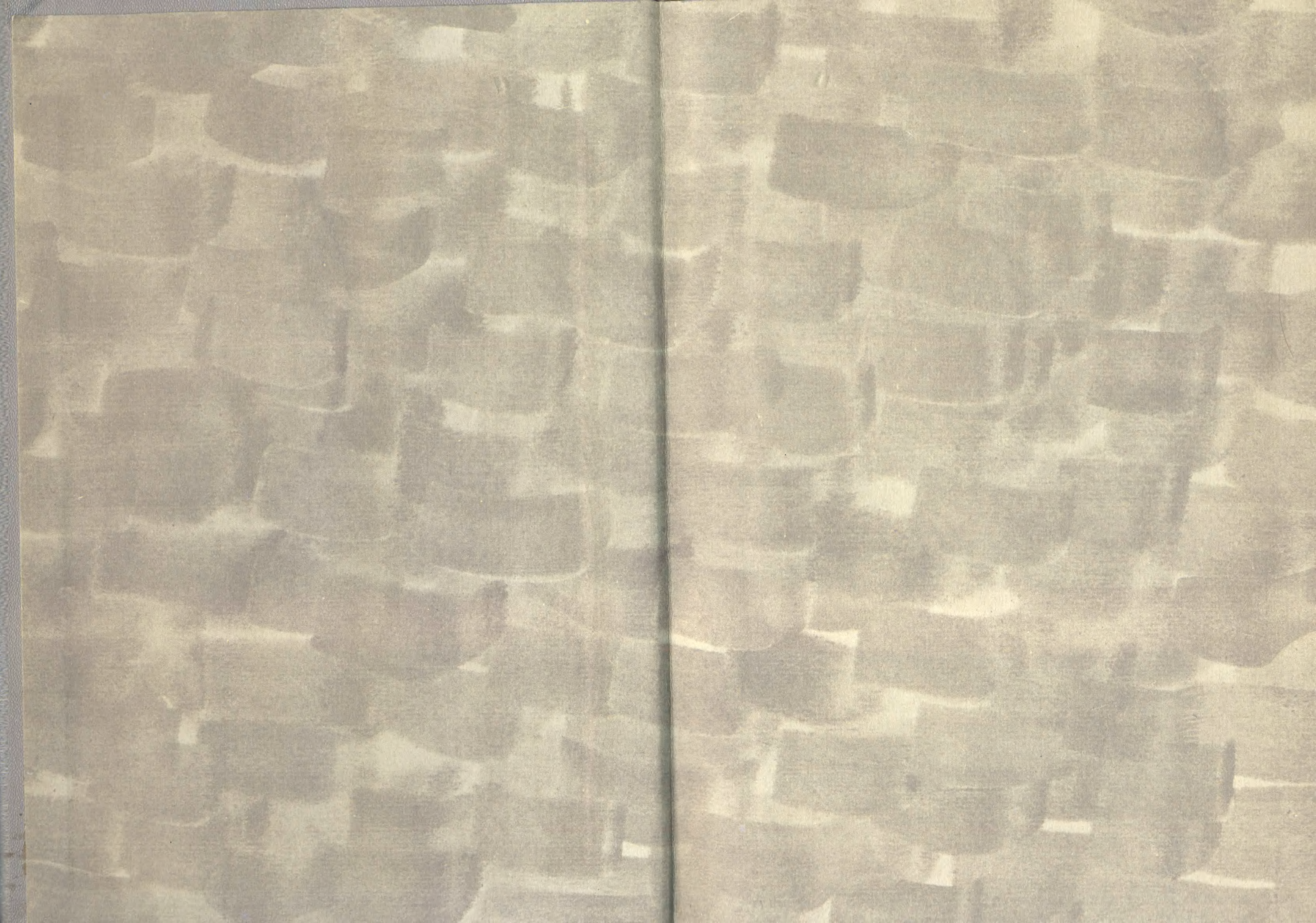
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

2

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ 2



ЛЕОНИД ЛЕОНОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ





МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

✻

ТОМ ВТОРОЙ

БАРСУКИ

Роман



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р2
Л 47

Примечания
ОЛЕГА МИХАЙЛОВА

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

Л $\frac{4702010200\text{-}038}{028(01)\text{-}82}$ подписное

БАРСУКИ

Роман

Жили-были
Два брата родные,
Одна мать их вспоила.
Равным счастьем наделила:
Одного-то богатством,
А другого нищетой!

(Слепцы поют)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. ЕГОР ИВАНЫЧ БРЫКИН ЖЕНИХАТЬСЯ ЕДЕТ

Прикатил на Казанскую парень молодой из Москвы к себе на село, именем — Егор Брыкин, званьем — торгаш. На Толкучем в Москве ларь у него, а в ларе всякие капризы, всякому степенству в украшенье либо в обиход: и кольца, и брошки, и чайные ложки, и ленты, и тесемки, и носовые платки... Купечествовал парень потихоньку, горланил из ларя в три медных горла, строил планы, деньгу копил, себя не щадя, и полным шагом к своей зенитной точке шел. Про него и знали на Толкучем: у Брыкина глаз косой, но меткий, много видит; у Брыкина прием цепкий, а тонкие губы хватки,— великими делами отметит себя Егорка на земле.

А за неделю до Казанской нашел Брыкин стертый пятак под водосточным желобом. С пятака и пристала к нему тоска. Осунулся и помертвел, вся скупая пища, какую принимал, на разращенье его тоски пошла. Тут как-то, сидя на койке у себя со свечкой, сосчитал Брыкин сумму богатства своего и задумался. Причудилось ему, что уже настало время удивить мир деянием большого человека Егора Брыкина, а тоску за предвестье славы своей счел. Парень он был коммерческого смысла, знал потехе меру, деньгам счет, высшему чину лукавый почет, а себе истинную цену. Пораздумав вдоволь и дело обсудя с городским своим приятелем Карасьевым, порешил Егор к жнитву домой жениться ехать.

Назаровскую, с лихими бубенцами, нанял он со станции тройку,— четвертной билет Егору в женитьбенном деле не расчет. Ямщика щедро выпоив чаем с баранками, чтобы в Сускии не ночевать, сел пошире да поскладней на все сорок четыре скучных версты, сплюнул из-за папироски, покрестился со смешком на иконку в подорожном столбе, сказал ямщику, речисто и степенно:

— Правь.

Дернул коренник, свистнула по пристяжке вожжа. Трескуче защебетали железные шины по крупному щебню станционного шоссе. Потом свернули в сторону, смягчилась дорога высокой топкой пылью. Куриные домики станционной мелюзги сменились тяжкими ржаными полями. А вокруг двинулись, уплывая назад, старознакомые виды Егоровой стороны.

Плыли мимо глухие овраги, сохраняющие к далекой осени влажный холодок, и рощичка крохотная, о семнадцати березках, стоящих на отлете под пылью и ветром, плыла. Проплывало ленивое и чинное, как ржаной ломоть, все насквозь соломенное Бедряга-село, и полянка резвая убегала, на которой, в гостях у бедрягинского дядьки, игрывал в лапту с ребятами Егорка.

Заяц проскакивал на опушках, и воробьи взлетали со свистом крыл. Старенький попик в заплатанной ряске проползал мимо, кланяясь и сторонясь ко ржи. Бабку обгоняли, бредущую к ровеснице за семь верст — навестить, новости выведать, хлебца откушать,— не погорчал ли у подружки хлеб. И над ними над всеми буйным облаком взвивалась от Егорова поезда густая дорожная пыль.

Любо стало Егору Брыкину озирать с высокого тарантасного сиденья все эти когда-то пешком пройденные, полузабытые места. Вишь — и небушко, милое, не каплет! И ржица доцветает, а ветер бежит по ней, играя облаком дурманной ржаной пыльцы. И телепочек, рябенький голубок, у загороды привязан стоит. И солнышко над дальним синим лесом, усталое за день, медленно клонится к закатной черте. И впрямь отдохни, родное: надоест еще тебе мужицкую жатву полуденным жаром обвевать!

Взыграла Егорова душа.

— Как, не зажинали еще по волостям? Не слышно?

— Куда ж еще зажинать! — смеется беззлобно ямщик. — Ведь рожь — она как? Она две недели выметывается, да две цветет, да две наливает... а тут она, глянь, еще и не побелела! Вот Гусаки, сказывано, уж и серпы зубрят,— не оборачиваясь, в бороду гудит ямщик.

— Зубря-ат! — степенным гневом вспыхивает Егор. — Ровно татаре аль цыгане там твои Гусаки! И в самый светлый день — крути, Махметка!..

Вожжи вскидываются на потные лошадиные спины. И опять одолевает неустанная назаровская тройка тягучие, ленивые версты. День переменяется на вечер. Холодеют дали кругом. В тонкой пыли посерели лакированные жениховские сапожки.

Приятным дремотным ручейком текут мечтанья сквозь Егорову голову. Как приедет, так и пойдет к Мите Барыкову в гости, с гармонью, на выселки. И как придет, так и сядут они, два, рядышком на крылечке, так и заиграют дружно на двух гармонях, вместо пустых разговоров — как жил, что пил, чем похваляться приехал. А потом, пооткинув гармонь за плечо, вытянет Егорка сапожки свои, Мите в зависть и раздраженние, да и вытащит из кармашка ненароком серебряный свой, полных восемьдесят четыре пробы, с голой дамочкой на крышке, портсигар: «Не угодно ли папиросочку тонкого формата, Дмитрий Дорофеич? Табачок самый турецкий, четвертак коробка, в магазине куплено!..»

Замечтавшись, томно клонит голову на плечо Егорка. Сладко жениху предчувствовать собственной свадьбы угарную пьянь. Ох, Егорка, житье твое просторное! Вон сколько места предоставлено земной твоей славе!

— Только б папенька не помер. Всем делам подгадит,— вздыхает вслух Егор Иваныч и опять поникает головой.

— Чего-о?.. — равнодушно тянет ямщик.

— Много ль осталось, спрашиваю! — грубо кричит Егор и косится злым взглядом на морщинистую грязно-красную ямщиковую шею, и ежится, разбуженный от мечтаний, в своем люстриновом пиджачке.

— Да вот сам считай... От Бедряги до Рогозина пяток наберется, да две проехали. Да от Рогозина до Сускии десять. Вот тебе и выходит...

А уж меркнет безветренное небо. В краю луга дотлевает за дальними лесами ласковая полоска зари. Подорожные кусты стоят ровно и кругло. Приходит в тот край большой покой трудового сна.

Вдруг стала тройка. Скинулся с козел, вглядывается в сумерки кустов ямщик. Потом, на ходу разминая затекшие ноги, идет неспешно к тем кустам. А мать Егора догадливым родила,— кричит Егор Иваныч:

— Ой, никак, ваше степенство, капустки с сыренькой водичкой обхлебались?

Тот будто и не слышит. С возрастающей тревогой подается из тарантаса Егор. Склоняется ямщик к кустам, даже и обрывки его речи не доходят до настороженных Егоровых ушей. Ямщик идет обратно, несет на руках мальца лет тринадцати, легко — точно липового. У мальца губы запеклись, как в бо-

лезни, лицо — цвета праха и пыли, а руки висят, словно и нет их, а рукава одни. Обессилевшее тело мальца покорно и гибко в коротких руках ямщика.

— Неужели клад отыскал? Чур, пополам! — трескуче хохочет Егор Иваныч.

— Пополам и придется,— слышит Егор в ответ. — Ну-ко, примости его направо да попридержи: как поедем... не выпал бы!

И, не дожидаясь Егорова согласья, впихивает ямщик найденыша к Егору на сиденье. Малец дрожит, бессильным стебельком клонится на возмущенного Егора.

— Эй, борода! — хорохорится тот и с негодованием отстраняет лакированный сапожок от грязного мальцова лаптя. — Ты меня, кажись, одного нанимался везти. Парень и так добежит. На парня у нас с тобой уговору не было.

Ямщик рывком трогает с места. Смолкает и Егор Иваныч, тронутый внезапным соображением: «Ой, медведя, Егорка, не серди! Места глухие, воровские, болотные. И сгниешь ты, Егорка, со всеми сундучками и турецким табачком в болотной дырке, бесславно и безвестно».

Тут предночной ветерок подул и колыхнул верхушку проползавшей ветлы. Золотое полотенчико померкающей зари порвалось в лиловые клочья. Пыль прилегла, и задымились росы. Неутомимые, на стежках застрекотали ночную песню кузнечные хоры. Опять бегут под колеса сажени и версты, еле успевает переступать по ним разгоряченными ногами коренник.

Село Раския! Маячит в сумерках белый толстый храм торгового села. Горят костры по низкому берегу Мочиловки,— светляки полусонному взгляду Егора Брыкина. Картуз нахлобучивает поглубже Егор Иваныч и мальца прихватывает к себе, чтоб не слишком бился на ухабах. Опять в неглубокий омут жениховских мечтаний уходит Брыкин с головой.

Как приедет — спать. А с утра оделит Егор Иваныч сродников гостинцами, знакомцев поклонами, степенным щелчком зазевавшегося мальца. Потом, гармонь потуже подтянув к плечу, айдакнет Егор Иваныч к Митьке в гости. А уж к вечеру и повытомит он и статных девок, и крепких вдовух, и засохших вековух и сапогами, и гармонью, и тонкими, немужицкими разговорами, в которых что ни слово — ровно томпаковое кольцо: и блестит, и сердце голубит, и скинуть его с перста не жаль. А что ряб Егор Иваныч, как рогожка, так ведь лицо что? Лицо — что пол: было бы вымыто.

Зато, как отгуляет он холостые денечки, зашлет свахой Катерину Тимофеевну, попадью и ябеду, к Бабинцовым на двор. И наказа своего повелит не преступать: чтоб не сразу выкладывала Егоров помысел, а почванилась бы вволю, будто невеста с глуховатинкой, будто уж и перины в чулане подопрели, и шубы повылезли, ожидая зятя Григорию Бабинцову, Аннушке — мужа и хранителя. Катерина Тимофеевна в жизни знает толк: толста, и слова у нее круглые. Закуролесит всю волостную округу Брыкин. Все гармони на десять верст округ похрипнут от Егорова веселья. Ой, великое куриное пьянствие, ой, мирская смехота!

— Паренек-то родственничек тебе аль как? — ластится к ямщику раздобревший от довольства своего Егорка.

— Своих не признаешь. Знать, дома давно не бывал? — кряхтит ямщик. — С коровами-то — слышал? — беда вышла.

— Ан и не слыхивал... Какая? У нас, говоришь, в Ворах, беда?

— Все бы нам подешевше,— раздумчиво укоряет ямщик,— а за дешевку-то впятеро платить. Максимку Лызлова памятуешь?

— В пастухах который? Ну! — торопит Егор.

— Заспал на солнышке, по старости... а пастушата — ведь вон экие, их самих пасти впору — дудки резали. Коровы — восемь ли, девять ли голов — спустились на поемку...

— Ой! — пугается Егор, сдвигаясь с сиденья.

— Вот те и ой. Спустились да вёху и обожрались... Подохло пятеро. Остальным фершал чекмасовский — Шебякин, что ль? — пузья прокалывать наезжал.

— Выходили? — волнуется Егор, ерзая по сиденью.

— Да не известны мы.

Переезжали мосток. Бревна хлопали, колеса стучали, мешали слушать.

— ...парнишку, евойного братеня, крепко побили, в кулаки. Шестнадцатый всего парнишке. Да што, коров-то не подымешь! А этот вот убег да четыре, вишь, дня в лесах бродил. Сенькой-то тебя, что ли? — спросил он вдруг мальца, пугливо вскинувшего большие, в кругах, глаза. — Задичал! А мать в реке багром шарила. Темные мы, ровно под землей живем...

Ахает Егорова душа: неужто и твоя, Егор, корова в счет попала? А корова — месяц целый крику на Толкучем, земляка в трактир не сводить, с Карасьевым в праздничек пивком не

побаловаться. Да еще новый дом в Ворах в голубой оттенок красить сбирался...

И тут же в память идет: и их — Егорку, да покойного Алешу Босоногова, да Андрюшу Подпрятова, да Митю Барыкова — в детстве влекло на Глебовскую пойму, где высокого вёха полые палки ненасытно сосут черный жир из заболоченной земли. Из вёха цыкалки делали и дудки. Под вечер шли домой и трубили все четверо дружным хором и наперебой, распугивая куликов и кур, брюхатых баб и молодых телят. Егорке и прозвание было дадено: Егорка Тарары.

Небо стало глубже и темнее, увеличиваются в нем стайки звезд. Придвигается последний перелесок, за ним — Воры, Егорова родина. Лихо козырек пооткинув, носовым платочком обмахивает Егор Иваныч пыль с сапог.

— Да уж и то сказать! — рассудительно внушает Брыкин. — Уж больно народ у нас дик. Били нас, надо сказать, мало. Ноне, к примеру, жалобитесь да слезой текете, а завтра как хлобыснете по священному-то месту... Серость в вас!

— А сам-то, аль в графья пошел, как в городе пожил? — в первый раз оборачивается ямщик; из его деревянной рожи, распустившейся в острую насмешку, узятся презрительные старичьи глаза.

— Ну-ну, уж не щерься... правь, правь! — рычит на него Брыкин, скаля зубы и кося глаз на близкое село. — Ты знай свое дело, чеши бороду!..

Ямщик злобно и тупо смотрит на Брыкина и вдруг рывком поворачивается к лошадям.

— Э-э-к, вы... собачки зеленые! — с надрывом и дико кричит он, и кнут его свистит на всех трех разом.

Тарантас, хрипя рессорами, вспрыгивает и ныряет в последнем ухабе, на взъезде в село. Охватило знакомым духом жилых изб. Полаяла на троечное колесо собака. Лихие, безудержные, из последних сил раззвенелись по селу бубенцы.

Ночь.

II. САВЕЛИЙ ПРИСТРОИЛ РЕБЯТОК

Превеликим загулом проводил Егор Брыкин холостые свои деньки. Еще и до свадьбы стал Егорка Егор Иванычем зваться, а как оженился, так и совсем возвеличился на всем миру

Егор. Играли свадебку в новом доме, в сослужении родственников и свойственников, песенников и попов. Воистину куриная смехота: напитков и наедков не перечислить, пахло свежей краской, ломился от пляски пол.

А один из наезжих сродников, дикой, невиданный дядя, так балаболил в соседней волости об Егоровом величестве:

— Ой, дедуньки... Гармони пеяли, девки пеяли, попы пеяли. Хошь — кушай, хошь — слушай. А дом! Вот это дом, одна печь вдвое больше избы... Вот уж дом так дом! — и пьяными ногами расписывался в справедливости рассказа своего. Да и не один дядя только.

Погуляв же месяц-другой, собрался Брыкин в город. Правда, горяча и неустанна в любви, как и в пахоте, Аннушка Бабинцова, теперь законная Брыкина жена, и руки у нее мягкие и жадные, и губы сладки, как большая лесная ягода,— скуки с такой женой не ведать, какая длинная ни случись ночь. Но и ларь не ждал: каждый день — заметная убыль, каждый час — рубль. С молодой своей супругой совсем обносился и лицом и карманом Егор Иваныч. И покуда собирался вернуться к своим крикливым будням, зазвал его к себе Савелий Рахлеев, поротый.

Яишенку смастерив и раздобывшись у соседа настойкой в долг, стал Савелий, руками махая, приклаииваясь и потчуя, рассуждать вслух о разном. Одно в его бестолковых рассужденьях ясно было — совсем его невозможность одолела.

— Да вот и с коровами-те какая провинность! Кто его знал, вёх? Растет и растет, явственный факт. И никогда такого не случалось, чтоб на него скотина льстилась. В нем и соку-те, понимаешь, никакого нет, ни кровиночки... одно деревянное стволье! — Савелий в этом месте пошикал на жену, Анисью: — У-у, ровно метелка в углу стоишь. Присударкивай гостя-т, непоклонная!

Егор Иваныч сидел в красном углу, пыхтя от сознанья собственной славы и от тугого воротника. Временами, поддакивая и наморщивая небольшой лбишко, ковырял он ложкой яичницу, посапывал и молчал.

И опять разливался слезой да жалобой Савелий. В такие времена велика трудность в хозяйстве. Мальчонок — не баран, шерсти не настрижешь, а хлеба ест много. Хозяйство беднеет с каждым годом, двор падает, и боров прошлой осенью, ровно назло, сдох.

— Нищаю... А каб была у меня зацепка в городе, отдал бы я мальцов своих туда. Сыт, одет, и не думается. Глядишь,

и набежит с каждого хоть по серебряному рублику за три месяца. Хлеба не едят, и то барыш! — жалобно прокричал Савелий и, в бессилье выпучив глаза, присел на лавку.

— Разве у нас там рубль — деньги? — пожал плечами и посклабился Егор Иваныч. — В Москве тыщи цельные по улицам бегают, а от рублей-то мозоли на руках вспухают. Конечное дело, сноровка нужна вовремя рублик попридержать. — Тут Егор Иваныч встал, отпихивая в сторону недогрызенный огурец. — Так вот: ты, Савелий Петрович, готовь подводу к завтрему. Беру мальцов твоих... И меня уж зараз отвезешь.

Проговорив так, поиграл плечиком Егор Иваныч, посмотрел на серебряные часы и вышел. В сенях тащил с колодца бадью с водой хромой Пашка, старший Савельев. Ему дав одобрительного щелчка, произнес строго Егор Иваныч:

— Ну, хромка, сбирайся в город со мной. Просватали!

Шум поднялся в рахлеевской избе по уходе Брыкина. Мать кричала на отца, а тот отпихивался и отнекивался:

— Что-о? Это я-т, выходит, пьяница? Носоватов, князь, величественный человек, как я в Пажеском-те корпусе служил... «Пей, говорит, Савелий! Питье украшает жизнь, пей!» А я рази для украшенья? Рази тот человек пьяница, который от горя пьет?.. Да и ребят-те я с кровью, может, от сердца отрываю! Не-ет, это ты совсем неверно.

Тем и докончил Савелий, что допил единым духом остатки, мутневшие на донышке, и сбежал от Анисьи на весь вечер в разговоры по мужичкам.

...Утро, подкованное легким морозцем, бодрило и отбивало сон. В то серебряное утро уже стемна ждала у брыкинского крыльца Савельева подвода. Братья, Сенька и Пашка, сидели в телеге, укутанные в самое новое, какое нашлось у матери, тряпье, и пучились на отца. А отец, суетливый и маленький и уже не без пьянцы, все подхихикивал кому-то воображаемому и попрыгивал вокруг своего конька, смешного, усатого, жалкого, как он сам. Черные брыкинские окна тускло тлели красными и желтыми бликами скупой осенней зари.

Тут на крыльцо Егор Иваныч вышел, застегнутый на все пуговицы, заспанный и сердитый. Шея его была обвязана полосатым, толстенной шерсти шарфом — супругин дар. Сзади Брыкина, заплаканная, явилась сама Егорова молодайка.

— Ну, прощай, жена,— сурово сказал Брыкин и тут же не удержался, чтоб не щипнуть жену вдобавок к недавней утехе. — Жди гостинцев, Анна.

— Да хоть на народе-то не мни, мучитель! — отстранилась та. — Замял ты меня совсем.

— А что ж? Не убудет, а любо будет! — притворно засмеялся Брыкин. — Так, что ль, Савель Петрович?

Но Савелий только мигал, и рот его плыл униженной, поддакивающей улыбкой. Пашка угрюмо отвернулся и глядел куда-то в угол, где на выселках горел в заре пестрою резьбою дом лавочника Сигнибедова. Сеня дремал.

— А что, Савель Петрович,— приступил к делу Брыкин, не выпуская из узкой ладони пухлой жениной руки,— меринко́-то подгуляло твое! Уж больно брюхо-то у него отвисло, прямо по земле волочит. Не довезет четверых-то!

— Гэ-э,— затрепыхался в воробьином смехе Савелий, одергивая кушак и смехом же надувая щеки. — Скажешь ты, Егор Иваныч, плешь тебя возьми! Да рази ж в лошади брюхо важно? В хрестьянской лошади, гэ-э, зубы главное! Она зубами пищу принимает, жует, одним словом... Да ноги еще! А брюхо-то, уж извини, это никакого влияния не оказывает...

И он подтягивал узду, бегал всемеро больше, чем того требовала минута, не переставая распевать с пьяным благодушием:

— А зубы у него все целехоньки. У меня, посмотрикось... — он раскрывал темную дырку рта,— все растерял! А у него зубок к зубку, ровно у белки...

Уже садясь в подводу и кутая соломой зябнущие ноги, в последний раз поучал Брыкин жену:

— Не плачь тут попусту. Не мокри дома. И баба должна иметь свое соображение. Полушалок я тебе с первой оказией пошлю. Что обещано, то у меня тверже горы стоит.

— Да я не беспокоюсь,— всхлипнула молодайка. — По мне, хоть и совсем не присылай...

Егор Иваныч достал папиросу, затянулся. Потом деловито тронул Савелия пальцем в плечо:

— Трогай... К поезду надо поспеть.

— Поспеем! — беспричинно захохотал Савелий.

Скрипнула на дорожной ямке ось. Еще раз, но громче, всхлипнула Аннушка:

— Полушалок-то с Барыковыми, как поедут, пошли...

Худящий, одряхлевший пес просунулся в плетень, потявкал для прилику. Потом избенки двинулись назад, а Савелий задергался от понуканий, требуя резвых рысей от престарелого Воронка.

Мимо дома проезжали, догнала их у колодца Анисья, мать. Задыхаясь от бега, сунула в колени ребятам две горячих, с подгорелым творогом, лепешки и хотела говорить что-то, не имеющее явственных слов, а только одну боль материнскую расставанья... Тут вдарил Савелий всем кнутовищем вдоль Воронка, и взыграл тот кривыми ногами и обвисшим брюхом. Егор Иваныч сунулся носом в Савельеву спину, чертыхнулся, сломал папироску и погрозил Анисье кулаком. Что-то кричала еще Анисья, а впереди уже начинался лес. Поднимался там снежный парок. Еще пуще здесь, чем в открытом поле, зудило ноздри морозцем. В зимний убор обряжался умирающий лес.

На первой развилине пути — правая шла в Гусаки — выплюнул Егор Иваныч сломанную папироску.

— Бабы бабы и есть! — с досадой отрубил он. — Ну чего ей бегать, ровно бешеной? Ну-ко двинься, малец, не грязни сапога.

— А как же! — охотно откликнулся Савелий. — Вот ты даве меринка моего хаял. Я и говорю, у лошади, говорю, зубы главное. Она зубами пищу принимает. А брюхо — это никакого влияния...

— Ладно, ладно... на пень наедешь! — оборвал его Брыкин.

Голые, предзимние леса бежали по сторонам. Шмыгали малые лесные лысинки, мертвенные от проиндевелой зелени. Прошагивали мимо широким шагом темные сосновые стволы. «...И вот переменилась жизнь ваша, Егор Иваныч. Давно ль в холостом виде по земле гулял, и никаких забот, кроме как родителям пятерку в месяц для благолепия дома и во исполнение христианской заповеди. Вот тоже и Аннушка! Девочка была — насмешкой и недобрым словом Егорку шпыняла: и ряб, и мал, и глаза заместо пуговок к штанам бы! Но и тогда Егорка Тарары на бойкую Анку зуб точил. Ах, погодите, Анна Григорьевна, все на свете совсем не окончательно. Почем знать, может, милей всех стану, может, и детенычка спородите от убогого, лупоглазого Егорки!»

...И вот стала Аннушка законной хозяйкой в брыкинском дому. Будет теперь в город к мужу покорные письма слать. Летом — полевые тяготы на Брыкиных; зимами — сидеть будет под оконцем, сиротливая да скучная, в непрестанной тревоге — не завел ли другую — ждать. И от любви московского магазинщика Егора Брыкина заведется в дому тихонький мальчик. Ему будешь ты, Егор Иваныч, в письмах слать родительское

благословение, а в приезды учить пониманию жизни, не снимая кожи, но внедряя покорство и ум. Ах, какие развлечения наполнят житейскую твою скуку, Егор Иваныч!

Страшились шевельнуться Савельевы ребятки, хоть и давил Пашке на ногу ящик с яблоками, а у Сени затекла нога. Боялся вынуть ногу из-под ящика Пашка, словно мог обидеться брыкинский ящик. Сеня дремал, склонясь на Пашкино плечо. Все чудился ему почему-то скворечник, что стоит, привязан к черемухе, перед домом. Во все последующие годы, когда думал о родном селе, скворечник этот, крохотный домок весны, первым вставал в Семеновой памяти.

Не знали братья, что не вернутся в село в прежнем своем виде. Не знали, какие ждут их в городе небывалости. Домá — в каждом деревенской колоколенке укрыться впору. Машины — пожирательницы угля, извергающие с дымом и грохотом вещь из себя. Люди — хлопотливое, толкотливое племя, спешащее надумать больше, чтоб туже людям же на земле стало жить. Не знали и потому не плакали.

III. ЗАРЯДЬЕ

В Мокром переулке — потому что у Москвы-реки у самой,— на углу Большого Щукина, желто-розовый дом стоит о четырех длинных ярусах. Давно — тому сто лет, и кирпичи и люди крупней были — сшит был каменный дом этот казенным покроем, без улыбки и тех, кто строил, и тех, кому жить в нем. Был он с теченьем времени заботливо прошиваем железными нитками балок и скреп, но все напрасно. Был и без того дом тот в дряхлости своей столетней крепок, как старый николаевский солдат.

Правым боком каменного своего тулова чуть всего Щукина не перегородил. Левым — подпирает тощую древнюю церквушку, осеняющую Мокрый: не дает ей упасть и рассыпаться в легкий ладанный пепелок. «Обопрись, мать, на мою каменную грудь. Крепкая, выдержит»,— такое, кажется, говорит он, старый солдат, притихшей старушке, напуганной гомоном возрастающей жизни.

Жизнь здесь течет крутая и суровая. В безвыходных каменных щелях дома в обрез набилось разного народу, всех видов и ремесл: копеечное бессловесное племя, мелкая муравьиная родня. Окна в дому крохотные, цепко держат тепло. Голуби живут в навесах, прыгают оравами воробьи. Городские

шумы и трески не заходят сюда, зарядцы уважают чистоту тишины. Глухо и торжественно, как под водами большой реки. Только голубей семейственная воркотня, только повизгивающий плач шарманки, только вечерний благовест. Тихо и снежно. Жизнь здесь похожа на медленное колесо, но все спицы порознь.

По второму ярусу каменного солдата протянулось синим пояском железное уведомление: помещаются тут трактир, постоялый двор и меблированные комнаты. Название всему заведению чохом — «Венеция», а принадлежит Секретову Петру.

Нетронутой, несуесловной стариной овеян секретовский дом. На обширном здесь проходном дворе рядами выстроились извозчичьи сани. Лошади фыркают и грызут овес. Теплый навоз дымится на снегу. Голубиные стаи, целые облака голубей, лениво вздымаются и снова оседают вокруг лошадиных кормух. Голубь здесь смирный, доверчивый, с руки берет. Голоса — гулки: железа много. Железные ведут на крыши лестницы, железные караулят у внутренних складов двери, железные галерейки и стропила, переплетаясь, вьются по стенам. Обсижена голубем и усыпана снежком вся та железная паутина.

С фасада смотреть — пониже секретовского второе висит железное уведомление. На краях его золоченый крендель, синее казанское мыло, белая сахарная голова. «Бакалейная торговля Быхалова» — здесь теперь Савельевы ребятки. Помещение это сырое и темное, как в сапоге здесь: потолки висят тяжко, гнетут потолки, потому что весь дом на нижнем этаже как на сапогах стоит. Разделены сапоги длинными сквозными воротами: проходит в них ветер, едет извозчик, и обоим не тесно.

Глядят секретовские окна весело: «Слава те, не гробами торгуем!» Быхаловские окна исподлобья глядят. Зимами, как ныне, уныло мерзнут на них уксусов мрачные бутылки и сухой горчицы скоробленные пачки. Летом мякнут от жары алые ломти арбуза, кучи перезрелых огурцов, горки румяных, как девки, яблок. Целые стаи устремляются тогда к ним жирных, ленивых мух и тощих зарядских ребят. Тогда и запах в Зарядье сменяется на арбузный...

А запахов здесь много, с них бы и нужно начинать. То пальнет в прохожего кожей из раскрытого склада — запах шуршащий, приятный, бодрый. То шарахнет в прохожего крепким русским кухонным настоем из харчевенки, притулившейся Быхалову наискосок. То обдаст его, заметавшегося, как помоями из дудинского подвального окошка, а Дудин — скорняк.

А уже за углами сторожат его сотни других прытких запахов. Тонконосым в Зарядье лучше и не ходить.

Зарядская суетня — с рассвета. В семь, едва утро, вскакивает Сеня с дощатой койки и бежит отпирать. Холодно и дрожко, а сонные глаза еще трудней отмыкаются, чем тяжелые, забухшие инеем замки. Покуда бежит Пашка в трактир за кипятком для чая, сам Быхалов, Зосим Васильевич, выходит за дверь, на улицу, хрустящую под шагами редких прохожих. Он, обнажая лысину от стеганого ватного картуза, сурово крестится на три стороны, обступающие его бакалею. В одной стороне, направо, розовеет в заре старое золото кремлевских маковок. В другой — за проломом Китайских ворот — стоит неизвестного назначения глухой дом: тридцать восемь лет верится Быхалову — за этим домом восток. В третьей стороне пустует незастроенное место; стоял здесь дрянненький домишко, да подсох в жару, да подмок в осень, да мышки его подгрызли, да из трубы однажды залило,— остатки пожар догрыз. Виден здесь спокойному оку Быхалова огромный клок зимнего неба.

Из тесноты и житейской маеты любо глядеть зарядцу в хрусткое зимнее небо декабря. В нем синие и розовые ленты, словно в брыкинской галантерее, бегут и ширятся слепительными дугами. Их моет морозное солнце, топорщит снежный ветер. Птицы, замедлив взмахи крыл, падают в тех лентах. Голуби окунаются в холод, ворона чертит ровные, бесшумные круги...

А в переулке синё от снега и пара. Домики в нем как курносенькие ребята, как пропылившиеся, ветхие старички, как пузатые купчики с ярлыками вывесок,— который чем богат.

...Чинно и молча, вприкуску, пьют густой и вязкий, обжигающий чай. Неприступен в те минуты и телом прям Быхалов, как человек, поставленный к рулю. Губы у него так же жестко сложены, как и у Николы, истового покровителя зарядских дел... А тут народ начинает приходить.

Мальчик от сапожника, худой и тоненький, прибегает, смерзшими ногами выбивая дробь. Ему — «рубца на пятачок, за две — огурец, да горчички, да семитку сдачи». Извозчик входит, синей тушей вгоняя холод в лавку.

— У-ух-те, Зосим Васильевич! Пеклеваннички есть?

Дудин Ермолай, скорняк, седой и взъерошенный, страшный по нелюдской своей худобе, с кашлем просовывается сюда же.

— Эх, дозволь, дядя Зосим, рассольцу хлебнуть!..

— Чуть свет, а ты уж похмеляться. Эх ты, козырь! Ты б лучше орехи грыз! — гудит из-за прилавка Быхалов, кивая на огромную, снегом, как мохом, обросшую кадь. — И право, орехов бы тебе. Ты купи у меня фунт и грызи. Зубов у тебя мало, надолго хватит.

— Их-х вы какой! — приниженно сипит Дудин, прыгает и хлопает опорками. — Не пить, так это бунт даже против государства... для нас и устроено! — Звучными, жадными глотками пьет он терпкий ледяной рассол. — И потом, как это вы сказали? Оре-хи? — Нездоровый дудинский смех разом наполняет всю лавку. — Орех, Зосим Васильич, вещь наивная! Только пузырь об него засаривать, а пользы-действия, извините, никакой.

— Ну и козырь! — благодушно дивится Быхалов. — Ты шкурок-то моих смотри не пропей.

Все в лавке начинают подхихикивать. Карасьев, быхаловский молодец, каким-то извивающимся тенорком, а старушонка, пришедшая за ваксой, изрядным басом. Кажется, что даже и Никола из киота, и керосиновая бутыль, и пятифунтовик на весах усмехаются над незадачливым скорняком.

— Ну, зачем пропивать,— смешно вертится Дудин. — Мы у хороших людей не возьмем. А орехом ты меня не потчуй. Да что ж я, лошадь, что ли, орехи-то грызть?! Эхе-кхе...

Опять хлопает дверь. Новые приходят люди, новые приносят слова. Катушин, древний шапошник с четвертого этажа, придя за ситником, тихонечко вразумляет по уходе Дудина:

— Да и как, посудите, не выпить ремесленному человеку! Сынка третьевось схоронил. Вот и прохлаждается на радостях, что ослобонился.

Развешивая соль, в тон Катушину, рассуждает ярославец Карасьев:

— У него уж больно дух немыслимый. Всю улицу вонью запрудил. Пройти мимо фортки — очень нехорошо. У него даже крысы перевелись. По-моему, так даже воспретить бы таким!..

Дверь настежь. Пар клубится с пола и на сторону гнетет Николино пламя. Кацавейки влезают и чуйки, рыбье пальтецо захудалого чиновного умника и купеческой родственницы пудовая шубища-дипломат. Шелестит ссыпаемое пшено, стучит хлебный нож, звенят медяки. Пустеют хлебные полки, худеют сахарные бочки, обнажается днище керосинового чана, захлебывается маслом обмерзший жестяной насос. И шумно, и тес-

но. Небыстрыми ручейками течет серебро в дубовый хозяйский ящик, туда же прыгают темные, как лики московских Никол, пятаки...

В ту пору и само солнце в морозной дымке над Зарядьем — медный, морозом обожженный докрасна пятак.

IV. У КАТУШИНА

Всех приходящих лукаво и нелукаво, и слепых и зрячих, и уродов и умников, принимало Зарядье и платило им не поровну, а по тихости или по буести их.

Робким, задумчивым мальчонком пришел сюда из деревни Катушин, дерзающим и неспокойным — Ермолай Дудин, лукавым и тихим — Петр Секретов. На них, на троих, глядел Сеня и детским смыслом угадывал, что между ними где-то поместит жизнь и его самого. Все трое были совсем разные,— это город нашел в них разницу и подразделил их.

Тринадцатилетним, как и Сеню, привела нужда Степушку Катушина в Зарядье. И Зарядье в лице шапошника Галунова Степушку не отринуло, а приняло и вынянчило, кинуло ему хлебца, чтоб жил, выделило койку, чтоб спал... И сказало Зарядье Катушину: «Будь шапошником, Степан». И с тех пор, повинуясь строгому веленью, стал он быстрой, нестареющей рукой простегивать картузы и меховые шапки для покрытия чужих голов. Сам же так и пробегал всю жизнь чуть ли не в той же самой ушанке, в которой выбросила его деревня.

Он напоминал собою горошинку,— тоже и глаза его, улыбчато бегающие поверх разбитых и бумажкой проклеенных очков. Сорок три года, неустанно тачая галуновский товар, на машине ли, на руках ли, глядит он из крохотного каменного оконца на нетеплые светы предутреннего городского неба, на черные облачные тени, приглушающие день. Кажется, он и не изменился нисколько, только глаза слезиться стали да колени отказываются держать. Только в том и разница, что раньше выжидал себе Степан Леонтьич кусочек счастьица, а теперь ждет, когда вынесут его отсюда ногами вперед в последний приют, за Калужскую заставу.

За всю жизнь только и нажито было Катушиным добра: зеленоватый сундучок, одному унести, да корзиночка. В сундучке покоилось ветхое белье, еще часы с продавленной крышкой, завод ключом, еще пиджачок матерчатый, еще заново под-

шитые сапожки. А поверх всего, чтоб не искать чужому, обиходные лежали вещи на его смертный обряд: фунт тощих панихидных свечей, миткалю и сарпинки два равных отреза, ладан в аптечной коробочке и деньги, семнадцать с полтиной, чистая прибыль катушинской жизни в рублях.

В корзинке другое хранилось. Чистенькими стопками лежали там книжки в обойных обертках с пятнами чужих, незаботливых рук. Были книжки те написаны разными, прошедшими незаметно среди нас с незатейливой песней о любви, о нищете, о полынной чаше всяческого бытия. Главным в той стопке был поэт Иван Захарыч, а вокруг него ютились остальные неизвестные певцы простонародных печалей. Поверх стопки спрятались от мира в синюю обертку и собственные катушинские стишки.

Проходили внизу богатые похороны — видел Степан Леонтьич, откладывал шитье, писал незамедлительно стишок: и его отвезут однажды, а в могиле будет стоять талая весенняя вода... Май стучал в стекла первым дождем — пополнялась тетрадка новым стишком: рощи зашумят, соловьи запоют... а о чем и петь и шуметь им, как не о горькой доле подневольного мастерового люда. Самому Катушину и знать: солгал ли он в стишках своих хоть раз? Он-то и приютил Сеню в своем добром и тесном сердце.

Вечером, как отужинает, мчался Сеня вверх по лестницам, на высокий, подчердачный катушинский этаж, близко к зимнему небу. Сеню обучал Катушин грамоте. Вряд ли бывало у Катушина за всю жизнь большее оживление, чем в тот вечер, когда написал Сеня первые четыре неграмотных слова. То хлопал он себя по заштопанным коленкам, то разглаживал трясущейся рукой твердую пакетную бумагу, то подносил ее к свету.

Сеня сидел тогда у окна, а за окнами затихало Зарядье и перемигивалась огнями ночь. Острые прохладные ручейки небывалого возбуждения бежали по его спине, и в скрипе оторванной железки за окном чудился ему неясный и властный зов.

— Книжки теперь бери у меня,— сказал в тот вечер Катушин. — У меня книжки тоненькие, хорошие... Я толстых не читаю, голова от них разламывается. А тоненькую прочтешь, точно в баньку сходишь. Банька — слабость жизни моей.

Здесь встречал Сеня и Дудина, верного катушинского друга, но столь отличного от него. Сюда же однажды привел Сеня и брата.

Пашка нелюдимым рос. У Быхалова он был на побегуш-

ках. Пашка, хромой, широкоспинный, камнеобразный, симпатиями хозяйскими не овладел.

— Ты уж больно карточкой-то не вышел. Весь народ мне разгонишь,— сказал хозяин Пашке, приведенному Брыкиным, давая для нравоучительности легкий подзатыльник. — Ты мне товар вози. Хром? Так ведь дело неспешное. Съездил раз в день, и то прибыль.

Пашке с детства жить было больно и мучительно. Пашка многое, невидное другому, видел, и потому детство казалось ему глупой нарочной обидой. Когда случилась коровья беда и односельчане били Пашку, половинку человека, Пашка молчал, не унижаясь до крика или жалобы, только прикрывал руками темя. Темя было самым больным местом у Пашки, там он копил свою обиду. Он и на мир глядел не просто — птичка летит, а облачко плывет, а береза цветет,— а так, как отражены были все эти благости в темном озере его невыплаканных, не показанных миру слез. Пашка на мир глядел исподлобья, и мир молчаньем отвечал ему.

Коровья беда докончила ковку человека в Пашке. Без детства, без обычных шалостей Пашка вступил в жизнь. А жизнь поджидала его не медовым пирожком. У Быхалова с утра влезал он в дырявые валенцы, впрягался в санки и так, хромой и хмурый, возил по городу быхаловскую кладь, без разбора времени, по мостовой и сугробам, в дождь и снег, лошадиным обычаем.

...Зевал Пашка, сидя у Катушина. В этот день прибавилась еще одна обида к вороху прежних. Карасьев, в припадке игры воображения, посылал его в аптеку купить на пятачок дёру и на гривенник дыму. Пашка не знал, бывают ли подобные товары, а аптекари злы... И до сих пор еще стыдом и болью горели Пашкины уши.

Рассказывал об этом Сеня торопливым, прерывающимся голосом, чуть не плача за брата. Дудин слушал, ерзая и поминутно кашляя, Катушин — с грустью глядя в пол.

— ...главное дело, Иван-то уж и забыл, что послал Пашку. По мне, так я бы... — У него задрожали губы, и руки быстрей затеребили тонкий коломенковый поясок.

— А ты мягчи́ сердце, не копи обид. Поплачь, если плачется... — заговорил Катушин, ширкая ногтем по лавке, на которой сидел. — Человеку, если помнить про каждый день, сгореть от напрасной злобы.

— Вот я и горю,— резко вставил Дудин и засмеялся.

— И горишь... и сгоришь! Сосчитана твоя сила, Ермолаша,— ласково отвечал Катушин. — Неустроенно ведешь жизнь, смиренья не приобрел, буянишь попусту... — вычитывал Катушин.

— Смиренья?.. — строго спросил Дудин. — Куда же мне больше смиряться, Степушка! В трубочку свернуться, что ли?

— Ищи свое в жизни... Запись помни! — указал Катушин.

— Это какую запись, Степан Леонтьич? — шумно вздохнул Сеня.

— А сто восьмого псалма запись,— уверенно и быстро сказал Катушин. — За слезы да за неоплатные долги сто восьмой-то сторожем стоит,— и он мелко-мелко похлопал себя по коленке. — На полях у сто восьмого и ведется запись. Каждому жучку, а своя буква. И люди стираются, и книги стираются, города тают дымком, а запись нерушимо стоит, как стена! Ты в запись верь, Ермолаша, коли не во что уж...

Теперь Катушин, не моргая, глядел в газовую, накаленную добела сетку, словно в слепительном свете ее и развернут был тот свиток со всякими земными печалями и жалобами.

— Ангел, что ль, у тебя заместо писаря? — съязвил Дудин и кашлял с таким звуком, точно раздирали крепкую ткань.

— Ты бурен, Ермолаша, а я тих. Ты оставь мне жить по-моему. Перхаешь, а нет того, чтоб смириться... Все ищешь чего-то! Нетерянного не найдешь.

Дудин помолчал, но только для того, чтоб с большей силой выговорить.

— Вот и я таким же пришел, как они,— зашептал он с болезненной страстностью. — Не хочу, чтоб и они жизнь свою без жизни прожили. Я для них, Степушка, ищу...

— Чудной ты... летучий какой-то. Всегда как бы за ребенка тебя почитаю,— засмеялся дудинской горячности Катушин. — А ты, паренек,— обратился он к Пашке,— ты молчи. Вырастешь — сам всему цену узнаешь. Ищи, где тут основа. Нонешнего моего хозяина-то папаша, Гаврила Андреич, царство небесное,— продолжал он, понизив голос,— так он раз меня с лестницы спихнул... Я тогда и сломал себе мизинчик, упамши. А койки наши рядком стояли. Ночью-то спит он, а я сижу вот этак-то с колодкой, с деревянной болвашкой, да и думаю: чему на свете больше цена — мизинчику моему либо жизни его. Все толкал меня враг в головешку ему стукнуть...

В этом месте Пашка поднялся с табуретки.

— Я спать пойду,— внезапно сказал он и зевнул.

— А и ступай, паренек... Я тебя не держу, привязу тебе нету,— услужливо кинул Катушин и продолжал после Пашкина ухода: — Всю ночь вот и продумал этак-то. Нашел основу — уж светало в окнах. Жена-то его, вишь, с приказчиком связалась, а у приказчика-то язва во рту была...

— Какая язва? — испугался Сеня.

— Ступай и ты спать, милый друг,— как бы просыпаясь от сна, отвел Сеню в сторону Катушин. — А книжечку ты еще раз в бумажку оберни... да на мокрое-то не клади, завянет. Ну, покрой тебя господь! Деревянен братец твой, деревянен... мозги у него прямые какие-то.

Дудин, сосредоточенно бормоча себе под нос, вышел вместе с Сеней. Не обменявшись ни словом, они сошли вниз. Уже в воротах, под тусклым фонарем постоялого двора, Дудин внезапно схватил Сеню за руку.

— В святые Степушка лезет... А ты ему не поддавайся! — убежденно зашептал он, тиская в кулаке седую бороденку. — Не должен человек терпеть. Терпенье человеку в насмешку дадено. Воюй, не поддавайся! Человек солдатом родится, на то и зубы даны...

Над головами их мигал желтый фонарь постоялого двора. Шел легкий снежок. Волчки вихрей бесшумно рыскали по уголкам. Сене было холодно в одной рубашке. Лицо Дудина, сведенное в точку бессильной настойчивости, совсем напугало его. Он вырвался из его руки и побежал по снегу.

— Остановись, мальчик... остановись! — умоляюще кричал ему вслед Дудин и шел по Сениным следам.

— Дяденька, ты пьяный! — так же умоляюще защищался Сеня, стуча изо всех сил в запертую дверь быхаловского черного хода.

Оглянувшись из двери, еще раз увидел Сеня в синих, неуверенных сумерках двора длинную фигуру Дудина; он стоял один посреди двора и кашлял, весь сосредоточившись на чем-то невидимом для Сени. Кашель Ермолая Дудина походил на ночной лай большой дворовой собаки.

V. ИМЕНИНЫ ЗОСИМА БЫХАЛОВА

Апрель был — месяц буйных ручьев и первых цветений, но некому было в Зарядье, кроме черноголовых грачей да великопостных колоколов, кричать о том, что, нежная и робкая, приходит в город весна.

Зосим Васильевич, именинник, видел, возвращаясь от заутрени: на древних кремлевских стенах прозеленели ползучие мхи, а снег в углах протаял дырьями, а лед на реке набух и посинел, готовясь уползать от возрастающей теплыни. Скоро, не сегодня-завтра, вскроются реки по всей стране, и солнце взметнется в голубые высоты лета, пыль понесется вдоль московских улиц, подорожает картофель.

Сделало Зарядье Быхалова человеком непоколебимых смыслов,— в вещь глядел сурово, скукой и тоской не болел, не удивлялся ничему. Но тут захватило ноги предательской слабостью, сжалось сердце непривычно и мучительно, загудело в ушах. Закружила Зосима Васильевича весна.

День мокрый стоял, ветер брызгался влагой с реки. Воздух гудел многими тысячами убыстренных дыханий. Но разгадал Зосим Васильевич, что тревожна звонкость ветра, поющего в столбах, голых деревьях, флюгерах, как ненадежна и всякая радость.

«Текут весны, проходят человеческие годы, и когда-нибудь, через тысячу весен, травки снова заспешат к солнцу, и звонким ветром обсушится первый смолистый листок. Останется от тебя, Зосим Быхалов, единая косточка. Будет ей и сыро, и скучно, и холодно в талой земле лежать. И если тысячная случится бурной — яблони в феврале процветут, а льды полопаются с новогодья,— разроет буреподобный ветер землю до самой кости и спросит ветер: «Чем ты, кость, прославлена? Лежишь — не радуешься». И кость ему не ответит. Сиротливо будет останку твоему, Зосим Быхалов, в ту последнюю, тысячную...»

Всякое положение принимал со строгой рассудительностью Быхалов, печалясь мало. А тут заболело под сердцем, и захотелось зыкнуть, как на Пашку в лавке: «Остановись, весна!» Не остановилась: все вокруг спешило заполнять назначенные сроки.

Как будто утро было, но уже таилась в нем ночь. Остекленело небо, злился ветер, текла весна. Два ломовых, полубыки, били загнанную лошадь, напрягаясь докрасна, крича. Сани крепко пристыли к обнаженному камню. Коротконогий дворник, увенчанный медной бляхой, торопливо сколачивал с тротуара мягкий ледок, помогая весне. Женщина, спотыкаясь, тащила санки с узлами шитья,— зарядская швейка. Ее лицо огрубело и ожелтело оттого лишь, что проспешила всю жизнь.

Били часы на башне, вызванивалась конка на углу, ехали гурьбой извозчики, обнюхивались собаки.

У часовенки тощий бродяга с вербочками четверть часа уговаривал Матрену Симанну, секретовскую приживалку:

— Убеждаю вас, тетенька, как истинный христианин... За неделю еще боле запушатся! Овечки, чистые овечки станут... — Голос у него был сиплый и злой.

— Не-ет,— покачивалась в толстой шали на ветру старуха. — Мы за пятак-то горбатимся-горбатимся... Скинь, скинь, касатик, для старушки. Я у тебя зато два пучка возьму...

— Так ведь тут дров одних на гривенник, грымза чертова! — кричал пустым, гулким брюхом парень, замахиваясь всей охапкой товара.

Зосим Васильевич шел мимо с омерзением. Придя домой, щелкнул Сеньку за недочищенный сапог, а дворника, пришедшего поздравить, выругал от всей полноты разгневанного сердца; на покупателя кричал.

Торговали в тот день до полудня, как в праздники, но только к закрытию набежал народ. Быхалов, несмотря на недомоганье, выпрямленный и торжественный, в чистом фартуке, тужился морщинистой шеей, щелкая на счетах, пробуя о мраморный осколок добротность приходящего серебра. Карасьев возился с сахаром и так успевал, как будто был четверорукий. Сеня размашисто работал хлебным ножом, когда дверь в лавку отворилась и вошел еще один.

Вошедший был человек не старый, но как бы изглоданный жестокой болезнью. Обтрепанное осеннее пальтецо, без пуговиц, с торчащей кое-где ватой, осело и приняло форму длинного, худого тела; особенно остро выделялись плечи и карманы, набитые чем-то сверх меры. В левой руке повис тощий белый узелок.

— Чего прикажете? — сухо спросил Быхалов, с крякотом нагибаясь поднять упавшую монету.

— Это я, папаша... — тихо сказало подобие человека. — Сегодня в половине одиннадцатого выпустили...

Слышно было в тишине, как снова выскользнула и покатилась серебряная монетка.

— В комнату ступай. Сосчитаемся потом,— рывком бросил Быхалов и огляделся, соображая, много ли понято чужими из того, что произошло.

Как сквозь строй проходил через лавку быхаловский сын, сутулясь и запинаясь. Он еще не прошел совсем, зацепившись

полой за лопнувший обруч бочки, когда услышал позади себя вопрос. Старик с опухшими глазами, в картузе, похожем на гнездо, спрашивал у Карасьева:

— Сынок, што ль, Зосиму-то Васильичу?

— Не сынок, а сынишше цельное,— поиграл статными плечами Карасьев. — Кончил курс своей науки, сдал экзамент в пастухи!.. — Он не договорил, остановленный злым хозяйским взглядом.

— Запирай! — кричит Быхалов.

Сеня гремит полдюжиной замков, бежит, пробует рукой и глазом, хорошо ли повисли на ставнях. Не успел Зосим Васильич поддевку снять, Карасьев, румяный соблазнитель, долу потупляя круглое играющее око, говорит ярославским напевом:

— Кушать подано, Зосим Васильич. Прикажите начинать...

— Не вертись ты, сатана,— шутливо огрызается хозяин; приход сына и смутные надежды на какую-то решительную перемену в нем делают свое дело. — Успеешь баб своих полапать. Ишь хохол-то зачесал!

— Для красоты-изящества,— отшаркивается Карасьев, поплевывая на ладошку и приглаживая поразительной кривизны кок на лбу. — Это мы, Зосим Васильич, чтоб девушки любили...

— Видал я девок твоих,— ворчит Быхалов,— худящие да мазаные. И не разберешь: живой человек аль труп. Выбрал, нечего сказать.

— Это ничего-с,— вертит плечом, в меру обижаясь, Карасьев. — Я и труп могу полюбить. Любовь из нутра идет, и человек не может знать, куда его сердце прилипнет.

— Балда! — объявляет ему Быхалов, покачивая головой, к вящему карасьевскому удовольствию, и садится к столу. На нем замасленный пиджак, надетый поверх снежно-белой рубашки. Он все еще улыбается: в Карасьеве не без удовольствия узнает он молодого себя. — Петр, есть иди!..

Притихший, с опущенными глазами, выходит из соседней каморки Петр и садится на краешек табуретки.

— Лоб-то разучился крестить?..— зорко косясь на сына, ворчит отец. — Запрещают, что ль, у вас там, в тюрьме?

Петр молчит, как не слышит.

Карасьев с показным усердием машет себя истовым крестом.

— Ты, Петруша, не сердись... — кашляя, говорит отец. — Сам знаешь, за стойкой все стою... Тридцать восемь лет стою. К минуетам вашим не приучен!

Петр тихо:

— Не надо, папаша. Устал я...

Миска постных щей быстро пустеет. Карасьев жадно набивает рот; румяные его щеки дуются тугими барабанами. Сеня ест робко. Петр совсем не ест.

— Пашка где? — спрашивает Быхалов, так повышая голос, что Сеня роняет ложку. — Пошел вон из-за стола, если сидеть не умеешь! — резко приказывает Быхалов. — Иван, Пашку ты услал? Простужен он, напрасно ты его... Еще свалится где.

— Я его... — давится Карасьев и с видимым отчаянием глотает непрожеванный кусок,— ...его с утра за уксусной кислотой направил. Очень нужда-с!

На столе пшенная каша, обильно политая маслом. Карасьев первым ныряет ложкой в кашу, но останавливается на полпути ко рту, пуча глаза на хозяина.

— Ешь, ешь,— смеется Быхалов. Петру: — А ты? Аль брезгуешь? Аль тебе отцовская соль солоней острожной? — сухой, горький смешок.

— У меня катар, мне нельзя,— тихо говорит Петр.

— Ката-ар?.. Хрбж... — фыркает в колени Карасьев, подобострастно взирая на хозяина.

— Эй, холуй! — зло одергивает Быхалов. — Губой-то по полу возишь, занозить не боишься?

Все молчат. Глаза Петра темнеют, как окна в сумерки. Сеня стоит поодаль, грустно глядя, как Карасьев дожирает кашу.

...Сеня моет посуду на подоконнике, широком, в толщину стены.

Обманная весна чертит окно тонкими царапинками мороза. И летом быстро темнеет у Быхалова, а зимами и совсем не бывает дня.

— Ну... рассказывай,— вздыхает Быхалов. — Мне-то про себя рассказывать нечего. Вот мать без тебя скувыркнулась. Ты б ей хоть письмецо написал из тюрьмы-то, она тебя жалела.

— Я знаю,— неясно вторит Петр.

— То-то, знаешь. Плохо небось в тюрьме-то?

— Да как сказать?.. Неважно. Измотался весь,— глухо говорит Петр. — В последние дни на рассветах все людей у нас

увозили. — Сеня прислушивается и осторожней плещет кипятком. — Часов около трех придут, ключами зазвенят... — однообразно тянет Петр,— уводят. А он и крикнет на всю тюрьму: «Прощайте, товарищи!» Тут уж и начинается. Окна бьют, двери колотят... У нас, в Таганке, тюрьма была очень гулкая.

— Что ж, на выпуск, значит, увозили? — ворчливо спрашивает Быхалов-отец, соскабливая ногтем маслянистую корочку обеденной грязи со стола.

— Не на выпуск, папаша, а на повешенье,— спокойно говорит Петр и повертывает голову к окну.

Сенино лицо строго и бледно, сразу осунулось. Проскакивает воспоминанье: там, в деревне, в Бабашихином лесу, молодые ребята суку вешали. Она долго царапала лапами воздух, воя и подгибаясь вверх. Сеня стоял тогда в стороне от общего веселья и лицом повторял все ее напрасные движения.

— У нас вот тоже собаку вешали... — робко начинает он, глотая обильную слюну.

— Хватит!! — Быхалов ударяет ладонью по столу, весь красный. — Эти побаски ты у меня в квартире оставь, тут тебе хвастаться нечем! Ты мать свою съел и меня съесть хочешь? А я не дамся... не дамся, братец!

— Да ведь я и не хвастаюсь,— горько усмехается Петр, в какой-то страшной судороге разглаживая себе лицо. — Чем тут хвастаться?.. Разве только тем, что от расправы уцелел? Плохая радость!

— Сенька, заваривай чай! — кричит Быхалов.

Заваривают густо. Шуршит в Петровых руках бумажка развертываемой карамельки. Маятник стучит. За окном какой-то шум; отпирает Сеня. В раскрытую дверь городовик проталкивает Пашку багровой ладонью в плечо. Пашкино лицо неподвижно и серо, и он особенно тяжко приседает на хромую ногу. Руки свои, перебинтованные в ладонях, тяжелые и белые, прячет Пашка за спиной.

— Паша, что с тобой? — испуганным полушепотом спрашивает Сеня брата.

— Руки обморозил вот... — отвечает холодно брат.

— Малец врет! — четко возглашает городовик.

Часто вскидывая руку к овчинной тулье, он докладывает. Вез малец две бутыли уксусной кислоты, вез и вез, под горку. А тут подвернулись похороны: зазевался. Сани опрокинулись на тумбу, а вслед упал и сам он, руками в разбитое стекло.

— И так испугался малец ваш, что хозяйское добро погибнет, что голыми руками, без варежек, как был, сунулся в уксусную лужу. Перелить, вишь, хотел хоть горстку в отбитое днище! — осклабился поощрительно городовик. — И только как увидел кровь на руках, тут и закричал.

Хозяин медленно пошел к Пашке, не сводя взгляда с вихра на его стриженой голове. А тот щурился и пятился к стене.

На полпути Быхалов остановился.

— Спать иди,— бросил он сквозь сжатые зубы.

Потом Зосим Васильич снял пиджак и полез на свою высокую кровать; он вытянулся, наморщил лоб и вздохнул. И в будни не уставал так Зосим Васильич.

VI. ПАШКА РАХЛЕЕВ УХОДИТ В ЖИЗНЬ

Быхаловские окна не раскрывались ни разу за все тридцать восемь лет. А как украли шубу у покойницы, вделал в окно железную плетенку Быхалов. Сквозь нее и тончайшей солнечной струйке было не пробраться, вору же ни вовек.

За таким надежным укрытием от солнечных ветерков обитали в плесенном кругу быхаловских стен многообразные запахи: каждому своя щель, свой час. Утрами струится по полу душный запашок сопревающего картофеля и острым холодком перебегает дорогу к носу керосин. Обеденного пришельца обдаст сверх того горячим дыханием кислого ржаного хлеба. А досидит пришелец до вечера, поласкает ему нос внезапный и непонятный аромат из-под хозяйской кровати,— целая кипа там цветных дешевых мыл. К ночи все остальное вытесняет гниловатый привкус мокрой соли и отсыревших, крашенных масляной зеленью стен.

Огромная печь разгородила надвое темную быхаловскую щель. В правой половине притулилась приножьем к печке, спрятана за ситцевой занавеской, хозяйская кровать. У стены стол, над столом поясной Никола. Сумрачно смотрит он из-за обсиженного мухами стекла на чадную перед собой лампаду. Тридцать восемь лет назад моложе и веселей был: тогда еще не обманывали угодников керосиновыми смесями. А за киотом торчит высохшая вербочка. Облетели барашки, и уже не весенняя благостынька с веселой, шустрой речки, а розга розгой, недоумков стегать.

Правая половина — молодцовская. В сыром углу, у выхода в лавку, сбиты из старых ящиков коечки для Савельевых ребят. Легкие сны, приятные, не зарождаются в таких углах. Карасьев, зарядский красавец, помещается на полатях, где и теплей и благодатней. Сюда пробирались порой на сочное ярославское тело отощавшие на сухожильном Зосиме Васильиче клопы.

В стене, на которой Никола, проделана дырка-дверь, за нею — комнатушка-крохотка, комнатка-сундучок. Стоят такие сундучки под кроватями богаделенных старушек, открываются туго и поют в проржавелых петлях, по погоде меняя голоса... А таят они в себе молевых червячков, неношеную бабью рухлядь и запахи: прелый — ткани, кислый — железа, горклый — мыла, просфорный — от пыльного божественного сора... Здесь, на сундуке, умерла Быхалова-мать.

Петр пролежал с полчаса на высоком и твердом подобии кровати, тоскливо поглядывая на полку с недопитыми микстурами, на бескиотную троеручицу в паучином углу; потом поднялся и пошел к отцу. Тот не спал и, лежа на спине, глядел в потолок немигающими глазами.

— Папаша,— тихо сказал Петр,— я поговорить хочу...

— Эх, да потом, потом! — чуть не хныча, зашевелился отец. — Жалости в вас нету. Сходи вот лучше в подвал, ребята туда убежали. Не наделали бы чего над собой...

— Это в картофельный?.. — покорно спросил Петр, отходя от отца.

— Да. Спать зови.

Дверь не сразу выводила в подвал. Сперва — сенцы, налево — выход в лавку, направо — четыре темные ступеньки. По ним, знакомо-скользким, прощупывая темноту недоверчивой ногой, спустился Петр. Последняя, подгнившая, треснула.

Петр зажег спичку и толкнул низкую дверцу. Спичка потухла, из подвального мрака тянуло плотным теплым ветерком: картофель. Петр вошел, дверца за ним запахнулась сама. Когда отворял дверь, откуда-то из глубины мрака послышался глухой всхлип. Теперь там стояло совершенное безмолвие.

— Ты кто? — как-то ломко прозвучал Сенин голос и прервался. — Это вот Пашка тебя звал!..

Петр прислушался. Мрак молчал. Петр переступил с ноги на ногу, хрустнула раздавленная картофелина.

— Брось, Сенька. Ну, хочешь, я картофелиной в него запущу,— сказала темнота простуженным Пашкиным голосом.

— Ну конечно! — с горячей убедительностью заспешил Петр. — Что с вами, мальчики? Ведь этого же, что вы подумали, не существует на свете! Вам наговорили глупцы, которые сами ничего не знают. Ну, глядите. Видите, кто я? — Он вспомнил про спички, достал коробок и, с огнем в вытянутой руке, сделал шаг вперед. — Я Петр Зосимыч, ваш товарищ, Петр. Я проведать вас пришел...

Спичка горела неровно, задыхаясь в подвальной духоте, тухла.

— Подсматривать пришел, не воруем ли...

— И совсем не подсматривать,— вспыхнул Петр. — Зачем ты сказал неправду? Это нехорошо. Ты еще мальчик, я старше тебя.

— Хорош мальчик! Уж оброки за отца с матерью платим! — усмехнулся мрак. — В Сибири уж плодятся такие, сам твой отец говорил.

Петру вдруг стало очень неловко. Уйти было неуместно, молчать — слишком глупо, а говорить, стоя перед ними, сидящими, было всего трудней.

— Мой отец — грубый человек, я знаю,— неловко сознался Петр. — Но меня-то вы ведь впервые видите. Почему же ты хочешь уколоть меня? Я такой же, как и вы... — Петр хотел добавить «несчастный», но заменил «угнетенным», а когда нашел это слово, было уже поздно говорить. Петр готов был заплакать в эту минуту от мучительного недоверия тех, ради кого он шел в тюрьму.

— Ну, хорошо,— спокойно и неумолимо сказал мрак. — Ну-ко, подвинься, Сенька. Откуда ж это ты узнал, что мы тут сидим?

— Отец сказал,— откровенно сознался Петр.

— Ну вот! Ступай укради тогда у отца... — В голосе Пашки звучала насмешка.

— Что украсть?

— Да хоть часы укради... и принеси сюда. Вот и посмотрим дружбу твою!

— Я не понимаю, я совсем не понимаю тебя!.. — торопливо затвердил Петр и еще шагнул вперед с вытянутыми руками. — Дайте-ка мне сесть рядом... и давайте поговорим.

— Садись,— тихо произнес Пашка; по движению воздуха Петр понял, что Пашка встал. — Пойдем, Сенька! И реветь довольно, а то хозяйская картошка загниет...

Молча, стороной, мальчики пошли из подвала. Хлопнула дверь.

Петр все стоял, оторопев от обиды. Потом он услышал ширкающий звук задвигаемого засова. Петр кинулся к дверце и сильно толкнул ее. Дверца, глухая к его удару, как толстая чужая спина, не отмыкалась. Скользя на раздавленных картофелинах, Петр пошел в угол, где сидели мальчики. Там он нащупал полурассыпанный мешок картофеля и сел на него, закрыв лицо руками. Минуты через три он отвел руки, покачал головой и засмеялся.

А Пашку и в самом деле трепала простуда, еще в подвале мутилась голова; все чаще, с утра, накатывал на него бредовый полусон... Он прилег, и тотчас же сознание его потускнело: словно вылили из стаканчика и самый стаканчик разбили. Дыхание захрипело, точно в грудь поместили большие, свирепые часы. Виделось, будто стены раздвинулись, потом лениво покачались, потом пошли на Пашку, грозя смять.

...А вот уже и нет стен, а будто пойма. Сено косят бабы, и Пашке всего восемь лет. День ладный, жаркий; солнце висит над самым теменем. Небо сине до черноты. Восток грозит дождем. Рядами идут осоловелые бабы и бойкое, говорливое девьё. Ребятишки — и Пашка вместе с ними — рыщут по стежкам, выискивая ягоды.

Разморило солнцем Марфушку-дурочку. Рваный белый платок приспустив на румяные щеки, глаза сощуря, заходила с опушки Кривоносова бора, шла — как играла. Мерно выдавались плечо и грудь на взмахе, мерно вздыхали травы, поникая под острым косьем. Тут Пашка перед ней стоит и в траву смотрит.

Марфушка ему:

— Недоброй, отойди!

А Пашка и не слышит. Марфушке прозванье в Ворах — «Дубовый Язык». Опять:

— Уходит-т, я тебе тказала аль нет? Вот я тебя котой!

Пашка и в те годы задореп был:

— А не подкосишь!

— Ан и подкоту!

— А ну, подкоси!..

Марфушка взмахнула косой и зубом скрипнула. Пашкин крик был необычен, словно лошадь вздумала закричать. Выглянула из-под платка Марфушка — и впрямь подкосила паренька: из ноги его, повыше бабки, красная ручьится кровь.

Лоскутьем рубахи перетягивали Пашке ногу, несли на рогожке домой. Сознание Пашкино померкло. Потом ночь. Избяная духота пахла телятами. Мухи бились в потолке. Возле сидел Сеня и совал в почернелый от му́ки Пашкин рот кислый квадратик карамельки. Все забыл Пашка, все съедает, как ржа железо, тупая человеческая боль.

— ...Пашка, вставай... — говорит тихо Сеня, кладя руку на Пашкин лоб.

Но Пашке тошно, Пашка молчит.

— Вставай же, сказано! — грубее приказывает Сеня и тычет перстом в увлажненный испариной Пашкин лоб.

Пашка сердится, глотает скудную слюну, открывает глаза.

Сеня — в жилетке и с бородой, глаза злые: Быхалов. Бреда Пашкина сразу как не бывало, только непокорно слипаются глаза, только руки словно на кусочки порублены, и каждый в отдельности горит.

— Успеешь, говорю, выспаться,— говорит ему Быхалов. — Петр где? Я его за вами посылал.

Пашкина память просыпается лениво. Пашка морщит лоб, рот его тогда открывается сам собой.

— В подвале он...

— В подва-але? — топырит губы Быхалов. Бровь у него бежит вверх недоуменным смешком. — Что ж ему там делать?

Старик берет с полки прокопченную семилинейную лампчонку и отворяет дверь в сенцы. Пашка слышит, как осторожно спускается хозяин по ступенькам, потом отодвигает засов подвальной двери.

— Петр... Петруша!.. — кричит он в глубь подвала. — Ты здесь, а?

Петр выходит из подвала, подслеповато щурится на коптилку, улыбается, молчит.

— Как попал сюда?.. — спрашивает отец. — Деньги, что ль, заперся выделывать? Кто тебя запер?

— Да я сам... нечаянно. — Смеющийся голос Петра особенно ненавистен Пашке.

— Не мог же ты снаружи запереться, чего ты мелешь!

— Наверно, мальчики подшутили,— сознается Петр. — Особенно этот, старший. Ужасно недоверчивый народ, папаша! — И опять, слышно, Петр смеется.

Быхалов-старик выжидающе молчит, потом сурово подымает голос:

— Ну а если бы он тебя по морде хватил... ты тоже смеяться бы стал?

Близкая к Пашке дверь скрипит: «Ага, каменная стена приближается!» Пашка сжимается в клубок и материной кофтой, в которой приехал, закутывает голову, темя. Снова вперемежку, раздирающей глаза каруселью, несутся: пойма, Марфушка с косой, кровь, рассыпанные ягоды. Звук шагов замолкает рядом.

— Что ты хочешь с ним делать? — слышен Пашке тревожный голос Петра.

Старик, не отвечая и сопя, ищет щелку в кофте. Мальчик глубже зарывается в тряпье, но рука Быхалова протискивается к самой голове и, приноровясь, хватает за ухо...

В то же мгновение Зосим Васильич вскрикивает, более от испуга, чем от боли. Он растерянно трясет рукой, а на конце мизинца повисает темная капелька крови.

Сам Пашка уже стоит ногами на койке, готовый броситься, прижавшись к стене. Его влажные зубы блестят в потемках. Лицо его смутно и серо, но румянец бьет дико, как осенний закат.

— А, вот как! — мычит Зосим Васильич, обсасывая прокушенный палец. — Ну, слезай. Стоять тебе там нечего. — Он идет к кровати, достает из-под подушки клеенчатый бумажник — в нем Пашкина метрика. Кстати обертывает палец в красный носовой платок. — Собирайсь! — решительно командует он.

— Куда, куда ты его гонишь? — умоляюще вступается Петр, но Быхалову не до Петра.

Пошатываясь, Пашка набивает в линялую, застиранную до дыр наволочку свои убогие пожитки.

— Да ведь ночь же!.. — в отчаянии за Пашку говорит Петр и делает неопределенное движение рукой, поясняющее, как темна и неприютна весенняя ночь.

— Не мешай,— властно говорит старик Быхалов. — Тут не игрушки тебе, тут жизнь! В жизни всегда ночь.

Одновременно Пашка выступает вперед.

— Вы засуньте пачпорт-то в карман мне,— просит он сипло. — У меня руки не действуют... — и выставляется боком, где карман.

— Вот что, братец,—не *сразу начинает Быхалов*, но по губам Пашки бежит тонкая струйка насмешки, и тот как-то

меркнет лицом. — Ведь ты, братец, этак-то и убивать возможешь. А в том, что поучить тебя хотел, особой обиды нет. И сам вот так же учен был. Чем больше, братец, по горбу бьют, тем больше горб и сто́ит... Причащался ведь я нынче,— прибавляет он через минуту совсем упавшим голосом.

— Прощенья проси! — заплетаясь языком от волнения, шепчет Петр. — Мальчик, проси прощенья... и все кончено, ну?

— Сам проси, коли охота напала!

Мерно покачиваясь на хромую ногу, Пашка идет к двери. Узел свой он прижимает к груди как-то локтями. С порога оборачивается:

— Там за вами еще полтора рубля оставалось... Сеньке отдайте. Он к Катушину побежал...

— Постой, я тебе сразу выдам,— спешит Зосим Васильич, но Пашка уже ушел.

Дверь притворена не плотно. К ногам бежит морозный холодок. За окном полная ночь.

...Попозже, через час, Петр заходит к отцу и садится в ногах. Тот лежит по-прежнему, одетый, немигающий. В головах у него как-то особенно намекающе и нравоучительно тикают часы.

— Пришел?.. — жестко спрашивает отец. — Ну, посиди, посиди у меня. Вот так мы и живем, Петруша. Варимся, и поблагодарить некому. Ишь проносились штиблетки-то твои, песок в них и то не удержится! — замечает он, глядя на свесившиеся худые и длинные ноги Петра. — Отнеси завтра к сапожнику, походи в моих пока.

— Папаша,— мягко прерывает его Петр, обводя пальцем квадратики лоскутного отцовского одеяла,— я все сказать вам хотел, времени вот только не выходило... Меня не совсем еще выпустили. Через две недели второе дело в судебной палате будет слушаться...

— А-а,— холодно внимает отец. — Тянет тебя в тюрьму, Петруша. Жрать, что ли, тебе на свободе нечего?

— Мне-то есть что,— с мягкой настойчивостью отвечает Петр. — Хотим, чтоб все, папаша, жрали...

Они сидят, не глядя друг на друга. Вдруг Петру кажется, что он сказал грубость. Длинноносое лицо его бледно краснеет.

— Папаша, я и позабыл вас с ангелом-то поздравить. С ангелом, папаша!

— Нашел время, Емеля! — тоскующе усмехается отец и

легонько толкает сына в плечо. В голосе быхаловском — и жалоба на свое нехорошее одиночество, и грустная насмешка над суетой Петра.

Петр уходит спать.

Еще через час — уже полный сон. Газ потушен. Вверху, на полатях, с остервенением и вывертом, словно напилком стекло режет, храпит Карасьев.

Внизу, рядом с пустой койкой, ворочается без сна Сеня. Ему и холодно, и чего-то страшно. Будто — поле, огромное, ровное, ночное. И в поле этом разошлись пути братьев на две разные стороны...

VII. ДЕВУШКА В ГЕРАНЕВОМ ОКНЕ

Каждому цвету свой черед, пришла пора и Сенина. Вот уж и Семеном стал звать Сеню Быхалов: с Успенья тронулся Сене восемнадцатый год. Время Сенино к убыли не спешило. Но когда восемнадцатого побежали первые дни, стал вдруг виться Сенин волос. Раньше все в скобку стригся, маслом утихомиривая непокорный затылочный вихор. А тут взыграли щеки Сенины румянцем, а голова — кольчиками; никакого с ними сладу нет. Не всех в могилу гнало Зарядье.

У Сени глаза серые, а брови, свидетельствуя о силе и воле, вкрутую сбежались к переносью. Жизни в него до краев налито. Она переливается могучими желваками на его спине, под рубашкой, она играет на алых Сениных губах. Вырос и поширел: скоро тесна станет Сене неглубокая, невысокая зарядская скудость.

За пять лет житья в бакалейных молодцах не устал Сеня бегать к Катушину, в его подчердачную высоту. К лету восемнадцатого своего года все катушинские книжки перечел Сеня, не ускользнула ни одна. Каждая из обтертых, скользких ступенек катушинской лестницы имела свое обличье и место в Сениной памяти... Взбегал, быстро проходил темный коридор с бесчисленным количеством дверей и рывком распахивал одну из них.

Так случилось и в это воскресенье, после закрытия лавки. В окна мастерской, где работал и жил Степан Леонтьич, широким снопом западало солнце, ярко и оранжево располагаясь и на войлочной двери, и на полу с обрезками сукна, марли, ваты и картона. Когда растворилась дверь и в солнечном пят-

не явилась белая Сенина рубашка, даже зажмурился Степан Леонтьич: уж не выносили света его слепнущие глаза.

— Чтой-то ты горячий какой нынче? Словно из печки только что вылез, выпекли...

— Книжку назад принес. — Улыбка Сенина широка и свободна.

— Всю прочел? — жмурился Катушин.

— Всю-то всю. Сочинение хорошее, слов нет. Только вот уж больно про любовь много. Словно у них и дела другого нет: влюбляются да расходятся.

Катушин улыбался: поздняя старость наблюдала раннюю младость.

— Все к тому и течет, Сенюшка. И нет другого дела, правда твоя. Которы любят, те и счастливы. Ты знай: весь мир приобретешь, и он тебя обманет, а любовь...

— ...спасет,— докончил за Катушина Сеня. — Это ты вон из той книжки, Степан Леонтьич, говоришь. Я чита-ал... — протянул Сеня. — Там дальше так сказано: но если обманет тебя любовь, то больней ее обман, чем обман целого мира. Только, по-моему, все это враки. — И со смеющейся недоверчивостью Сеня садится возле старика.

— Что ж, обманывать, что ль, я тебя буду? — хитровато посмеивается Катушин. — И я ведь не всегда этаким сморчком по свету вихлял. Я тебе из правды жизни сказал, а не по книге...

Уже через три минуты от катушинской веселости нет и следа. Он грустно молчит, погружаясь в свои воспоминания. Выпуклые очки снова дрожат на его крохотном носу, брови по-детски подняты.

— ...Очень мне хотелось грамоту вот тоже осилить,— сутулясь еще больше, рассказывает Катушин. — Меня тогда дьячок и приютил один, из соседнего села. Я к нему бегал тайком, чуть не замерз раз, во вьюгу побежал. Я у дядьки жил, дядька и не пускал: «Мы без грамоты прожили, и тебе пачкаться не след!» А дьячок меня и учил... Вот как кончилось обученье, он и говорит мне напоследях, дьячок мой: «Ну, говорит, Степан, все я тебе, что имел, передал. Ничего у меня, Степан, боле нету. Лапти вот еще умею плести, хочешь — обучу. А дальше уж ступай, как сам знаешь!»

Сеня смотрит в окно. Ветерок задувает к нему в лицо и перебирает кольчики Сениных волос, нежно, как женская рука. Грудь дышит тяжким запахом накаленного железа и камня. Обычные зарядские запахи боятся солнца, бегут глуб-

же — в провалы проходных ворот, в купеческие укладки, во мраки костоломных лестниц. Сеня любит глядеть из катушинского окна: видно много.

Каменные невысокие этажи с суровой простотой возносились кверху. Предвечернее солнце калило воздух, мягчило асфальт, как воск, оранжевой дымкой одевало пыльную московскую даль. А внизу крались кривые переулки, и в них стоял небудничный гам. Ремесленное Зарядье погуливало, лущило семечки, скрипело гармоньями, изливалось в унылых песнях. Каждому зарядцу отведено в празднике свое особое место. Дудину — в сыром подвале чокаться с бутылкой, Быхалову — умиляться над киевским патериком, сказаньями о святых подвижниках, Карасьеву — все гулять по переулочкам, перемигиваясь со встречными девушками.

На все это Сеня смотрит теперь со смешанным чувством вялого любопытства и удивления. Вот по этим же руслам, в Зарядье, потечет и его собственной жизни река. Спокойна ли будет, порожиста ли, и когда обмелеет — в чьих жизнях затеряется ее конец?

Внезапно услышал Сеня старческий всхлип позади и как бы шуршанье бумаги.

Катушин сидел теперь к нему спиной, и за линялым ситцем его рубахи странно суетились стариковские лопатки.

— Да о чем ты, Степан Леонтьич, старичок милый? — кинулся к нему Сеня.

— Ничего... ничего, дружок. Спасибо тебе за ласку твою... Дьячка своего вот вспомнил. — Катушин уже улыбался, и лицо его, разглаженное улыбкой, походило на последнюю страницу книги, обрызганную слезами. — Весь небось растворился в земельке, года немалые. Как обучил он меня лаптям, так и помер в недельку. Ну вот и я так же. — Выходило, что не Сеня утешал старика, а скорее старик примирял молодого с необходимостью смерти. — Не тревожься, паренек, будь крепенек. Одна глупость моя. Устарел я, а куды мне? В богаделенку меня не примут... Крови я не проливал, родины не спасал. А глаза-то, эвона, покоя хотят. Берешь иглу в руки, а и не видишь иглы-то... и нитки не вижу! Так, паренек милый, пустым местом по пустому и шью. Только вот рука не омманывает...

Он сидел, ссохшийся калужский старичок, глядя в низкий потолок, под которым просидел всю жизнь, и кусал губами ноготок мизинца, как провинившийся мальчик, разбивший то, что дарят человеку однажды в жизни.

Жара за окном сменялась прохладой, предвещающе подуло влагой с реки. День закатывался куда-то за дома, дышавшие душной каменной истомой. Пьяный голос где-то внизу затянул песню, оборвался на высокой точке и умолк. На смену ему из раскрытого окна секретовского трактира запел трубным голосом орган. Задумавшись, Сеня неподвижно глядел в окно.

— ...Все картузы да картузы, а ведь она-то не ждет! Пожалуйте, скажет, мыться да на стол!.. — слышал Сеня совсем издалека.

В двухэтажном доме напротив, в теневой стороне, открылось окно. В ветерке заколыхались кисейные занавески; за ними пылали на подоконнике пушистые ярко-красные герани и жирные бальзамины. Потом в окне явилась женщина или девушка,— было Сене не разглядеть.

Она поправила передничек, оперлась локотком о подоконник и, поглядев вниз, зевнула. Что-то привлекло ее внимание на крыше; раздвинув цветочные горшки, она высунулась из окна.

— Да улетайте же вы, улетайте... — закричала она, беспомощно хлопая в ладоши; вслед за тем она увидела Сеню в окне. — Там кот на голубей охотится, спугните его! Да скорей же, неповоротливый какой...

Она была такая праздничная, зовущая — в нарядном гераневом окне.

— Сейчас мы его уважим,— отвечал Сеня через улицу и успокоительно махнул рукой. — Только не уходи, побудь там еще немножко!

Не дослушав Катушина, он метнулся в дверь и скоро через разбитое чердачное окно вымахнул на крышу, громыхая по железу тяжелыми сапогами.

Опасенья, что уж поздно, оправдались: сытый бело-рыжий кот держал голубя в зубах, из разорванной шейки капала на раскаленную крышу кровь. В следующее мгновение он жалобно топырил лапы в сжатой Сениной руке... Но вот нога скользнула вниз, и одновременно девичий вскрик раздался в гераневом окне. Если бы не водосточный желоб, игра Сенина была бы проиграна... Покачиваясь, не выпуская добычи, он стоял на самом краю обрыва и силился овладеть пошатнувшимся сознанием...

Сперва он ощутил опасность и отодвинулся на полшага вверх по скату. Извернувшись, кот царапал ему руку, а девушка еще кричала что-то из гераневого окна, и Сеня с удив-

лением различал в ее голосе сердитые нотки. Все еще кружилась голова — не мог уловить причины ее гнева...

А та нетерпеливо барабанила ладонями по железному отливу подоконника.

— Да отпустите же его, вам говорят... Это наш кот! — И оборачиваясь к кому-то позади: — Матрена Симанна, он его задушит. Господи, какие дурни бывают на земле!

Он стоял теперь на гребне крыши, держась за кирпичную кладку трубы, большой и смелый, в черно-голубом предгрозовом небе, и расстегнутая у ворота его рубашка оранжево горела в тягучем закатном свете. Едва понял и разжал пальцы, кот мгновенно исчез в чердачном проеме, а девушка все глядела на занятного паренька через улицу, качала головой и смеялась:

— Ну, чего вы сюда уставились! Не глядите на меня, слышите? Не велю...

Ее голос был низок, мягок, звучен: его можно было слушать век. Сеня улыбался ее гневу широко и восторженно; холодки, мурашки и льдинки струились у него по спине. Крикни она ему — лети! — он без раздумья исполнил бы ее приказание. «Тонкая какая!» — удивился он и вдруг сам испугался за нее:

— Не вылазь, ладно, не вылазь... Переломишься!

Старушечья рука захлопнула окно и тотчас же задернула занавеску. Гераневое окно сразу потерялось среди всех других, столь же незначительных оконцев.

Сеня сел на гребень крыши и осмотрелся. «Тонкая какая!» — повторил он вслух и еще раз посмеялся над необычайностью события. Ветерок задувал за ворот рубашки; Сеня поднял руку застегнуть и нахмурился: двух верхних пуговиц недоставало у ворота. Потом взгляд его сам собою перекинулся на сапоги: они были тяжелы и неуклюжи. «Бочки, а не сапоги. Капусту в таких осенью квасить, вот что!» — подумал он, вспомнил карасьевские сапожки, тонкой кожи, лакированными бутылочками, и огорченно покачал головой...

И точно преисподний дух, легкий на помине, в чердачное окно просунулась потная, обозленная рожа самого Карасьева:

— Ты чего тут балбесничаешь? Пошел домой! — рявкнул он, багровея от удовольствия удовлетворить потребность власти. — Чего народ внизу собираешь? Я вот задам тебе, неслуху!..

Но тут случилось нечто совершенно не предвиденное Ка-

расьевым. Сеня засмеялся, беззлобно, но с какой-то возмутительной самостоятельностью:

— А ну, поди сюда! Я тебя, лошака ярославского, вниз скину...

— Вот и дурак! — обиделся Карасьев, не решаясь выбраться на крышу. — Я тебе заместо отца родного, можно сказать. А ты этак-то? Погоди. Я тебя, мужика, выучу, припомню!

— В поминанье пропиши! — крикнул ему Сеня вдогонку, но тот уже исчез с той же внезапностью, как и появился.

...Он долго сидел здесь. Чуть не весь город лежал распростертый внизу, как покоренный у ног победителя. Огромной лиловой дугой, прошитой золотом, все влево и влево закруглялась река. Широкое и красное, как цветок разбухшей герани, опускалось солнце за темные кремлевские башни, пики и купола... А снизу источались духота, жар, томящая, расслабляющая скука. Небо гасло, и все принимало лилово-синий отсвет тучи, наползавшей с востока. Ночь обещала грозу, и уже попыхивал молниями иссушенный московский горизонт.

Сеня обернулся. Москва быстро погружалась в синеву потемок, только диким бронзовым румянцем пылали крест и купол Никиты-мученика, что на Вшивой горке. Дальше все размывала мгла.

Напрасно ждал своего питомца Катушин, приготовивший для него последнюю свою, самую сокровенную книжку. Сеня сидел вверху, как раз над ним, чутко впитывая в себя эту непомерную торжественность закатной Москвы. Сердце его стучало быстро, четко и властно; так несется в свою неизвестность, ударяя не кованными еще копытами, молодой жеребенок по гулкой ночной дороге.

VIII. ПЕТР СЕКРЕТОВ

У Карасьева план тонкий. И крепко сшитые зарядцы смертью не обижены: как кончится Быхалов, откажет он деньги сыну, если тот к тому времени до полной трухи по тюрьмам не догниет. А лавку — кому ее и оставить, как не Карасьеву, человеку непьющему и обходительному, знающему благодетелям почесть, делу оборот, деньгам счет. Переменит Карасьев вывеску, приоткроет мясное: денежка закопит денежку, рублик погонит рублик, и выйдет из того усидчивого карасьевского нажима под старость каменный домок. И шестерки в козыри выходят: примером тому Секретов Петр.

Из дырявой полтинки Петр Филиппыч повелся, а помнит бородатая зарядская мелкота, как пришел он вместе с Ермолашкой Дудиным из деревни, хитроватый, рыжий, изворотливый, гнилыми грушами да квасом с лотка торговать. С Дудиным Петька в решку игрывал и на кулачках дрался, к Катушину книжки ходил читать. Был лопоух, за что и прозвали его Лопухом.

Вдруг пропал Лопух. Где Лопух? Нет Лопуха... Но осенью однажды объявилась москательная в каменной прорешке между двух домов, и вывеска утверждала безграмотно, что москательщик тут — Петр Секретов. Лопуха в нем признали и свыклись. Стекло ли вставить, масла ли деревянного купить или рожу полюбовнику залить кислотой — шли непременно к Лопуху: у него товар свежий, с ручательством, и запросу нет.

Да раз пошла быхаловская молодайка замазки купить на зимнюю надобу, а москательни-то и нет. Досочками забита прореха, вывеска сорвана: ни товара, ни хозяина. Такая беда, пришлось брюхатой — Петром была покойница на сносях — на Москворецкую тащиться и у незнакомых покупать.

Безусые оженились, бородатых по кладбищам развезли. Слух прошел по Зарядью: желто-розовый дом Берги продают, им в гвардейском полку для поддержания чина и фамилии в деньгах нужда. Смекала голь: какого-то хозяина бог на шею посадит? Вдруг дудинская жена открыла во сне: дом Берги продали, а купил лопоухий барин, бесфамильный, неподслушанный. Дудин тогда же бабу побил, чтобы не суеверила попусту. А через неделю и приехал новый барин с женой. Пригляделись зарядцы — Лопух. Очень тогда Секретова невзлюбили, что помимо Зарядья, окольной ста́тью в люди вышел. Впрочем, Секретов от их злобы ущерба себе не чувствовал.

Ловок был, а на дороге ему купец попался. Имелись у купца и лабазы, и мельницы, и мучные оптовки, а еще дочка Катеринка с глуповатинкой. Секретов к ней и лазил по пожарной лестнице в светелку, обаловал ее, молодую да глупую, небрежной, мимоходной лаской, а на четвертом месяце, как объявилась Катеринкина любовь, деловым, скромным образом предложил Петр Секретов купцу честной свадебкой Катеринкин грех покрыть.

Купец только бороду почесал да усмехнулся:

— Я умен, а ты еще умней. Такими, как ты да я, вся Сибирь заселена. Бить Катьку не будешь? Прямо говори...

С той поры Секретов поважнел, кланяться перестал, люди ему — как грошики: только тогда им и счет, если в сотню сложатся. Отделал себе квартиру в доме против желто-розового владенья своего и по всем комнатам кнопки провел во избежанье вора.

...Как-то раз в двунадесятый, на безденежье, стало Дудину обидно на приятеля давнего детства. Оделся победней, в самые рваные сапоги, и пошел Петрушу, друга сердца, проведать. Пришел, встал в дверях, головенку набок, улыбается с горьким умиленьем на секретовское благолепие и покачивается, будто с пьянцой. А на самом деле был дико трезв, даже слишком для Ермолая Дудина.

Секретов за чайным столом ватрушку жевал. С одной стороны сидела беременная жена, а с другой — шурин Платон.

— Ты что ж образ-то подобие корчишь? — поднял глаза Секретов, облизывая творог с ватрушки. — Какая у тебя надобность?

— Ватрушечка-то небось вкусная? — погнулся Дудин в пояснице.

— На,— сказал Секретов и протянул облизанную.

— Ноне-то и пузцом обзавелись... а ведь я Петькой помню вас, Петр Филиппыч,— льстиво забубнил Дудин, пряча ватрушку в карман и там разминая ее в крошки от злобы. — Как, бывало, в ребятишках мы с вами бегали; уж такой вы жулик были, смрадь, можно сказать, и не приведи бог! Я б и еще коечто про вас сказал, да вон их стесняюсь,— и кивнул на Катерину Ивановну, пугливо замершую с непрожеванной ватрушкой во рту.

Петра Филиппыча в багровость кинуло. Не выходя из-за стола, потискал он кнопку под столом, вскочили в дверь дворники, взяли Дудина в охапку, унесли... Некому было Дудину жаловаться, а жена его, сама хирея день ото дня, замечать стала, что кашлять стал глуше и нудней Ермолай после того, как сходил в гости к другу давней юности.

...А Секретов в гору шел. В новокупленном дому зазвенела трактирная посуда и запел орган. Зарядье — место бойкое, в три быстрых ключа забилась в «Венеции» жизнь. Линии секретовской жизни были грубы, ясны и незатейны, как и на мозолистой руке. Все у него было правильно. Короткая его шея не давала вихляться и млеть головище, не то что у Дудина, длинношеего. Разум свой содержал в чистоте и опрятности, не засаривал его легковесным пустяком, подобно Катушину. Про-

ветриваемая смешком, не болела его душа ни тоской, ни жалостью, ни изнурительной любовью.

Четыре месяца спустя по приезде в Зарядье родила Катерина Ивановна девочку Настю. Быть бы в той нечаянной семье счастью и хотя бы наружному благополучию, как вдруг простудилась Катерина и слегла. Дочке тогда третий год шел, когда у матери ноги опухли. Все же переползала от кровати к окну, из-за занавески наблюдая чужую жизнь, стыдясь самой себя.

Ее-то, так же как и Сеня Настю пятнадцать лет спустя, увидел Катушин из окна, тачая камилавку, дар прихожан приходскому попу. И оттого, что прожил без любви, а перед тем собачка у него околела, полюбил он Катерину Ивановну, чужую, в чужом окне, тоскующую. Но только в убогих стишках своих смел говорить он о своей любви. Ключ же от сундучка, где таилась его тетрадка, стал прятать далеко-далеко, на шейный шнурок.

Оставался еще в Катерине кусочек смысла: покрикивала по хозяйству, штопала носки самому. Вскоре, однако, совсем ей ноги отказались служить. Положили тогда Катерину Ивановну в угловой комнатушке, завесив окно той самой шалью, в которой, к слову сказать, венчаться ехала. Двигаться Катерина Ивановна уже не могла, и ухаживала за ней Матрена Симанна, новоявленная тетка из Можайска. Толстая и ленивая, она и креститься помогала хозяйке малоподвижною рукой, она же и молитвы за нее шептала, поясняя целителю Пантелеймону бормотание хозяйкиных губ, приходила на помощь и в остальном.

Секретов запивал. Раз ночью, когда боролись в нем пьяные чувства, пришел к жене.

— Ты меня, Катерина, прости... за все гуртом прости! — сказал он тихо, стоя в дверях, и обмахнул увлажнившиеся глаза рукавом.

Та лежала, неподвижная, страшная, белая.

— Слышь, жена, прощенья прошу,— повторил терпеливо он, кулаком ударяя себя в грудь, и вдруг завопил на всю квартиру: — Да что ж ты, как башня, лежишь... не ворочаешься?

С той поры совсем махнул он рукой на Катерину.

Зато, как-то случилось, стал Катушин ходить к тому, что было когда-то секретовской женою. Приходил вымытый, в чистенькой воскресной рубахе, садился возле кровати и сидел тихо, полузакрыв глаза. Иногда рассказывал слышанное и читанное или смешное что, не получая ответа, да и не нуждаясь

в нем. Своей любви остался Катушин верен и любил Катерину, быть может, больше, чем если бы она была здорова. Он же пробовал лечить ее отваром капустного листа.

Тут, в этом темном тупике, плодилась моль, мерцала лампада, воркотала очередная монашенка, и из года в год возле столика, уставленного лекарственным хламом, бесшумно сидел Катушин. Так он научился понимать смутный язык больной. Однажды сказал Насте:

— Ты заходи к матери-то. Сердится, что не бываешь.

В другой раз осмелился сказать Секретову:

— Что ж ты ее, Петр Филиппыч, просвирками-то моришь? Ты бы ей щец дал!..

IX. НАСТЮША

Настюша росла девочкой крепенькой, смуглой, как вишенка, в постоянном смехе, как в цвету.

Детство свое помнила лет с шести: дядя Платон куклу подарил.

Кукла была с фокусом, плакала и моргала. Недолговечны детские утехи: вечером распорола Настюша кукле животик, чтобы узнать секрет куклиной жизни. Там оказалась только пружина да еще жестяной пищик, вонявший столярным клеем. Чтобы скрыть преступленье, она подкинула останки куклы матери под кровать. Сора оттуда не выметали, чтоб не тревожить больную.

Никто и не заметил, а отцу не было никакого дела до Настиных поступков. «Расти, сколько в тебе росту хватит. Дал тебе жизнь, даю хлеб. Вот и в расчете, пожалуйста!» — таков был неписаный договор между отцом и дочерью. У отца в то время ширились дела, требовали воли, гла́за, времени. Каждый винтик в общей машине хотел, чтоб и за ним присмотр да хлопоты были.

Лишь в воскресные дни, садясь за стол, спрашивал, посмеиваясь:

— Ну, Настасья Петровна, как живете-можете, растетематерееете?

— Ничего, папаня... матереем! — в тон ему пищала восьмилетняя Настасья Петровна.

Вопрос повторялся из праздника в праздник, из года в год... Настюше рано опротивел отцовский дом — грузные пироги с ливером, безмолвие комнат, громадная Матрена Симан-

на, жующая мятную лепешку для сокрытия винного запаха. Матери Настюша боялась, как страшного сна; когда, по воскресеньям, старуха приводила ее сюда, в тесную, всегда завешенную каморку, девочка робела, мучилась укорами совести, старалась не дышать мертвым запахом чужой болезни и пуще всего страшилась прикосновения белой, из-под одеяла, опухшей руки...

Потом, волнуясь и спеша, она надевала оборванную шубку, дырявый шерстяной платок, чтоб не бранили за порчу, и вихреподобно уносилась на улицу.

Так и росла Настюша на улице, без нянек и присмотров. Бегала с ребятами через Проломные ворота на реку, тонула однажды в проруби, дразнила вместе со всей ребячьей оравой извозчиков, татар, иззябших попугаев на шарманках у персов. Шумливая и загадочная, звала ее улица. Она сделала Настю бойкой; тела ее, изворотливого и гибкого, никакой случайностью было не удивить... В городском училась — детскую мудрость срыву, по-мальчишески, брала. Остальное время с мальчишками же вровень каталась на коньках вдоль кремлевского бульвара, скатывала снежных страшилищ: любопытно было наблюдать, как точит их, и старит, и к земле гнетет речной весенний ветер. То-то было шумно и буйно, непокорно и весело.

Двенадцатая весна шла, придумали необычное. В голове у снежного человека дырку выдолбили и оставили на ночь в ней зажженный фитилек. Всю ту ночь, думая об этом бесцельном огоньке, томилась без сна Настя. Ах, какой славный ветер в ту ночь был! Как бы облака сталкивались и гудели, словно тесно стало в весеннем небе облакам... Наутро нашли в огоньковой пещере только копоть. Недолго погорел фитилек. Тут еще снег пошел, лужицы затянулись. Так впервые изведала Настя горечь всякой радости и грусть весны.

Раз осенью, поутру, окончилось Настино детство. От обедни возвращаясь вместе, сказал Секретов Зосиме Быхалову от всей полноты души:

— Паренька твоего видал. Хороший, ласковый...

— Законоучитель очень его хвалил: ваш, говорит, сын перстом отмечен,— довольно пробурчал Быхалов.

— Надо и мне Настюшку мою к занятиям пристроить. Как знать, какие жеребьи выпадут... Вдруг да посватается? Негоже будет умному-то мужу да глупую жену! — задорил Петр Филиппыч.

— Коли товар хорош выйдет, чем мы не покупатели? —

нощурился и Быхалов. — Только что ж ты ее ровно просвирню водишь? Бабочка славная растет.

— Бабочка славная... — повторил задумчиво Секретов и впервые оценил дочь.

Сделали новую шубку Настюше — здесь и кончилось детство: в новой не так вольготно стало и в угольных сараях прятаться, и валяться в снегу. Настю отдали в купеческий пансион.

В канун того дня заходила Настя к отцу проститься на ночь. Тот сидел на кровати, без поддевки и без сапог, усталый и хмурый, в предчувствии запоя.

— Ну, девка,— заговорил он, усаживая ее на колени,— смотри у меня.

— Я смотрю,— сказала Настюша и поджала губы.

— Да не егозой расти, а яблочком... Чтоб каждому от тебя и рот вязало, и душу тешило. Живи и никому спуску не давай. На меня гляди: мужиком пришел, двадцать лет меня жизнь в ладонях терла, а все целехонек. Чувствуешь?

— Да! — не робея, сказала Настюша, скашивая глаза на порожние бутылки, оставшиеся в углу от прошлого запоя.

— Учись и божье слово слушай, на то человеку и уши даны. Без него, девка, плохо, тем и кормимся...

— А у вас, папаня,— давясь смехом, спросила Настюша,— ухи большие тоже для божьих слов?.. — Она не выдержала и рассмеялась, точно целая связка колокольчиков раскатилась по полу. — Папаня, извините, у меня губы чешутся,— уходя, попросила Настя.

...Тем временем названый жених Настин вступал в университет. Часто, к вящему недовольству отца, пропадал ночи, путался с волосатыми приятелями, худел и бледнел: не шли Петру впрок его усидчивые занятия. А среди белых пансионских стен, намекавших на девическую невинность содержательницы, мадам Трубиной, науками, напротив, не утруждали. Преобладали танцы и арифметика. Беря с купеческих девиц втридорога, боялась Трубина потерять лишнюю ученицу. Какой-то защелканный многосемейный немец вслух переводил по пять строчек в день, с грустным ужасом глядя на сидящих перед ним круглолицых, румяных девиц. Зато Евграф Жмакин, учитель танцев, был неизменно весел и летающ, походя на пружинного беса; казалось, что мать его так в танце и родила.

На четырнадцатом году тронула Настюшу корь. После выздоровления отец долго не пускал Настю в пансион; да тут еще

негаданно просунулось шило из мешка. У знакомого зарядского купца дочка Катя, учившаяся вместе с Настей, пополнела от неизвестных причин; под неизвестными причинами был сокрыт от гневного родительского взгляда сам Евграф Жмакин. Петр Филиппыч был так обрадован своевременным удалением Насти из пансиона, что даже забыл посмеяться над купеческим позором.

Оставлять Настю без образования Секретову было совестно перед друзьями. По совету шурина стал он подумывать о приглашении домашнего учителя. И тут как раз совпало: Петр после первого своего, пустякового ареста, понятого всеми как недоразумение, проживал в Зарядье, у отца. Лучшего случая нанять учителя задешево, а вместе с тем и познакомиться с Петром Быхаловым поближе, если того и в самом деле угораздит посвататься, не представлялось. Петр согласился, уроки начались почти тотчас же.

Учитель приходил с утра, с книгами и тетрадями под мышкой. И без того сильно сутулясь, теперь он еще вдобавок хмурился, чтоб внушить девочке уважение к особе учителя. Садился за стол, раскрывал книгу на заложенном месте, начинал с одного и того же:

— Ну-с, приступим. Итак...

И в тон ему, щуря глаза,— привычка, перенятая у Кати,— как эхо, вторила Настя:

— Приступим...

Она садилась на самый краешек, точно старалась скорее устать. Первые десять минут все шло чинно. В купеческой тишине слышались только громыханья сковородников и кухаркин голос. Положив локотки на стол, Настя подпирала руками голову и глядела прямо в рот Петру, забавляясь движениями вялого учительского рта.

Потом глаза ее подергивались тоненькой пленкой дремы. Она зевала в самых неожиданных местах,— однажды стала играть полуоторвавшейся пуговицей студенческой тужурки Петра, однажды просто запела. Честное пошевеливанье Петровых губ усыпляло Настю: запела, чтоб не уснуть.

— Слушайте, Петр Зосимыч,— сказала однажды,— в который раз у вас вижу. Дырка у вас на локте, дырка,— указала Настя. — Давайте я вам зашью... А вы мне лучше потом доскажете.

— Это давняя, я к ней привык... Впрочем, зашейте,— согласился он, стаскивая с себя тесную тужурку.

Напевая, Настя отыскала в ворохе цветных обрезков подходящий лоскуток. Петр сидел молча и глядел на ее быстрые пальцы.

— Скажите,— вкрадчиво начала она, вдевая нитку в иголку,— правда это, что вы каторжник?

— То есть как это каторжник? — опешил Петр. — Что за пустяки! Кто это вам сказал? — И длинный нос его принял ярко-розовый оттенок.

— Вы уже убивали кого-нибудь? — тончайшим голоском спросила Настя, склоняясь над работой.

— А, вот вы про что! Нет, я за другое сидел... — сказал он тихо, косясь на растворенную в коридорчик дверь. Дверь Настиной комнаты, по настоянию Петра Филиппыча, была всегда раскрыта.

Настин взгляд был выспрашивающий и требовательный, и, повинуясь ему, Петр тихо пояснил, за какие провинности вычеркивают людей из жизни, иногда на время, иногда навсегда. Похоже было, что он приглашал и Настю разделить с ним его судьбу. Настя спешила, доканчивая починку.

— Нате, надевайте,— сказала она, обкусывая нитку.

Она встала и отошла к окну. Там падал осенний дождик. Вдруг плечики у Насти запрыгали.

— Что вы, Настя? — испугался Петр.

— Знаете что?.. Знаете что? — задыхаясь от слез, объявила девочка, откидывая голову назад. — Так вы и знайте... Замуж я за вас не пойду! Вы лучше и не сватайтесь!

— Да почему же? — удивился Петр.

— У вас нос длинный, и потом у вас с головы белая труха сыплется... — прокричала Настя и выбежала вон.

Весь тот день она просидела в кресле, сжавшись в комок. А вечером решительно вошла в отцовскую спальню. В ожидании ужина Петр Филиппыч серебряным ключиком заводил часы.

— Я за твоего Петра Зосимыча не пойду. Так и знай! — твердо объявила она и встала боком к отцу. — Не хочу с ним в тюрьму, не хочу!

— Да ну-у?.. — захохотал Секретов, уставляясь руками в бока. — Вот баба... На чью-то неповинную головушку сядешь ты, такая!

Настя подошла ближе и вдруг, припав к груди отца, заплакала. От жилетки пахло обычным трактирным запахом. Отец гладил Настю по спине широкой, почти круглой ладонью.

Так она и заснула в тот вечер на коленях у отца. А в столовой стыл ужин и коптила лампа.

...Через два дня Петр снова уселся в тюрьму, на этот раз надолго. В мирной сутолоке Зарядья то было немалым событием. Секретову рассказали, будто приезжала за Петром черная карета. Она-то и увезла душегуба Петра в четыре царские стены.

Петр Филиппыч, человек мнительный, тогда же порешил покончить все это дело. В субботу, перед полднем, отправился к Быхалову в лавку и сделал вид, что ненароком зашел.

— Здравствуй, сват,— прищурился Быхалов, зорко присматриваясь ко всем внутренним движениям гостя. — Семен! — закричал он в глубь лавки, скрывая непонятное волнение. — Дай-кось стул большому хозяину... Да стул-то вытри наперед!

— А не трудись, Зосим Васильич. Я мимо тут шел, дай, думаю, навещу, взгляну, чем сосед бога славит.

— Ну, спасибо на добром слове,— упавшим голосом отвечал Быхалов, почуяв неискренность в секретовских словах. — Садись, садись... стоять нам с тобою не пристало.

— А и сяду,— закряхтел Секретов, садясь. — Эх, вот увидел тебя, обрадовался и забыл, зачем шел-то. Время-то не молодит. Эвон как постарел ты, Зосим Васильич. Краше в гроб кладут! Огорчений, должно, много?..

Быхалов морщился недоброй улыбкой.

— Да ведь и ты, сватушка... тоже пухнешь все. Пьешь-то по-прежнему? Я б на улице и не признал тебя. Плесневеть скоро будешь!

— Скажешь тоже, смехотворщик! Я-то еще попрыгаю по земле! Вот у Серпуховских еще трактиришко открываю, сестриного зятя посажу. Да вот домишко еще один к покупке наметил. Сам видишь, дела идут, контора пишет. Эвон я какой, хоть под венец! Моложе тебя года на два всего, а ведь годов на тридцать перепрыгаю!..

Последний покупатель ушел. Наступало послеобеденное затишье.

— Ванька,— глухо приказывает Быхалов новому мальчику,— налей чаю господину. Да сапогами-то не грохай, не в трактире!

— Насчет чаю не беспокойся, соседушко,— степенится Секретов, лукаво разглаживая рыжую круглую бороду. — В чаю-то купаемся!

— Да и нам не покупать. Выпей вот с конфетками. Да смотри не обожгись, горяч у меня чай-то!

На прилавок, у которого сидит Секретов, ставит Зосим Васильич фанерный ящик с конфетами.

— Ах да, вот зачем я пришел... Вспомнил! — приступает Секретов, мешая ложечкой чай, стоящий на самом краю прилавка. — Вот ты сватушкой меня даве называл. Конешно, все это — смехи да выдумки, а только ведь я Настюши своей за сына твоего не отдам... Не посетуй, согласись!

— А что? Почище моего сыскали? Что-то не верится... — скрипит сквозь зубы Быхалов, все пододвигая ящик с конфетами на гостев стакан.

— Так ведь сам посуди,— поигрывая часовой цепкой, говорит Секретов, голос его смеется. — Кому охота дочку за арестанта выдавать? Уж я лучше в печку ее заместо дров суну, и то пользы больше будет...

Оба молчат. Сеня громко щелкает на счетах,— месячный подсчет покупательских книжек. Секретов сидит широко и тяжко, каждому куску своих обширных мяс давая отдохновенье и покой. В стакане дымится чай. Быхалов, уставясь в выручку, все двигает к гостю конфетный ящичек и вдруг выталкивает его на стакан, который колеблется, скользит и опрокидывается к Секретову на колени.

В первое мгновение Секретов неожиданно пищит, подобно мыши в мышеловке, и Быхалов не сдерживает тонкой, как лезвие ножа, усмешки.

— Да ты, никак, ошпарился? Вот какая беда...

Петр Филиппыч, наклонясь побагровевшей шеей, картузом смахивает с колен дымящийся кипяток.

— Да, захватило чуть-чуть, краешком,— фальшиво улыбается Секретов, твердо снося жестокую боль ожога. — А сынища своего,— вдруг прямится он,— на живодерню отошли, кошек драть!..

— И мы имеем сказать, да помолчим. — И Зосим Васильич поворачивается к гостю спиной.

— И правильно сделаете! А то к сыну в острог влетите... — выкрикивает Секретов. — А на лавку мы вам еще накинем... вы мне тута весь дом сгноите! Счастливо оставаться!

Затем последовал неопределенный взмах руки, и Секретова больше нет. Любил Петр Филиппыч, чтоб за ним оставалось последнее слово,— отсюда и легкое его порханье.

X. ПАВЕЛ НАВЕЩАЕТ БРАТА

Сеня впоследствии не особенно огорчался безвестным отсутствием брата. Крутая, всегда подчиняющая, неукротимая воля Павла перестала угнетать его,— жизнь стала ему легче. Сеня уже перешел первый, второй и третий рубежи зарядской жизни. Теперь только расти, ждать случая, верным глазом укрепляться на намеченных целях.

В конце того же лета, когда Катушин вспоминал о дьячке, в воскресенье вышел Сеня из дому, собравшись на Толкучий рынок, к Устьинскому. На подоконнике быхаловского окна, возле самой двери, сидел Павел. Зловеще больно сжалось сердце Сени,— такое бывает, когда видишь во сне непроходимую пропасть. Павел был приодет; черный картуз был налажен на коротко обстриженный Пашкин волос. Все на нем было очень дешевое, но без заплат. Сидя на подоконнике, Пашка писал что-то в записную книжку и не видел вышедшего брата.

— Паша, ты ли?

— А что, испугался? — спокойно обернулся Павел, пряча книжку в карман брюк; глаза его покровительственно улыбнулись. Потом Павел достал из кармана платок и стал сморкаться.

Надоедливо накрапывало. В водосточных желобах стоял глухой шум, капало с крыш.

— Чего ж мне тебя пугаться! — возразил Семен, поддаваясь непонятной тоске, и пожал плечами.

С неловкостью они стояли друг перед другом, ища слов, чтоб начать разговор. Вспыхнувшее было в обоих стремление обняться после пяти лет разлуки теперь показалось им неестественным и ненужным.

— Чего же под дождем-то стоять?.. Пойдем куда-нибудь,— сказал Сеня, выпуская руку Павла, твердую и черную, как из чугуна.

— Да вот в трактир и зайдем. Деньги у меня есть,— сказал Павел.

Они стояли в воротах, продуваемых мокрым сквозняком осени. То и дело въезжали извозчики с поднятыми верхами. Братьев обдавало ветром и брызгами с извозчичьих колес.

— Деньги-то и у нас найдутся,— с готовностью похлопал себя по тощему карману Сеня; там звякнуло серебро.

Они поднялись с черного хода в трактир, второй этаж каменной секретовской громады. Кривая, скользкая лестница,

освещенная трепетным газовым языком, вывела их в коридор, а коридор мрачно повел в тусклую, длинную и шумливую коробку, сплошь заставленную столиками. Под низким потолком висели чад и гул. Все было занято. Зарядская голь перемежалась с синекафтанной массой извозчиков и черными чуйками мелких торгашей; это у них товару на пятак, а разговору на полтину. Несколько бродяг с сонным благодушием сидело тут же, склонив огромные, опухшие лица в густой чайный пар. Осовев от крепкого чая, как от вина, они блаженно молчали, всем телом ощущая домовитую теплоту «Венеции».

Торгаши кричали больше всех, но даже когда вспыхивало в чадной духоте короткое ругательство, снова срастался рассеченный гул и оставался ненарушим.

Лишь извозчики, блестя черными и рыжими, гладко прислепными головами, потребляли чайную благодать в особо сосредоточенном безмолвии; не узнать в них было уличных льстивых, насмешливых крикунов. Спины их были выпрямлены, линия затылка, не сломясь, переходила в линию спины: прямая исконного русского торгового достоинства. Разрумянившись, они сидели парами и тройками, прея в вате, как в бане, обжигающим чаем радуя разопревающую кость. Самые их румянцы были густы, как неспитой цветочный чай.

Дневной свет, разбавленный осенней пасмурью, слабо пробивался сюда сквозь смутную трактирную мглу. Пахло кислой помесью пережаренной селянки с крепким потом лошади, стоялой горечью кухонного чада и радужной сладостью размокающей карамели.

Сеня повел брата в темный уголок, где оставался незанятым столик под картиной, и постучал в стол. Половой, белый и проворный, как зимний ветерок, мигом подлетел к ним, раздуваясь широкими штанами, с целой башней чашек, блюдец и чайников.

— Чего-с?.. — тупо уставился он между двумя столиками.

— Да я не стучал,— рассудительно сказал соседний к Сене извозчик, разгрызая сахар и держа дымящееся блюдце в отставленной руке. — А уж если подошел, так нарежь, парень, колбаски покрупней да поджарь в меру. Горчички прихвати. А сверху поплюй этак перчиком.

— Нам чайку, яишенку тоже, на двоих... Да кстати ситничка,— заказал Сеня и улыбнулся Павлу. — Ты ко мне в гости пришел, я и угощаю!

— Гуди, гуди! — засмеялся Павел. — Небось разбогател, а? За тыщу-то перевалило?

— За десять! — подмигнул и Сеня, радуясь шутке брата, позволявшей ему и весь разговор вести в шутливом тоне.

— Братана-то не забудь, как разбогатеешь! — опять пошутил Павел.

— Да вот за прошлый месяц четыре рубля домой послал... А так — по трешнице. Ни месяца не пропустил,— хвастнул Сеня.

— Смотри, сопьется совсем отец-то! — опередил Павел Сенино хвастовство.

Павел, ворочая под столом хромую ногу, схлебывал с блюдца чай. Лица его не зарумянило чайное тепло. Сеня осматривался; впервые приходил он сюда как равноправный посетитель. Совсем установились сумерки, хотя стрелки круглых трактирных часов стояли только на четырех. У дальней стены, рядом со входом в бильярдную, возвышалась хозяйская стойка. Позади нее громоздился незастекленный шкаф, втесную набитый дешевым чайным прибором. На прилавке отцветали в стеклянных вазах дряблые бумажные цветы. С ними соперничали по цвету разложенные на прилавке ядовито-багровые колбасы, красные и желтые сыры, яркие леденцовые конфетки в стеклянных банках. Больше же всего было тут яиц,— может быть, тысяча,— сваренных вкрутую на дневной расход.

— Что же ты не спросишь, где я устроился... живу как? — спросил Павел, трогая вилкой шипящую яичницу.

— Что? Что ты говоришь? — откликнулся брат.

— На заводе, говорю, устроился,— рассказывал Павел. — Интересно там! Все пищит, скрипит, лезет... Там, брат, не то, что колбасу отпускать! Там глядеть да глядеть надо! Там при мне одного на вал намотало, весь потолок в крови был! — сказал он размякшим голосом, дрожащим от гордости своим заводом и всем, что в нем: кровь на потолке, гремящие и цепкие станки, бешено летящие приводы, разогретая сталь — все сосредоточившееся перед глазами в одном куске железа, которому сообщается жизнь. — Я вот, знаешь, очень полюбил смотреть, как железо точат. Знаешь, Сенька, оно иной раз так заскрипит, что зубам больно... Стою и смотрю, сперва по три часа простаивал так-то, не мог отойти. Вот, гляди, сам сделал!.. — И он, вытащив из кармана, протянул брату неболь-

шую шестеренку с матово блеставшими зубцами; Сеня повертел ее в руках и отдал Павлу без единого слова. — Книжки теперь читаю,— продолжал Павел полувраждебно. — Умные есть книжки, про людей... Ах, да много всего накопилось.

— Книжки — это хорошо,— равнодушно ответил Сеня, откидываясь головой к стене.

— Вначале трудно было, да и руки болели... — Павел, обиженный странным невниманием брата, стал рассказывать тише, словно повторял только для самого себя, а Сеня продолжал скользить вялым взглядом по трактирной зале.

Немного поодаль от стойки, чтоб не глушить хозяйских ушей, раздвинулся во весь простенок трактирный орган. Молчавший, поблескивал он в сумерках длинными архангельскими трубами, тонкими пастушьими свирелями, толстыми скоморошьими дудами. Вдруг в нем раздался вздох, потом скрип валов, потом пискнула, выскочив раньше времени, тонкая труба, и наконец, собравшись с силами, он запел что-то тягучее и несогласное, что поют на ярмарках слепцы. Орган был стар; когда струя воздуха попадала на сломанный лад, беспомощно всхлипывало пустое место и шипящий жалобный ветер пробегал по всем трубам враз... Так лилась жестяная песня, и вся «Венеция», словно околдованная, внимала ей. Половые, заложив ногу за ногу, привычно замерли у притолок... Пасмурное небо за окном совсем истощилось и не давало света. Был тот сумеречный час, когда сами вещи, странно преобразясь, излучают непонятное белесое мерцанье.

Как будто раздвигались стены и освобождали взгляду то, что было ими до сей поры заслонено. Великое пространство, голубое с серым, с холмами и пологими скатами, лежало теперь перед Сеней. И Сеня ушел в него, бродил по нему, огромному полю своих дум, покуда изливался песней орган.

— Очень долго к ночной смене привыкнуть не мог... Один раз и самого чуть машина не утащила! — слышит Сеня издалека. — Да ты что, спишь, что ли?

— Нет, нет... ты говори, я слушаю,— откликается Семен.

Голос Павла, упругий и настойчивый, теперь все ближе.

— А уж этого нельзя, Сеня, простить...

— Чего нельзя?.. О чем ты? — вникает Сеня.

— Да вот как я в кислоту кинулся... из-за хозяйского добра-то! — голос Павла глух и дрожит сильным чувством.

— Кому, кому? — недоумевает Сеня. — Кому нельзя простить?

— Быхалову и всем им... Да и себе тоже,— тихо говорит Павел. — Гляди вот! — И показывает Сене свои ладони, на которых по неотмываемой черноте бегут красные рубцы давних ожогов.

Глаза Павла темны, губы его редко и четко вздрагивают. Снова Сеня чувствует свинцовую гору, надвигающуюся на него,— волю Павла. Он поднимается с места с тягучим чувством тоски и неприязни.

— Я пойду колбаски подкуплю,— неискренне объявляет он.

— Да мне не хочется... Ты уж посиди со мной! — говорит Павел.

— Да я и сам поесть не прочь. Еще в полдень ведь обедали... — Сеня фальшиво подмигивает брату и пробирается между столиками к трактирной стойке.

Орган все пел, теперь — звуками трудными и громоздкими: будто по каменной основе вышивают чудесные розаны, и они живут, шевелятся, распускаются и цветут...

Сеня подошел к стойке, за которой обычно стоял сам Секретов, неподвижный и надутый, как литургисающий архиерей, и указал на розово-багровую снедь, скрученную в виде больших баранок.

— Эта вот, почем за фунт берете? — спросил он, глядя вниз и доставая из кармана деньги.

— Эта тридцать копеек... а эта вот тридцать пять,— пересиливая орган, сказал женский голос.

Цена была высока. Ту же колбасу Быхалов отдавал за четвертак, да еще с прибавкой горчицы для ослабления лишних запахов. Сеня поднял глаза, и готовое уже возражение замерло у него на губах. Чувство, близкое к восхищению, наполнило его до краев.

Наступили полные сумерки, и в сумерках цвели бумажные цветы на стойке. А за ними стояла та самая, крикунья из гераневого окна... Облегало ее простое платьице из коричневого кашемира; благодаря ему резче выделялась матовая бледность лица, обесцвеченного в ту минуту скукой. Только губы, цвета яркого бумажного цветка, змеились лукавым смешком.

С глазами, раскрытыми на улыбающуюся трактирщицу, Сеня приблизился вплотную, забывая и брата, и первоначальную цель прихода. Полтинка, приготовленная в ладони, скатилась на пол, но он не видел.

— Это вы!.. — сказал он почти с восторгом.

— Как будто я... да. — Она его узнала, иначе не смеялась бы: ей был приятен Сенин полуиспуг.

— Я не знал тогда, что это ваш кот,— виновато сказал он и опять опустил глаза. — Я думал, вы за голубей боялись...

— Эй, малый! — смешливо окликнула соседняя чуйка. — Что же ты деньгами швыряешься? Как полтинку ни сей, рубля не вырастет.

Сеня нагнулся и поднял монету. В эту минуту орган хрустнул последней нотой и остановился. И вновь «Венецию» наполнил обычный трактирный гам и плеск.

— Не серчайте на меня... Ведь на коте отметки-то не было! — проговорил он с опущенной головой.

— Чего-с? — переспросил мужской голос.

— Фунтик мне,— не соображая, сказал Сеня.

— Чего фунтик? Гирьку, что ли, в фунтик?

За стойкой, вместо Насти, теперь стоял сам Секретов, насмешливо постукивая по прилавку ножом.

— Нет, мне вот этого,— сказал Сеня, невпопад указывая на яйца.

— Яйца фунтами не продаем. Яйца мы десятками,— сухо поправил Секретов.

— Мне десяток, да,— сказал Сеня, ощущая себя так, словно катился под откос.

— Семнадцать копеек... Товар замечательный. Извольте сдачу...

Сеня торопливыми глазами искал ту, из гераневого; ее уже не было. Казалось, весь трактир смотрит только на него и, изнывая от смеха, ждет, что еще выкинет этот потешный малый, набивающий карманы крутыми яйцами.

Когда он добрался до своего столика, брата уже не было. Он не дождался и ушел.

— Эй, земляк! — крикнул Сеня, не особенно огорчаясь уходом Павла. — А ну, получи с меня...

— Заплачено за этот стол,— мельком бросил половой, снова проносясь снежноподобным вихрем.

...Когда Сеня выходил на черную лестницу, по которой и пришел, «Венеция» зажигала огни; здесь и там вспыхивали газовые рожки. Позади снова загрохотал орган, но уже не жалобно, а вприпляс. Похоже было, будто развеселился на Сеню старик и пошел вкруговую, не стыдясь ни хромоты своей, ни обвисшего плеча.

XI. СПЕРВА СМЕЕТСЯ НАСТЯ, А ПОТОМ СЕНЯ

Словно воды под ударом ветра, разволновалась Сенина душа. Неумолкающие круги, разбуженные первым восторгом, забегали по ее поверхности. Предчувствием любви заиграло Сенино воображение.

Теперь вечерами уже не к Катушину бежал Сеня. Едва запрут — закрытие лавки совпадало теперь как раз с наступлением темноты,— выбегал на осеннюю улицу, чтоб брести, куда поведут глаза, в надежде когда-нибудь повстречать свою Настюшу. Странно милы были ему головокружительное волнение мыслей о ней и ядовитая сладость бесцельных блужданий.

В том году как раз прогремели первые военные вести. Те, которым, как братьям, одну бы песню петь, стояли в больших полях друг против друга, засыпали чужую сторону железом, душили смрадом и уже много народу побили. Брали тогда и брили молоденьких, везли в самые погиблые места, где и земля-то сама, как воск, таяла и гнила стыдом. Тужились стороны, тужилось и Зарядье, посылая молодятину в пороховой чад...

Растеряв все свои ярославские румянцы, унылый и пьяный, выехал на фронт Иван Карасьев. Замело общей волной и Егора Брыкина, не успевшего и наследника по себе оставить. Выехал туда же и Петр Быхалов с тайными намерениями. Он приходил прощаться к отцу и поцеловал его в жесткую щеку, а отец сказал: «Очистись, Петр...» Тихо стало в Зарядье. В безмолвие, нарушаемое только звоном праздничных колоколов да похрустываньем жирных пирогов с вязигой, не доходили громы с далеких полей. Уже и до Сениной очереди оставался только год, а он и не думал.

...Была суббота. В зарядскую низинку моросило. Уличный мрак не рассеивался мутным светом убогих зарядских фонарей. Все дремало в предпраздничном отдохновении, когда Сеня вышел из ворот и привычно взглянул в окно противоположного дома, в гераневое. Огня в нем не было, и только Сенин глаз умел найти его в ряду других, таких же.

На тумбе сидел бездомный, с мокрой шерстью, кот. Сеня присвистнул на него, надвинул козырек на самые глаза и пошел вдоль переулка. Пальтецо распахнулось, тонкий сатин рубашки не защищал тела от пронизывающих веяний влаги, но это было приятно. Он уже миновал два переулка и проходил мимо бедноватой Зачатьевской церквушки, загнанной в самый

угол Китайгородской стены. Где-то в колоколах свистела непогода. Всенощная отходила,— уже спускались с паперти невнятные подобия людей; их тотчас же поглощала ночная мгла. Внутренность церкви была трепетно и бедно освещена.

Сеня вошел.

Пели уже «Славу в вышних». Наступил тот промежуток в службе, когда в страхе потемок повергается на землю тело человеческой души. Смутное освещение немногих свечей не выпячивало на глаза назойливой церковной позолоты. На амвоне стоял дьякон, склоняя голову вниз, как во сне. Народу было мало. Вправо от себя, в темном углу, увидел Сеня Настю; он уже знал ее по имени. Она стояла, опустив голову, но вдруг обернулась, высоко подняв удивленные брови, и порозовела. По каким-то неуловимым признакам, может быть — биенью сердца, она догадалась о его присутствии.

Шло к концу. Уже давался отпуст, когда Сеня вышел на паперть. Там бежал дощатый заборчик, чуть не заваливаясь на тротуар. Прислонясь к нему, Сеня ждал. Проходившие мимо не замечали его: ближние фонари не горели. Сеня слышал разговоры прихожан.

Двое, борода и без бороды:

— Будто отца Василья-то к митре представили.

— Это что ж, дяденька, вроде как бы «Георгий» у солдат?..

Несколько минут совсем пустых, только ветер; потом старухи:

— Жена и напиши ему: куда мне безрукий? Я себе и с руками найду...

— Скажи-и пожалуйста!..

Наконец знакомые голоса:

— Нечистый-то ему и приказывает: ложись, говорит, спи! А Сергей-то Парамоныч покрестился, глянул, а перед ним пролубь... Он и отвечает: дак ведь это пролубь, говорит...

— А тот что?

— А бес-то и повянул весь.

Сеня насторожился:

— ...Так ведь вы, Матрена Симанна, не видели!..

Две женщины, старая и молодая, подходили. Несмотря на мрак, Сеня сразу узнал свою. Настя шла дальнею от Сени, справа. С забившимся сердцем Сеня выждал, пока они приблизились совсем. Тогда он выступил из своего укрытия и пошел рядом. Старая — Матрена Симанна — посторонилась бы-

ло, давая пройти, но Сеня не собирался уходить, шел вместе, взволнованный и смущенный.

— Проходи, проходи, милый,— затрубила баском Матрена Симанна, неспокойно приглядываясь к подозрительному молодцу. — Я вот людей кликну на тебя! — Она даже оглянулась, но никого не было кругом; из церкви Секретовы вышли последними.

Место здесь самое глухое — кондитерский оптовый склад, ящичное заведение, парикмахерская с подобающей вывеской: человек остригает голову человеку же огромными ножницами... Все это теперь закрыто на замок и отгорожено толстой стеною сна.

— Настя!.. — тихо позвал Сеня; многое хотел сказать, но все мысли, рожденные радостью этой встречи, уже слились в одном слове, и слово это было произнесено. Настя молчала, может быть, смеясь.

— Да отстанешь ли ты, мошенник, или нет?.. — загорячилась старая, пытаясь втолкнуться клином среди молодых. — Ишь какой напористый,— пыхтела она, отпихивая Сеню, отмахивая его, словно чурала, длиннющим рукавом салопа.

Сеня сперва как будто не замечал ее, потом обронил сердито:

— Ты погодь, старушка, не лезь. Что ты тут под ногами шариком вертишься?

— В самом деле, вы ступайте, Матрена Симанна, позади. Троим тут очень трудно идти,— сказала Настя и впервые близко взглянула на Сеню. — Может, у него дело ко мне есть...

— Какое же, матушка, дело у ночного мошенника? — пуще затарахтела старуха. — Может, он убить нас с тобой хочет!..

— А ты веди себя кротко, не шуми, так и не убьет,— приказала Настя. — Я тебе за это... ну, одним словом, про скляницы твои рассказывать папане не буду!

Ей было и радостно, и чуть-чуть жутко; то и дело вынимала платочек из муфты, маленькой, как черный котенок, и терла зудевшие губы. Сеня шел рядом с ней, плечи их почти соприкасались.

— Так что же вам нужно от меня? — с опущенной головой начала Настя.

— Мне ничего от вас не нужно,— откровенно сознался он и даже приотстал на полшага.

Настя подождала его; игра казалась ей забавной.

— А... вот как! — и закусила губку. — Может, вы к папане в половые хотите поступить?

— Не-ет,— отвечал Сеня, готовый в любую подворотню вскочить от стыда за внезапную немоту свою.

Они уже прошли весь переулок, а еще ничего не было сказано из того, что думали они оба.

— Как вас зовут? — решился он наконец.

— Нас — Аниса Липатовна! — кинула Настя и с неожиданным раздражением обернулась к старухе: — Вы идите, тетя, домой. Скажите там, что к иконам осталась прикладываться!.. Ну, а вас как?

— Нас — Парфением,— резко сказал Сеня, удивляясь, кто дал ей эту власть — вести его за собой, как на веревочке.

— Что же вы замолкли совсем? Приятное что-нибудь скажите, раз уж на улице пристали... или какие у вас мысли про меня? — И, странно, это подергиванье веревочки доставляло Сене острое и неприятное удовольствие.

— Нет у меня никаких мыслей,— угрюмясь, отвечал Сеня.

— А зачем же вам голова дадена?

— Голова для понимания дадена,— из последних сил оборонялся он.

— Вот и слава богу... А я думала, орехи колоть.

Они остановились у ворот Настина дома. Матрена Симанна ушла вперед.

— Ну, спасибо вам за интересный разговор,— сказала Настя, готовясь отворить деревянную глухую калитку.

— Пожалуйста... ничего, очень рад,— с отчаяньем сказал Сеня и снял картуз; ярость раздразненного тела боролась с непонятной робостью.

— Теперь марш спать! — крикнула Настя. — Больше не подходите. Адью!.. — Она прихлопнула за собой калитку и исчезла.

Он все стоял, озадаченный и обозленный происшедшим. Непонятное слово хлестнуло его, как кнут. Мускулы лица перебегали жалкой улыбкой. Вдруг он срыву нахлобучил картуз и ударом ноги распахнул тяжелую калитку. Настя медленно уходила в воротах,— так медленно, как будто ждала чего-то,— не оглядываясь. Он догнал ее почти при самом выходе и больно, по-хозяйски, заломил ей голову назад. В следующую минуту не было ни холодных Настиных губ, ни растрескавшихся губ Сени: все слилось в один темный цветок.

— Пусти меня... — запросила Настя, обессиленная борь-

бой, прижатая спиной к стене. Голос ее был низок и томителен.

Сенина рука слабнула. Ярость и страсть уступали место нежности; Настя была гибка и хитра, она воспользовалась этим. Ловко извернувшись, она уже стояла в трех шагах от него, прямая и насмешливая, держа в руке сорванный с Сени картуз.

— Лови!.. — крикнула она и швырнула картуз вдоль ворот.

Тот, вертясь, описал дугу и звучно шлепнулся в лужу; сощуренными глазами Сеня проследил его полет.

— Ничего-с, мы другой купим. На картуз у нас найдутся! — сказал он осипшим голосом и обернулся.

Насти уже не было. Жалкий, как озябшая птица, мерцал посаженный в закопченное стекло огонек. Сеня вышел из ворот с пылающими щеками, остановился смахнуть грязь с картуза и вдруг засмеялся. Ночное происшествие представилось ему совсем по-другому, чем за несколько минут перед тем.

...Настю, пришедшую домой, встретил отец.

— Богомолкой стала? — подозрительно заметил он. — Старуха-то уж дома!

— Ботинок развязался в воротах,— сказала Настя.

— Тут к тебе подруга приходила. Приезжая. Я оставлял ждать, не осталась. Минуты три назад вышла.

— Какая она? — встрепенулась Настя. — Не Катя ли?

— Катя не Катя, а очень такая... играет,— неодобрительно заметил Секретов.

«Наверно, видела все,— думала Настя. — Она могла стоять там, за выступом стены, возле кожевенного склада... Бежать догонять, чтоб не проболталась?»

Она прошла к себе, поправила волосы перед зеркалом и тут заметила, каким неугасимым румянцем горело ее лицо. Оставшись наедине с собою, она подошла к окну и поочередно прижимала лоб и щеки к холодному потному стеклу.

XII. КАТЯ

Настя не такого к себе в сердце ждала и даже удивилась Сене, когда вошел он. Но, значит, его и звало к себе в полусне цветенья девическое сердце, иначе не боялась бы, что с крыши упадет... Впрочем, все это было так неточно и неоконча-

тельно, что Настя промолчала на Катин вопрос о сердечных привязанностях.

Катя была единственной дочкой у зарядского торговца разным железным хламом; ей было двадцать три. Ясноглазую, пышноволосую и всю какую-то замедленную, Матрена Симанна прозвала ее клецкой. После жмакинского происшествия Катя уехала к тетке на юг, но и там шалила, приманивала провинциальных женихов и вдруг на званом обеде отшлепала по щекам теткина мужа, который, несмотря на почтенность чина и возраста, сохранял излишнюю живость воображения. И вот в осеннее утро снова прикатила к отцу.

Она пришла к Насте на другой день после истории в воротах, вся шуршащая, дышащая незнакомыми Насте запретными духами, покорительница. Настя, выбежавшая отпереть, даже не узнала ее. Катя стояла на пороге, щурилась и улыбалась.

— Ну да, я,— утвердительно кивнула она. — Здравствуй, крошка! — и протянула руку в тугой перчатке.

Настя так и прыгнула на шею к подруге, но радость ее быстро поблекла.

— Ну, полно, хватит... — смеялась Катя, легонько отпихивая Настю от себя. — Разве можно так! Всю пудру смахнула... Ну, веди меня к себе.

— Вот сюда, за мной. Тут сундук стоит, я всегда коленки об него расшибаю... не зацепись!

Настя провела гостью через темный, с закоулочками, коридорчик и ввела к себе. Керосиновая лампа в фарфоровой подставке горела на комоде, бросая скудный свет из-под бумажного кружка. Катя обвела комнату любопытным взглядом и улыбнулась: в самых неприметных пустячках и подробностях светилась строгая, нетронутая чистота. Это впечатление усиливали цветы в банках, обернутых цветной бумагой, белые глянцевые обои, туго накрахмаленные занавески.

— Я очень рада, что застала тебя. — Катя сняла шляпку и пальто сбросила на спинку стула. — Тут можно?

— Ты садись, садись... Я повешу все! — хлопотала Настя.

— Не торопи, дай оглядеться. — В голосе Кати звучало сознание своего превосходства; она прошлась по комнате, трогая каждую Настину мелочь: повернула ключик в шкатулке, мельком заглянула в книжку на кровати... — А-а, грибок! — сказала она с легким смешком и повертела в руках деревянную бесполезную вещицу.

— Он открывается, я туда пуговицы кладу... — торопливо объяснила Настя, боясь, что подруга осудит ее именно за этот грибок; проходя мимо угла, Настя мимоходом затушила горевшую лампадку.

— Ты прости, что я не писала тебе. Все как-то некогда было. Ах, вот, кстати, и зеркало у тебя есть! — открыла она и пошла поправить волосы; они были, как и вся она, шуршащие и ленивые. — Вот теперь я сяду...

Шумя юбками, она опустилась на Настину кровать, и тотчас же гримаска сдержанного изумления обежала ее грешное лицо.

— Однако! — заметила она. — Ты что, в монашенки готовишься?

— Я люблю спать на твердом, привыкла... — засмеялась Настя, садясь на стул против подруги и пристально всматриваясь в ее лицо.

— Что так глядишь? — улыбнулась Катя.

— Ты красивая стала,— ответила Настя робко.

— Да? — и еще раз окинула себя быстрым взглядом. — Да и ты... выросла тоже. Только уж очень тонкая какая-то... — Катя искала, что еще можно похвалить в подруге, но мальчишеский задор Настина лица ей не нравился. — Нет, а ты, вообще говоря, хорошенькая! — с внезапным хохотом открыла она. — Ты не красней... право же, им такие нравятся! Только вот тут у тебя мало... — мельком указала она на грудь. — Знаешь, ты на Дианочку похожа. У греков такая была, помнишь?.. Ты ешь больше!

— Не говори мне так,— тихо попросила Настя. — Мне стыдно от твоих слов...

— А ты не стыдись. Папенька замуж-то еще не выдает?

— Я сама себе найду,— загоревшись, смутилась Настя.

— А может, уж и нашла?.. Какой-нибудь такой, а? — и подмигнула.

— Катя! — попросила Настя, присаживаясь рядом. — Закрой глаза... я спросить хочу. Ну, закрой...

— Закрыла... Ну?

— Ты вчера видела что-нибудь или нет?

— Нет, не видела. Я мимо прошла... Это в воротах-то? Нет, не видела.

Обе хохотали, белая комнатка повеселела, лампа стала гореть как-то ярче.

— А у тебя тут славно,— все еще смеясь, сказала Катя. — Ты в зеркало-то часто глядишься? Нет, тебе непременно надо

больше есть. Глупая, чем ты ребенка-то кормить станешь? Ну, не буду, не буду! — Катя притворно испугалась помрачневшего Настина взгляда.

Вошла Матрена Симанна.

— Кушать, Настенька, иди,— сказала она. — Папаня сердятся.

— Я потом, не хочу.

Старуха постояла еще с полминуты, потом резко вышла, хлопнув дверью.

— Матрена Симанна! — крикнула Настя вдогонку.— Вы чего хлопаете... вон захотелось?

Шаркающие, нарочные шаги в коридоре разом стихли.

— Едят целый день, ровно в трубу валят,— сумрачно обронила Настя.

— Если ты и с мужчинами так, это хорошо! — деловито вставила Катя и поиграла кружевной оборкой рукава.

Торопясь, словно за тем и пришла, она стала рассказывать свои приключения последних лет; Настя слушала ее, вся пылая. Но, такой хвастливый вначале, все грустней становился Катин рассказ, и вдруг две продольные полоски обозначились на ее щедро запудренных щеках.

— Чего ж ты плачешь, глупая? — бросилась к ней Настя. — Значит, и у тебя жених есть!

— Он уже женился,— и поднялась. — Ну, прощай... у меня тоже папаша строгий.

— Ведь еще не поздно,— пыталась задержать ее Настя, чувствуя себя старшей в эту минуту.

— Нет,— и высвободила руку. — Проводи меня до дверей.

...Когда Настя разделась и юркнула в жесткую, холодную постель, была полная ночь. Она полежала минут десять, укрывшись с головой и старательно закрывая глаза; сон не приходил. Тогда она просто улеглась на спину, покорная мыслям, сумбурно скользившим в голове.

Вдруг она вскочила с кровати, прошла босыми ногами к комоду, нашарила спички и зажгла свечу. Из зеркала глянула на нее тонкая, с правильным мальчишеским лицом девушка, со свечой в одной руке, другой придерживающая сорочку, чтобы не соскользнула на пол. Обе — и та, которая в зеркале, и та, которая перед ним,— боязливо взглянули в глаза друг другу.

Девушка в зеркале была спокойна, стройна и строга в своей наготе.

Настя улыбнулась ей, та ответила тем же, но вся залилась

краской и состроила презрительную гримаску. Настя повторила... С беззвучным смехом Настя подалась губами к зеркалу. Та угадала Настин порыв и тоже протянула Насте свои губы. Настя еще не хотела, но та уже поцеловала ее.

Вспугнутая соображением, что из противоположного дома могут подглядеть ее тайну, она задула свечу и отскочила от окна. С минуту она стояла в темноте, прислушиваясь к шорохам позднего часа. Крупный дождь колотился в окно, и звенело в ушах; больше звуков не было.

Она засмеялась, как в детстве лихой проделке. Зябко ежась, она влезла под одеяло, и тотчас же захлестнуло ее сном. Засыпая, все еще смеялась: сокровеннее всех тайн небесных — нетронутой девушки ночной смех.

XIII. ДУДИН КРИЧИТ

Дымное, неспокойное небо, славшее неслышный дождь, ныне бесстрастно и ровно: поздняя осень.

В низине Зарядье стоит, и со всех окружающих высот бежит сюда жидкая осенняя грязь. Воздух дрябнет, известка размокает, сизыми подтеками украшается желто-розовый дом. И даже странно, как не потонул здесь городовик Басов за те сорок лет, которые простоял он на страже зарядской тишины.

Зимним уныньем веет отовсюду, но не нарушен им бег махового зарядского колеса. С утра Ванька открывает лавку, а Семен с подоткнутым фартуком отправляется за свою конторку. Зосима Васильича тронула проседь за последний год, и сам он пополнел: так оплывает догорающая свеча. Сквозь запотевшие окна видно Сене: пирожник Никита Баринов проплыл мимо с двухпудовым лотком на голове — с пирогами на потребу торгового верха. А Чигурин, человек незначительный в сравнении с Бариновым, потчует со своего угла прохожих круглым луковым блинком: сыты будут прохожие — сыта будет и жена его, Чигуриха, и семеро голодных чигурят.

...Снаружи — все по-прежнему. Все тот же грош маячит смутной целью, но приступило иное время: в погоне за грошом на бег и скок променяло Зарядье свой прежний степенный шаг. Тревожно и шатко стало,— кит, на котором стояло зарядское благополучие, закачался... Бровкин, быхаловский племянник, приехал с войны; бросилась к нему на шею жена, а целоваться-то и нечем: губы Василью Андреичу отстрелило немецким

осколком вместе с зубами и челюстью. Воротился, полные сроки родине отслужа, Серега Хренов, зарядский хреновщик; как и прежде,— цельный весь, больших размеров человек, только трястись стал.

...Вдруг городовик Басов помер. Еще вчера покрикивал с поста, а нынче другой, высокий и егозливый, на его место встал.

Всякая радость порохом стала отдавать, а как винишко отменили, и вовсе нечем стало скорбящему человеку душу от горя омыть.

К Быхалову в последний день осени, в последний час дня, забежал Дудин Ермолай за керосином. Следа не оставалось в скорняке от прежнего пьянства, зато весь каким-то черным стал: и пиджачок черненький, и сапожки черные, и в лице какой-то копотный налет. Одна голова торчала расщетинившимся седым ежом.

Даже посмеялся Быхалов:

— Чтой-то принарядился как? Не на войну ли собрался? Там и таким скоро рады будут!

— А и что ж! — заклохтал злым сиплым смехом Дудин.— Не все ли равно, в кого палять! В меня и стрелять-то хорошо. Как выстрельнешь, так и помру... и починки не потребую. Я сухой, без вони. Вот ты если, дядя Зосим, помрешь, так в один час душком повянешь!

— Ну-ну, я твоему пустословию не слушатель! — сердился Быхалов. — Ты, Дудин, известный шипун! Получай товар и отчаливай.

— Погоди, и вовсе отчалю... дай посмотреть, чем дело кончится. Эва, всё льют народную кровцу себе в наживу. Теперь уж не уймутся, пока не выжмут нашего брата досуха.

Быхалов тревожно машет на него руками, поглядывая вокруг, нет ли в лавке людей опасливых, а народ слушает, посмеивается, задорит:

— Кто ж это тебя прижимает-то, Дудин?

— Кто?.. Различные должностные лица.

— Ой, заберут тебя, Ермолашка!

— А и заберут, что со мной поделают? Ежли на колбасу пустить, так у скорняка и мясо-то с тухлиной. Я ни червя, ни царя, ни мухи, ничего не боюсь. А тюрьмы Дудин тоже не страшится... там и получше меня люди живут. Вот ты сынка своего оттолкнул, хозяин, а я преклоняюсь. Мне бы с ним за решеточкой-то посидеть, и я б ума набрался. О, кабы ум-то

Дудину, — я б весь мир наискосок поставил. Ка-ак дернул бы за вожжу — стой, становись по-моему!.. — и, скомкав рубаху на груди, дергает с маху за вожжу воображаемую.

Его долго и надрывно треплет кашель; когда перестает, лицо у него измученное, детское, позывающее на жалость. Он рывком хватает керосин и бежит домой, чуть не опрокинув на пороге молоденького офицерика, входящего в лавку.

— Господин Быхалов... вы? — вежливо и сразу спросил тот, едва вошел.

— Господин не я. А Быхалов, Зосим Васильич, действительно мое имя,— вразумительно поправляет бакалейщик.

— Я от сына к вам... — И прапорщик подтянулся, точно рапортовал. — У вас есть сын, Петр Зосимыч?

— Не ранен ли? — И лоб Зосима Васильича пробороздился морщинками.

— Как вам сказать,— замялся прапорщик. — Я бы попросил дозволения наедине с вами...

— Лавку запирать,— приказывает Быхалов. — А вас попрошу на квартиру ко мне. В скорлупе живем, прошу прощения.

Войдя в задние комнаты, Быхалов стал медленно снимать фартук и замасленную поддевку; потом придвинул гостю табуретку, предварительно обмахнув ее полотенцем.

— Грязь у нас везде... сало,— пояснил он, усаживаясь напротив. — Ну, какие же вы мне новости привезли?

Сумерки сгустились, оба сидели в потемках. Вдруг прапорщик понукающе подергал себя за наплечный ремень.

— Видите, дело совсем просто. Две недели назад...

— Постой, постой, чтоб не забыть! — перебил Зосим Васильич и, не вставая со стула, достал из-под кровати сверток. — Петр тут в письме шахматную игру просил прислать да бельеца пары две... Это вы и есть Иевлев? Он мне писал, что Иевлев в отпуск поедет.

— Никак нет, моя фамилия Немолякин,— торопливо поправил прапорщик. — Я с Иевлевым незнаком... и вообще боюсь, что шахматы им больше не потребуются.

— Иевлев-то, значит, не приедет?— оттягивая неприятные вести, прервал Быхалов. — А может, чайку со мной попьете? Я прикажу заварить...

— Нет, нет... — испугался гость, аккуратно выставляя ладони против Быхалова,— я спешу... Видите, предполагалась операция, военная операция, вы понимаете? Мы с вольноопр-

ределяющимся, то есть с сыном вашим, вышли вдвоем в разведку. Место очень, знаете, паршивое; прозванье Чертово поле... солдаты так прозвали. Ползем на брюхе... — Прапорщик потеребил огненный темляк шашки и неуверенно откашлянулся в папаху. — Налезаем — проволока, в три кола! Вот я вам сейчас чертежик нарисую, как дело было... Вот тут, извольте видеть, холмик небольшой, а тут — фугасное поле. Здесь — пулеметное гнездо, понятно? — сыпал прапорщик, указывая на неразборчивый мохнатый клубок. — Вот тут мы и шли... то есть ползли.

— Погоди, я газ зажгу. Ничего не видно,— тихо остановил Быхалов.

— Не зажигайте... прошу вас! — встрепенулся прапорщик и мгновенно спрятал книжку. — К тому же мне и бежать нужно!..

— А ты не спеши!.. — придержал его Быхалов. — У меня сыновей не каждый день убивают. Уж потешь старика лишней минуткой!

— Ничуть не бывало, ничуть не бывало! Я когда уезжал, Петр Зосимыч в полном покуда здоровье был,— сказал прапорщик, и вдруг лицо его приняло выражение отчаянной решимости. — Нет, не могу, виноват!

— Чего не можешь-то, молодой ты человек? Ты все в жизни моги, раз в живых остался.

— Врать не могу,— мотая головой, простонал прапорщик. — Сына вашего все мы очень ценили за прямой, мягкий характер, а нижние чины души не чаяли... Вот и наказали перед отъездом, чтоб уведомил вас с возможной осторожностью!.. Петр Зосимыч арестован в конце прошлого месяца: против войны солдатам высказывался. Но вы не расстраивайтесь пока: дело получилось двойное, и есть надежда, что пойдет оно в окружной, а не в военно-полевой суд... — и, вымахнув все начистоту, затеребил кончик наплечного ремня.

— Та-ак,— покачивался на табуретке Быхалов. — Вот и мягок, а упорен был: дотянулся до горькой чаши своей. Что ж, беги и ты... небось повеселиться охота в отпуску-то. Смотри, не бунтуй... скушно поди на веревке-то висеть!

— Так что прошу прощения за печальное известие,— уже оправившись, держа папаху на отлете, поднялся прапорщик.

— Да, уж лучше бы ты мне дом поджег... Кому же мне теперь посылочку-то приспособить? Себе возьми, за услугу...

Бери, неловко отказываться. Без креста, без пенья закопают, пусть хоть добрым словцом люди помянут...

Он пошел проводить гостя, цеплявшегося шашкой за ящики, кадушки и чаны, потом долго стоял у проплесневелой стены, сцарапывая с нее бугорки масляной краски. Казалось, жизнь свою тратил скупее всех, по копеечке, а на поверку выходило, что ничего на нее не было куплено.

— ...Эх, Петруша, Петруша! — вслух сказал он, и лицо его сморщилось.

XIV. ОДИН ВЕЧЕР У КАТИ

Они стали встречаться у Кати, вечерами, по истечении торгового дня.

Настя прибегала, закутанная в платок потемней, с черного хода, всегда раньше Сени; забивалась в угол и ждала. Неясные предчувствия грозных событий, копившиеся в воздухе страны, заставляли ее заранее искать опоры, а никого не было ближе Сени, сильного, дерзкого, готового постоять за себя. Встречи эти, довольно редкие вначале, происходили в присутствии Кати; чтоб не стеснять подруги, та писала письма или бренчала на гитаре, изредка справляясь о Настином самочувствии.

— Я понимаю, как трудно сейчас с женихами, но ты напрасно так волнуешься. Им и виду нельзя показывать, а то зазнаются... их вот здесь надо держать, —и казала сжатый кулачок. — Однако что ты нашла в нем, в этом кудряше из бакалейной?

— Не знаю... — шептала Настя, кляня себя за малодушье.

— Имей в виду, я могу и уйти... будто за орехами. Только мигни...

— О нет! — Ее глаза ширились испугом, а руки тискали вялые Катины пальцы.

— Я к тому, Дианочка, что ведь год его подходит... могут и в солдаты забрать!

— Молчи...

Сене тоже бывало не по себе в этой душной комнатке с порочными запахами, обставленной с показной купеческой роскошью, среди множества бесполезных и хрупких пустячков, единственный смысл которых, казалось, заключался в том, чтобы связать естественную широту человеческих дви-

жений. Он становился застенчивым, злился, однажды пришел с гармоньей, рассчитывая этим заменить невязавшийся разговор; Катя сказала ему тогда довольно резко, что это не деревенские посиделки, и в городе надлежит вести себя пообходительней.

Иногда, в стремлении скинуть с себя Настин плен, он хвастался своими надеждами на будущее по окончании войны: хозяин все кряхтит, уж монахов зовет на задушевные беседишки... и в конце концов совсем не известно, Карасьеву или ему, Сене, стать наследником быхаловской фирмы. Он говорил отрывисто, полунамеком на счастье той девушки, которая согласится разделить его мечту; краска заливала Настины щеки, и сама Катя украдкой любовалась им в такие минуты.

В другие вечера он обращался к памяткам детства, где таились корни его презренья к городскому укладу; так рассказал он с маху одно самое давнее событие, какое помнил, и смысл его повести был таков:

ПРО 1905 ГОД

...Бунт был. И приехали с вечера из Попузина сорок три мужика с подводами остатнее в уезде помещичье именье дожигать. Ночевало из них шестеро в Савельевом дому́, главари. Ночь напролет, тверезые и темные, скупыми словами перекидывались бунтари. Боролись в них страх и ненависть. Речи их были скользки.

— На что ему земля! — сказал один, с грустными глазами. — Он небось и сам-то не знает, куда ее, землю-то, потреблять. Лепешки из ей месят, либо во́ щи кладут...

Другой отозвался, гля́дя в пол:

— Конешное дело, друзья мои! Мы народ сми́рный, мы на точке закона стоим. Нас не обижай, мы и помалкиваем. Каб, скажем, отдали нам земельку-то всю чохом, в полный наш обиход, мы б и молчок. А ему бы дом остался. Пускай его на поправку к нам ездит, мы не противимся.

Третий сверкал светлыми детскими глазами:

— Во-во! Воздухи у нас в самый раз хорошие! Дыши хочь все лето, и платы никакой не возьмем!..

Потом заснули ребятки на полатях, Пашка и Сенька, не

слыхали продолжения разговора. Много ли их сна было — не поняли. Проснулись на исходе ночи. В тишине, одетые и готовые, сидели бунтари.

Крайний бородач царапал ногтем стол. Сосед сказал:

— Хомка... не корябай.

И опять сидели. Потом длинный худой мужик, попузинец, встал и сказал тихо, но пронзительно:

— ...Что ж, мужики? Самое время!

На ходу затягивая кушаки, на глаза надвигая шапки, мужики выходили из избы. Савелий, отец, с ворчаньем шарил под лавкой топор и мешок: топор — рубить, мешок — нести... Пашка вскочил и стал запихивать в валенок хромую ногу. Сеню от возбуждения озноб забил,— так бывает на пасху, когда среди ночи встрепенутся колокола.

С буйным, веселым треском горел на горе свинулинский дом. Дыма и не было совсем; гулко лопались бревна, оттуда выскакивал прятавшийся в них красный огонь. Небо было ровно с грязнотцой, просвечивало серое солнце; воздух был какой-то настороженный. Тонким слоем снега белела ноябрьская земля.

На полпути к свинулинской усадьбе холм торчал. На нем, вокруг размашистой голой березы, замерло в пугливом любопытстве деревенское ребятье. Было ребяткам тревожно и радостно.

Вдруг запрыгал Васька Рублев, белый мальчонок, в отцовских стоптанных сапогах, забил в ладоши и закричал. Из ворот усадьбы, из самого огня, огромный и рыжий, вырвался племенной свинулинский бык. Ослепленно поводя рогами, он остановился и затрубил, жалуясь и грозя. Но в бок ему ударилась головня, метко пущенная со стороны. Тогда, облегченный болью и яростью, к запруде, где стояла когда-то сигнибедовская маслобойка, помчал он свое опаленное тело. Там, в последний раз пронзив рогами невидимого врага, он взревел, обрываясь в воду. Бурное, величественное мычанье донеслось до оцепенелых ребят; потом бучило поглотило быка.

...А через неделю наехали из города пятьдесят чужеспинников, с пиками и ружьями, под синими околышами, откормленные кони их беспрерывно ржали. При полном безмолвии взяли пятерых и отвезли судить, скрученных. А Евграфу Петровичу Подпрятову, да Савелью Рахлееву, да Афанасу Чигунову, как имевшим военные отличия, дали только по горячей сотенке розог, чтобы памятовали накрепко незыблемость поме-

щичьего добра. Молча, с опущенными головами, стояли вокруг согнанные мужики. Голосить по мужьям боялись бабы, но чудился в самом ноябрьском ветре глухой бабий вой.

...И на всю жизнь запомнили ребятки, как натягивал и застегивал перелатанные портки на всем миру Савелий, плача от злобы, боли и стыда. Тянуло с поля мокрым снежком, а мать, босая, как была, выпрямленная и страшная, всю порку простояла на снегу... Кому ж тогда, как не городу, приходящему ночной татью, приносящему закон и кнут, грозил в потемках полатей Сеня негрозным отроческим кулачком?..

— С того-то отец мой Савелий и нищать стал, и к вину ударился. — Так заключил Сеня свой рассказ и, стесняясь, круто опустил голову. — Ничего, сочтемся!

— Я таких вот люблю, — вслух сказала Катя подруге. — Лихого ты себе выбрала, смотри — с лихим горя изведать!

— Любить не люби, а почаще взглядывай,— возбужденно засмеялся Сеня, заметив пристальный, оценивающий Катин взгляд.

— Зачем ты ногти грызешь? — резко спросила Настя у Кати.

— А тебе какое дело? — насмешливо возразила та.

— Есть, значит, дело. Ты вот... — И, склонясь к Катину уху, Настя укоризненно зашептала что-то.

— А как я на него глядела... да что с тобой? — громко обиделась Катя.

— Ну, не надо вслух! — Настя пугливо оглянулась.

— Да нет, я не понимаю... Украла я его, что ли, у тебя?

— Пойдем, Настя, я тебя провожу,— сказал Сеня и встал.

Они вышли, и оба торопились.

— Мне гадко у нее стало, она нехорошая... — говорила Настя уже на лестнице. — И мне не нравится, как ты сегодня говорил. Словно в театре как-то. За что ты городских ненавидишь? Ведь ты и сам городской! В городе и останешься...

— Почем знать? Ноне времена не такие. День против дня выступает, — неопределенно отвечал Сеня. — А вот насчет театра... это уж не театр, если кровь из отца течет. Тут уж, Настюша, драка начинается!

— Я и целовать тебя не хочу сегодня. У тебя и сейчас глаза красные,— сказала Настя тихо и пошла от него, не оглядываясь.

— Всегда глаза красны, коли правду видят! — крикнул ей Сеня вдогонку; потом подошел к стене и с маху ударил в нее кулаком. Мякоть руки расцарапалась шероховатым камнем до крови. «Вот она!» — вслух подумал Сеня, глядя на руку.

Это случилось в пятницу...

...А в субботу Сеня как-то нечаянно написал свой первый и последний стишок. Стоял и щелкал счетами, подсчитывая покупательские книжки. В голове своим чередом бежали разные думки, а среди них вплетались полузабытые стихи из какой-то катушинской книжки.

Оторвавшись от дела, он попробовал на память восстановить утерянную строчку, но получилось как-то совсем иначе. Так, строку за строкой, он придумал все стихотворение сызнова.

Холодея и волнуясь, он стоял над столбцом полуграмотных строк, перечитывал, открывая в них все новые прелести. Ему особенно нравилась концовка стихотворения: «Покой ангелы пусть твой хранят!»

XV. КАТУШИН ТОЖЕ ЗАКРИЧАЛ

...Совсем забыл Сеня Катушина.

Настя была для Сени — жизнь, смех, буйный трепет любовной радости. Катушин — уныние, безволие жизни, недвижность тишины. Тот давний поцелуй в воротах безмерно отдалил Сеню от Катушина. В такой же степени потянуло его к Степану Леонтьичу после первой размолвки с Настей.

В обед он поднялся по каменной лестничке наверх прочесть ему свои первые стихи. Приоткрыв дверь, он осмотрелся и не узнал сперва этой непривычно чистой, полуопустелой комнаты. Недобрым предчувствием сжалось Сенино сердце.

Коечка старика была задернута пологом. Не было обычной табуретки у окна, на которой сиживал с книжкой в праздничные дни Степан Леонтьич. Зато рядом с койкой сидела рябая баба и сопливо вязала чулок. Заметив Сеню, она просунула спицы между головным платком и виском и почесала там.

— Тебе что? — спросила она враждебным полушепотом.

— Мне Степана Леонтьича... — просительно сказал Сеня.

— Дверь-то закрой сперва,— заворчала баба. — Если по делу, так вот он тут лежит. — Она кивнула на койку, закрытую пологом. — Уж какие дела к мертвому!

В то мгновение из-за полога раздался короткий, глухой рывок кашля. Сеня подошел и бережно отвел полог в сторону. Катушин, еще живой, лежал там, свернувшись, точно зябнул, под крохотным квадратным одеяльцем из цветных лоскутков. Когда он перевел взгляд на Сеню, тот поразился тусклому спокойствию стариковых глаз. В поблекшем, мертвенном лице не было никакого оживляющего блеска, — может быть, из-за отсутствия очков.

— Здорово, Степан Леонтьич,— сказал Сеня и попробовал улыбнуться.

— Кто? — не узнавая, жестким, надтреснутым голосом спросил Катушин.

— Это я, Семен. Прихворнул, что ли, Степан Леонтьич?..— Сене стало стыдно, что вот он —здоровый, а Катушин— больной.

— Да,—невыразительно сказал старик и порывисто сжался, точно коснулись его холодом.— Садись, гость будешь.

— Ты, паренек, посидишь тут? — спросила баба еще, залезая спицей себе за ворот. — Посиди, мне тут сбегать. Обряжать-то не скоро еще! — жестко и просто сказала она, складывая вязанье на выдвинутую из-под катушинской кровати корзиночку.

— Что ты, дура, мелешь... кого обряжать? — озлился Сеня, но баба уже ушла за дверь.

Сене вдруг стало жутко от наступившей внутри него тишины. Рвалась старой дружбы нить, ее не связать вновь. Притихший, но полный внезапного глубокого чувства, Сеня пересел к Катушину на койку. Ему хотелось быть в ту минуту ближе к старику.

— На табуретку сядь... не тревожь,— сухо сказал Катушин и подвигался под одеялом. — Руки гудут все!

Сеня покорно пересел обратно на табурет и уже боялся начинать разговор.

— Что-то не признаю я тебя,— продолжал Катушин. — Плохо стал людей различать... Все мне лица одинаковые стали.

— Я Семен... от Быхалова. Помнишь, ты меня грамоте учил, книжки давал. Я вот навестить тебя пришел, Степан Леонтьич.

— Помню,— без выражения сказал Катушин,— так ведь тот маленький был!

— Я вырос, Степан Леонтьич, — извиняющимся тоном

произнес Сеня и смятенно стал стирать пятно с пола носком сапога.

— Не ширкай, не ширкай... — остановил Катушин и кашлянул разок.

Прежнего задушевного разговора не выходило.

— ...По картузу в день — считай, сколько я их за всю жизнь наделал! — снова начал Катушин, и лицо его на короткое мгновение отразило тоску. — Картузы сносились, вот и я сносился... — Сеня заметил, что старик сделал движение под одеялом, точно махнул рукой. — Я тебя теперь помню. Ты забыл, а я помню... Я все помню! — Что-то прежнее, незабываемое промелькнуло в катушинских губах.

— Давно лежишь-то? Что болит-то у тебя? — неловко допрашивал Сеня.

— ...Я тебе тут бельишко оставлю, не отказывайся. Подшить, так и поносишь! — продолжал вести свою мысль Катушин.

— Ну, поживешь еще! Спешить, Степан Леонтьич, некуда. Человеку сто лет сроку дано,— заторопился Сеня. — Это баба чулошная тебя так настроила. Я бы ее турнул, бабу,— право, турнул бы!..

— Бабу не тронь... она за мной ходит, баба,— поправил Катушин.

Сеня встал и отошел к окну. Он обмахнул рукавом запотевшее стекло и глянул наружу. Поздней осени гнетущее небо продувалось из края в край острыми холодными порывами. Настин дом казался безотрадно серым. Темные окна не пропускали чужого взгляда внутрь.

«Настя... она не знает, что я тут. Степан Леонтьич помрет. Меня возьмут в солдаты...»

— Паренек... — заворочался Катушин, силясь поднять голову с пролежанной подушки,— дай-кось водицы мне... на окошке стоит.

Старик пил воду, чавкал, точно жевал. Отпив глоток, он внимательно глядел в низкий, прокопченный потолок, потом опять пил.

— ...Четвертого дня просыпаюсь ночью, а он и стоит в уголку, смутительный... дожидается,— сказал Катушин, откидываясь назад.

— Кто в уголку? — и невольно оглянулся в угол.

— Да Никита-т Акинфыч, дьячок-то мой... приходил. Я

ему: ты подожди, говорю, деньков пяток. А он: что ж, говорит, догоняй, подожду.

— Это тебе мерестит, Степан Леонтьич, ты противься...— убежденно сказал Сеня. — Ты не верь. Это истома твоя...

— Никита-т истома? — строго переспросил Катушин. — Не-ет, Никита не истома.

Сеня не знал, что возразить. Он вспомнил: достал исписанный листок и вопросительно поглядел на старика.

— Я тут стишок написал... прочесть тебе хочу. Ты послушай, — и опять глядел с вопросом Сеня, но стариково лицо стало еще неподвижнее.

Не смущаясь этим, Сеня стал читать по листку, но в угасающих глазах старика были только испуг и обида, точно заставляли умирающего бегать за быстроногим.

— Я пойду лучше... — потерянно сказал Сеня и встал. — Прощай покуда, Степан Леонтьич!

...В тот же вечер Матрена Симанна занесла ему в лавку записку. Тревожными словами Настя просила Сеню прийти в девять к воротам ее дома. Старуха так вся и струилась легчайшими насмешечками, покуда Сеня перечитывал записку.

— Что ж это вы, божья коровка, кривитесь так? — тихо спросил он, постукивая гирькой по прилавку. — Чему бы вам радоваться?..

— Да что, голубчик, какая у старушки радость! — храбро проскрипела Матрена Симанна. — Старушечья радость скучная! А свадебке как не радоваться... всё на платье подарят. Мне бы черненького, белое-то уж и не к лицу!

...Неслись в сумерки зарядской низины тонкие снежинки, первые вестницы зимы. Сеня присел на тумбу; потом, чтоб провести время, он походил взад и вперед: Настя все не шла.

«Заболела? Тогда не звала бы. Помер кто-нибудь? Тогда к чему я ей!» — так метались мысли. Зловещий намек старухи как-то не дошел до сознания.

У ворот стоял лихач, его только теперь заметил Сеня. О чем-то догадываясь, Сеня с ненавистью поглядел на пустое сиденье лихачовой пролетки. А лихачу, видимо, было скучно...

— Разлюбезненькую поджидаешь? — спросил он с величественным добродушием и поворочался, как на оси, на ватном заду.

— Нет, барина твоего убивать пришел, —озлился Сеня.

— Занозистый! — определил лихач.—А разлюбезненькая-то не придет,— зубоскалил тот певучей скороговоркой. — Я

ее даве с солдатом видал. На лавочке в Александровском саду любовь крутят!

— Это ты мамашу свою видал,— съязвил Сеня, отходя от ворот.

В ту минуту скрипнула дверца ворот.

— Ты давно тут?

Она озабоченно смотрела на него из-под приспущенного на глаза белого пухового платка. Черная прядка волос выбилась на бледную щеку. В смутном свете ночи и снежинок был тот локон как-то прощально смел.

— Куда пойдем?.. К Катьке, что ли? — шепотом спросил Семен.

— Не хочу к ней. Пойдем туда... — Она указала глазами в темноту улиц. — Ты знаешь... это его лихач!

Подхватив Сеню под руку, она потащила его в переулок, неясно пестревший снеговыми пятнами. Сзади слышались шаги. Настя почти бежала. Впереди тоже шел кто-то. Они остановились и приникли друг к другу в темном углу двух высоких каменных стен.

— Настя,— горячо зашептал Сеня, привлекая ее к себе,— неужто в самом деле замуж выходишь?.. — и он наклонился к ней губами, нежно и жадно.

— Погоди... дай людям пройти,— быстро и досадливо оборвала Настя, отстраняя его от себя. — Потом.

Двое проходили мимо. Молодой с любопытством вгляделся, а другой, постарше и побессовестней, даже сказал «эге». Еще не дождавшись, пока пройдут. Сеня губами нашарил ее губы под платком. Они были солоны, холодны и влажны.

— Ты плачешь? — догадался он.

— Лихача-то видел? — вместо ответа сказала она.

— А ты как решила?

— Папенька просил... Хочет дело расширять. Он объяснял, я не поняла... — случайно или нарочно избегала Настя прямого ответа.

Вдруг Сеня махом сорвал с себя картуз, провел руками по волосам.

— Что ж, добрая путь вам, Настасья Петровна! — размашисто сказал он. — Зерно к зерну, а рубль к рублю. Хозяйкой будете...

— Он меня в театре увидел... Стал цветы присылать. Папенька смеялся, а я не знала,— рассказывала Настя и притягивала за руку Сеню. — Ну, обними же!

— Ты мне так не говори. Я тебе себя самого в конверте прислал бы, каб знато было... — Сенин голос дрожал.

— Куда пойдем-то? — И сама указала в свистящее вьюжное пространство, за арку Китайских ворот.

Теперь они шли по набережной навстречу снегу. Ветер был в сторону города, городских гулов сюда не доносилось. Место тут глухое. Река стыла и замедляла течение черных и гладких вод. Как огромные латунные подвески, спускались в глубь ее отражения береговых фонарей.

Они оперлись на парапет ограды и глядели в воду. Сенины пальцы гладили сухое, холодное железо решетки.

— На свадьбу-то позови... Калошки там снять понадобится, тарелочку помыть!.. Кто он?

— Мне холодно,— зябко ответила Настя.

Снег усиливался, швы в кладке гранитных камней побелели. На Китайской стене гнулись облетелые стебли сорных трав и хилых березовых кустков, выросших там прихотью ветра.

— Фирму Желтковых знаешь? Вот... оттуда, — сказала Настя и повернулась к нему спиной.

— В лесу бы мне с ним один на один встретиться! — ответил Сеня.

— Что ж, убил бы, что ли? — недоверчиво повернулась Настя.

— Нет. А сжал бы, сколь силы хватит. Выживет — пускай живет, собачья отрава!..

— Ну вот,— эхом сказала Настя,— а я девочкой на Петю Быхалова рассердилась, что никого не убил...— Она кусала губы.— Тебя на войну-то не возьмут?

— А тебе что? Нехорошо чужой невесте о чужом заботиться. Ведь не любишь?

— Право, не знаю... Чудно как-то,— созналась Настя.

XVI. СТЕПУШКА КАТУШИН КОНЧИЛ ЗЕМНЫЕ СРОКИ

Шапошник помер ночью, в час, когда Сеня глядел вместе с Настей на стынущие воды реки Москвы.

Сеня не навестил Катушина перед смертью, и теперь его мучило боязливое раскаяние, что не исполнил последнего долга перед стариком. Он не видался в этот день и с Настей, не выходил никуда. Он стал ленив, ему стало все равно. Ему

казалось, что вода и воздух пахнут свежей сосновой стружкой, носят горьковато-пресный вкус; его тошнило от еды.

Лишь на другой день, вечером, Сеня вышел из дому и почти на пороге столкнулся с женщиной в белом пуховом платке. Он узнал ее и не сказал ни слова привета.

— А я к тебе шла! — Настин голос был решителен и тверд. — Хоть и навсегда шла... Все равно, не могу больше!

— Ходить, что ль, не можешь? — усмехаясь, спросил он.

— Дома не могу. Всю комнату цветами уставили. Уйти некуда...

— Возьми да выбрось,— равнодушно посоветовал Семен.

— Помолвка завтра... — еле слышно прибавила она.

Он оттолкнул ее и хотел пройти мимо.

— Ты не надо так! — резким низким шепотом заговорила она, догнав его у начала катушинской лестницы; губы ее тряслись. — Этим, Сеня, не шутят. А узел завязался, давай вдвоем распутывать.

Опять снежинки крутились в потемках постоялого двора. Где-то в глубине его лениво ругались из-за места извозчики.

— Что ж мне-то распутывать! Я тебе не муж. Мать вот письмо прислала, чтоб женился. По хозяйству дома некому.

— На мне женись,— быстро решила Настя.

— Ты не к дому нам. Деревня, Настя, не город. Что в городе можно, того в деревне нельзя,— тихо сказал Семен.— Ну, пусти... Степан Леонтьич помер, я на панихиду иду.

— Я с тобой пойду. Зачем ты меня гонишь?..

По лестнице, как ни противился Семен, они поднимались рука об руку. Перед дверью, в темном коридоре, он остановил ее:

— Ты обожди. Я войду, а ты потом. Люди увидят, слух пустят.

— Пускай! — так же грубо, как и Семен, ответила Настя, нащупывая рукой холодную и липкую скобку двери. Она вошла первою.

Пахнуло на них не ладаном, а именно той самой сосновой стружкой, которая мерещилась Сене весь вчерашний день. Мастерская шапошника Галунова была сплошь набита зарядским старичьем: пришли проводить уходящего в век. Служба только что началась. Высокий, кривошеий поп от Николы Мокрого раздавал тощие свечечки, знакомые Сене. Рядом с Катушиным, одетым во все новенькое и дешевое, лежавшим с выпяченной грудью — не трудно мертвому блюсти

человеческое достоинство,— шамкал псалтырь неизвестный лысый старик; когда переступал с ноги на ногу, скрипели его сапоги — скрипливые сапоги, новые. Читал он негромко, только для себя да для Катушина, изредка взглядывая на мертвого, чинно ли лежит, внимательно ли слушает горькие слова Давидовой печали.

На носу у чтеца сидели катушинские очки. Сеня догадался: пришел, а очки забыл... Ему и сказали: «Вот Степановы,— надень». Серебряное кадило кривошеего попа с жадностью пожирало катушинский ладан. Становилось сизо от дыма. Дьячок спешил, словно разбитая таратайка с горы. Стояла душная полутемь. Ее не одолевали три большие свечи, наряженные в банты из катушинской же сарпинки.

Сеня взял две свечи, для себя и для Насти, и прошел к окну. Настя встала рядом с ним и отвела платок с лица назад, точно хотела, чтобы все ее увидели. Это и было замечено,— дьячок, гнуся очередную молитву, обернулся назад и бессовестно разглядывал Настю. Сам он был исконный зарядьевец, и узнать что-либо про секретовскую дочку доставляло ему глубокое душевное удовлетворение.

— Дозвольте... я вам огонька предложу,— шепотком сказал он, протягивая Насте свою свечу, горящую. — Как папашино-то здоровье?

— Вы мне на платье капаете... — сухо заметила Настя.

— Ну и слава богу, слава... — не расслышал или только сделал такой вид дьячок и отбежал подсыпать ладану в кадило.

От свечей посветлело. Лица людей, освещенные снизу, бородатые — мужские и морщинистые — бабьи, имели отпечаток какой-то тупой, несоображающей мудрости. Они не печалились горю и не дивились смерти, они знали: жизнь — не луг со цветами, жить — не цветы с луга рвать. Среди них домовито суетились двое: чулошная баба и Ермолай Дудин, черный, подтянутый, заметно подъедаемый чахоткой. Он то распоряжался острым, приказывающим взглядом, то любовно, как женщина, поправлял подушку или картонные бахилки умершему другу, то оправлял фитиль большой свечи, помогая ей гореть торжественней.

Сосредоточенно, словно в последний раз говорил с Катушиным, стоял Семен, с глазами, опущенными в пол. Что-то белело у него под ногами; он пошевелил ногой и узнал аптечную коробку из-под ладана. «Съел тебя город, Степан Ле-

онтьич,— подумал Семен,— и ладан твой съел. Будь того и другого вдвое больше, и тогда не осталось бы...» Семен кинул взгляд на Катушина; тот сделался теперь как будто еще меньше, потому что, казалось, был напуган всем этим шумом, происходившим ради него. Сеня не отводил глаз и вдруг заметил в поле своего зрения тонкий профиль Насти в свете мерцавшей свечи. Он перевел глаза на нее.

Она почувствовала, в ее похудевшем лице скользнуло движение улыбки.

— Обрати внимание,— шепнула она, касаясь дыханием его лица, — свечи в руках... Точно под венцом стоим.

— Молодой человек! — сказал в самое ухо Сене дьячок. — Свечи собирают... Представление окончилось, молодой человек! — ядовито повторил дьячок и подмигнул Сене пакостно и стыдно.

Перешептываясь, выходили по двое катушинские гости. В раскрытую дверь вползал кислый, холодный воздух, но все еще стойко держался запах тлеющего фитиля. Кривошеий поп снимал ризу и обстоятельно расспрашивал чернобородого Галунова о катушинском конце. Свечи гасли, темнело.

Сеня уходил почти последним. И опять обернулся он с порога и вспомнил: с того самого места, у окна, где стоял с Настей, он впервые и увидел ее. Но теперь за окном было черно и пусто. Следуя уклону мыслей, он взглянул на свои сапоги: сапоги теперь были красивые, хромовые, приятно глядеть. Все переменяется на свете.

Коечку в углу уже разобрали, угол был пуст и ждал нового постояльца. Только небольшая кучка пыльного сора указывала, что в этом месте обитал хлопотливый человек,— он и насорил.

XVII. РАЗНЫЕ СОБЫТИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ

Дальше все пошло, как во сне.

Утром Быхалов сам, идя из города, прочел приказ о дополнительном призыве Сенина года. Сеня встретил сообщение о солдатчине почти равнодушно,— солдатчина сулила ему какой-то выход из положения. Не дослушав, он побежал на катушинские похороны.

Весь обряд похорон показался Сене подчеркнуто обидным. Бумажным пояском закрыли катушинский лоб, едва

расправившийся от морщин. Поливали елеем, посыпали песком. Возница, длинный, сутулый верзила в черном, похожий на огромную отмычку для столь же огромного замка, влез на козлы, и похоронные дроги тронулись в путь. Встречные снимали шапки. Над домами кружили голуби. Падал снег и тут же таял. Дальше, когда потянулась чужая Москва, наняли провожатые извозчика. Их было всего двое: Сеня и Дудин. Чулошную бабу видел Сеня только на квартире, утром,— она возилась над катушинским сундучком.

Тут-то и показали тощие клячи всю свою непохоронную прыть. Длиннющими, как жерди, ногами они захватывали большие куски мостовой и неслись, словно боялись людского сглаза, словно обрадовались легкому грузу. За всю жизнь никогда и никуда не спешил так Катушин. Дудинский извозчик тоже не отставал,— словно на свадьбу мчались. Мразь с неба усилилась и уже не успевала таять. Подняли верх.

За заставой, когда мимо побежали домишки, измельчавшие до последней жалкости, дудинский извозчик стал закуривать и поотстал. Извозчик спросил:

— Нет ли спичечки?

Дудин сказал:

— Потерпи, черт, скоро отпустим!

Тут Сеня с тоской заметил, что Дудин уже раздобылся где-то винцом.

Могилка проморозилась за ночь, но низина давала себя знать: на дне стояла лужица. Кладбищенский батюшка, олицетворение земного уныния, рассыпаясь на верхних нотках, изобразил надгробное рыдание и помахал потухшим кадилом. Сеня скинул вниз первую горсть вязкой холодной земли; она упала комом. Кладбищенский человек, коротконогий и веселый, усердно закидывал заступом розовый катушинский гробок и все порывался заговорить. Наконец он не выдержал:

— Как хотите, конечно, это на чей вкус... А по-моему, там никакого ада нет! Я вот одиннадцать лет копал, все думал: где же он, ад?.. А на двенадцатый открыл, что он промеж нас и находится... Только мы свыклися и не примечаем!

Борода у него была круглая, рыжая, разбойничья.

— Пьешь? — коротко и с презрением спросил Дудин.

— Пьем... — сознался могильщик. — А что?

— Ничего, ступай! — отвечал Дудин.

Когда никого не осталось кругом, Дудин взволнованно вдруг провел рукой по непокорному ершу волос и вздохнул

так глубоко, словно собирался последним словом почтить покойного.

— Здесь чайнуха одна есть, с секретом,— неожиданно воровато сказал Дудин. — Вроде поминок закатим... по бестелесном человеке! Пойдем, а?..

Но тут с Дудиным что-то случилось. Он припал к свежему катушинскому холму и весь затрясся. Плакал он всухую, без слез, и с таким звуком, будто в котле клокочет черный и густой сапожный вар... Его прощанье кончилось так же внезапно. Он встал и надел на голову свалившийся картуз.

— Эх, в трясине живем!.. — крикнул он и, не оглядываясь, забывая стряхнуть с колен приставшую землю, пошел с кладбища. Сеня догнал его почти у выхода.

...Чайнуха, набитая воровской мелочью и мастеровой голью, помещалась поблизости, в кривом, с крыльцом, домишке, сзади к нему примыкал пустырь. Уже вечерело, когда они пришли туда. Под черным потолком висела лампа с железным абажуром набекрень.

Они подсели к столику, за которым уже сидел один,— разглядеть его лицо было невозможно. Сеня впервые за всю жизнь пил жгучую противную смесь, не справляясь с отвращением.

Неизвестный, сидевший вместе с ними, глядел внимательно и грустно.

— Что же ты парнишку-то спаиваешь? — спросил он тихо у Дудина, прихлебывая чай из толстого стакана.

— А ты не злись, не подбавляй горечи! — вскочил Дудин. — На-ко выпей за упокой человека...

— За свой, что ль, упокой пьешь? — неодобрительно спросил человек.

— А и за мой выпей, какая разница! — клохчущим смехом зашелся Дудин. — Из каких сам-то — мастеровщинка, что ли?

— На заводе тут, по металлу работаем,— неохотно отвечал тот.

— Снарядики точите? А-а, подлецкое ваше дело! — без обиды заворошился Дудин, подливая в стаканы. — А мы вот человека схоронили. Предобрый старикашка! Ну, скажи, разов восемнадцать я инструмент свой пропивал... Приду к нему, грязный, пьяный — тень человека. «Ваше преподобие, скажу, одолжи три рубля на продолжение жизни!» — «Спустил?» — спросит. «Спустил, ваше преподобие!» Он и даст. Я его

преподобием-то, чтоб не так совестно было. Так красненькая и ходила промеж нас всю жизнь. Бестеле-есный!.. — протянул мечтательно Дудин.

— Что ж за заслуга... что пьянству помогал? — усмехнулся незнакомый, свертывая папироску и смачивая край бумажки языком. — Жил-был и помер. Жалеть его не за что. В тихом житии не велика заслуга. Хоть брыкнулся бы!..

Дудин даже отодвинулся, заметно оскорбившись замечанием незнакомого.

— Ко-онешно! — передразнил он, выбрасывая руки вверх. — Зачем жи-ил! А кто ему судья! Ты ему судья? Кто меня судить может, как не я сам? Ну, говори, говори мне!.. А-а, ты молчишь, судья неправедный! А почему ты молчишь?.. А потому, что и сам не знаешь, зачем каждый день сапоги надеваешь!

— Я-то знаю... — засмеялся незнакомый.

— Что ж ты знаешь? Ну, отвечай мне, если можешь!..

Ответа не последовало, да его и не понял бы, может быть, захмелевший Дудин. Кто-то забежал к ним за перегородку и крикнул об облаве. Незнакомый поднялся, Дудин и Сеня побежали за ним. Дом еще не был оцеплен. Черный ход вывел их на пустырь, щедро изрытый канавами, как нарочно, для поломки ног. Люди разбегались во все стороны. Сеня потерял Дудина и двинулся наугад по тихой и длинной улочке, скудно освещенной десятком кривых фонарей. Голова горела от дудинского угощенья, стучала кровь в напрягавшемся кулаке: вот он идет, пьяный и осмеянный, а в Зарядье, за толстой стеной, пропивают Настю.

...Лавку еще не закрывали, когда Сеня вернулся в Зарядье.

— Где это тебя, экого, таскало? По книжкам бы сходил получить! Месяц на исходе... — ворчал Быхалов, когда Сеня нарочито твердой походкой проходил мимо.

— По книжкам?.. — непонимающе переспросил Сеня.

Он прошел к конторке, подмигивая внезапному своему решенью, и выбрал книжку, по которой забирал бакалейные товары Секретов.

— Да куда же ты пойдешь в таком виде? — смутился Быхалов. — Спать бы шел.

— Вы думаете, я пьян? — подошел Сеня к прилавку. — Нет, я не пьян.

...Мимо знакомого лихача и нескольких извозчиков, сто-

явших у ворот, Сеня прошел прямо на секретовскую квартиру, зловеще глядя в точку перед собой. Он поднялся по лестнице и постучал в дверь. За дверью слышны были голоса и вскрики — зарядские помолвки шумные. Сеня постучал еще раз и, не сдержав злости, сильно ударил сапогом в дверь.

— Кто там? — спросил из-за двери испуганный старушечий голос.

— Отвори, Матрена Симанна! По книжке пришел получить!

— Через часок приди. Вот женихи уедут... — вразумляюще шепнула она, отворяя дверь.

— Велено ждать,— твердо сказал Сеня, почти насильно втискиваясь в прихожую. — Вот я тут, в уголышке, примощусь.

Старуха, боясь затронуть пьяного, металась по прихожей, а Сеня смирно сидел под шубами, держа книжку на отлете в руке. Кажется, он задремал, времени не заметил. Он открыл глаза, когда прихожая наполнилась вдруг шумными возгласами.

Купцы прощались в дверях столовой, посмеиваясь, причмокивая и разводя руками.

— Ну и спасибо, сват,— спокойно говорил один.

Другой, похожий на начетчика, одетый順 поневзрачней, со впалыми висками и с карей проседью в бородке, потирал руки и очень мягко говорил:

— Втроем теперь будем огород городить... С песенкой!

— Честь малому человеку делаете,— чванился Секретов. — А втроем это мы действительно шарахнем!..

— Шарахать-то с толком нужно,— осторожно заметил женихов дядя, невзрачный.

— А мы и с толком. Затрудненья нет! — заметно смутился Секретов, оправляя круглую бороду.

Жениха сразу нашел Сеня. То был мелкого сложения человек, поджарый и напомаженный. Когда смеялся, вся его чистенькая мордочка завязывалась узелком вокруг восторженно выпученного рта. Настя кусала губы. Петр Филиппыч, разговаривая с гостем, поглядывал на нее просящими, быстрыми глазами.

Петр Филиппыч сразу заметил, как залилась румянцем Настя, и, проследив ее взгляд, увидел Семена.

— Зачем пришел, а? — коротко и мягко спросил Секретов Семена и, подойдя ближе, понюхал воздух.

— Вот! — и щелкнул ладонью по книжке.

— Что это у тебя? — осторожно осведомился Петр Филиппыч.

— По книжке велено получить,— осипшим голосом произнес Семен.

— По книжке? Ну-ну! — догадался по-своему Секретов и тут же пояснил будущему свату, покачивающемуся на растопыренных чурбаках ног: — Вот народец у нас! Тут я с лавочником в контрах. Так вот он и догадался в такой час потрафить, пьяного прислал. Извините уж, гости дорогие!..

— Да сколь хочешь, пожалуйста,— чванно усмехнулся толстый.

— Ты подожди, парень, вот гостей провожу... и рассчитаюсь с тобой! — сказал Секретов.

Но он уже не отходил от Семена, заметив Настино беспокойство. Жених тоже учуял беду и неприметно оглянулся на отцов.

— А я вот что придумал,— вдруг обрадовался Секретов внезапной мысли. — Поступай-ка ты, парень, ко мне в службу... Я тебе и жалованья больше положу... Не век же тебе в мальчишках слоняться. А пока подержи вот шубу женишку... Может, и на чай отвалит, коли не скуп!.. — и подмигнул приглядывавшемуся ко всему с лисьей осторожностью невзрачному свату.

Семен взял шубу из рук жениха и растянул ее в руках, придерживая. Настя окаменело глядела на него, настрого сдвинув брови. Держа кашне в зубах, жених полез руками в рукава, а Семен поднял его, как на дыбу, вместе с шубой; тут-то с женишком и случилось событие, повернувшее всю торжественность помолвки в один непристойный для купеческого дома ералаш.

XVIII. КАТИНА РОДИНКА

Сене отперла сама Катя.

— А Насти у нас нет! — сказала она, удивившись позднему его приходу. Впрочем, тотчас же тень какой-то догадки скользнула у нее на губах. — Да что же вы на пороге стоите?.. Входите!

Сеня все так же, без объяснения своего прихода, вошел в переднюю. Судя по тому, как он оглядывался, можно было предположить, что тут только он сообразил, куда завлек его хмель.

— Она обещала прийти? Вы разве не знаете, мы с ней немножко рассорились! Из-за вас вышло... — добавила тихо Катя.

Блузка ее была смята, а волосы растрепаны,— очевидно, дремала, когда раздался Сенин звонок.

— Ну, не в передней же стоять! Пойдемте ко мне, что ли... — объявила Катя и непринужденно потянулась. — Где это вы так?.. Я напугалась даже.

Сеня заговорил не раньше, чем вошел в комнату и сел на стул. Но сел уж не робко, как прежде, а всем телом, вразвалку.

— Спала, что ли? — грубо спросил Сеня, не справляясь с косящим взглядом.

— Да, но... ты сиди, сиди! — тоже на «ты» перешла Катя. — Я ведь все одна... скучаю!

— Жениха сейчас обидел,— жестко сказал Сеня и сделал неопределенное движение рукой.

— Настина жениха? — заинтересовалась Катя. Она расположилась было поудобней на смятых подушках, но тут с любопытством приподнялась. — Как же ты его... так, что ли? — она наотмашь махнула рукой.

— Не... — нехотя отвечал тот, встал и скинул на пол плохонькое свое пальтецо. — Жарко! — и оттянул ворот рубашки, впившейся в смуглую, раскрасневшуюся мякоть шеи; потом он взял попавшийся на глаза гребень и запустил его в волосы, но завитки спутались и не давали гребню прохода.

— Положи, сломаешь! — вскользь заметила Катя. — Так ты, значит, на квартиру к ним приходил?

— Дай воды сперва попить...

— Вон там в графине на подоконнике возьми... Ну и как?

Сеня не спеша налил стакан. Рука дрожала и расплескивала воду. Он выпил все в два глотка и опять сел, тупо уставясь перед собою.

— Настькин отец говорит: «Подержи шубу»,— начал рассказывать он.

— Кому? — воззрилась, замирая от любопытства, Катя.

— Жениху, конечно! А я его поднял вот этак... не тяжеле мешка, да ка-ак брошу, с шубой вместе. Уж больно я на себя озлился, что шубу ему стал подавать... — Опять попался на глаза гребень, и опять стал расчесывать Сеня волосы, но гребень хрустнул, и кусок его, выскользнув из волос, упал на пол.

— Ну вот, видишь? Говорила, что сломаешь! — объявила без всякой досады Катя.

— ...Я за нее по кусочку бы себя отдал тогда... — продолжал Сеня, и по всем мускулам его пробежала смятенная волна. — Зачем она за меня в глаза им не вцепилась.

— А Настя что? — допрашивала Катя, закладывая руки за голову.

— Она меня выгнала... как щенка пихнула!

— А ты и ушел?..

— Ушел... а что?

— Хорош, нечего сказать! — Катя тихо засмеялась; смех ее был ровный, щекочущий, осторожный, как кошачья походка. — Значит, Настьку-то с руками этому воробью отдал! Ребят-то не нанимали нянчить?.. — И насмешливо поиграла острым кончиком высоко прошнурованного ботинка.

— Не дразнись,— сказал он, опуская голову. — Зачем меня дразнишь?

Катя лежала с закинутыми руками, головой на подушке, вышитой тяжкими шерстяными розанами.

— А может, я тебя утешить хочу? —И опять смешок ее, обжигающий Сенино самолюбие, прозвучал коротко и смолк. — Ты вот злишься, а может, я слезы тебе хочу утереть... Я ведь добрая!

— Говорят тебе, не дразни, а то уйду! — повторил Семен и поднялся.

— Куда? К Настьке пойдешь? Там тебя отец собаками затравит. Тебя и затравить-то, так простят. Много ли стоишь, кисельное блюдо!

— А я тебе сказал и в третий раз... Не трожь меня! — Сеня угрожающе подошел к Катину диванчику и глядел на нее немигающими глазами. — Смотри, мое слово коротко!..

— А мое длинно! — дразнила Катя. — Ты сильный... Ты вон какой, а тебя девчонка выгнала, так ты и реветь готов.

У Кати в комнате горела лампа с узорчатым абажуром. Катино лицо лежало вне круга света, матово мерцая в потемках.

— Ты не гляди на меня так,— смешливо заговорила она. — Я ведь одна дома. Смотри, не испугай меня... — Вдруг Катино лицо разжалось, распустилось. — Садись вот тут,— приказала она и подвинулась к стенке, чтобы дать место Семену. — Шаль-то скинь на стул и садись!..

Тот молчал, побежденный в поединке. Голову обволакивал какой-то чугунный хмель. Вдруг ему представилось, что все вещи стали звенеть, каждая по-своему,— звон дурманил.

— Что ж, и сяду! — сказал Семен и нескладно присел на стул.

— Нет, вот сюда садись,— и указала место рядом.

— Ладно,— и сел туда, куда указывала.

Катины, с обгрызенными ногтями, пальцы играючи бегали по блузке.

— Смотри,— сказала Катя, распахивая верх блузки.— Видишь?

— Ну, вижу.

— Родинку видишь?.. нравится?

— Ничего себе. Махонькая... — определил Сеня, тяжело уставляясь на Катю. Немного вверх, над грудью, где кожа припухала странной мерцающей голубизной, томилось маленькое темное пятнышко, темный глазок греха.

— Сейчас отец придет,— вслух думала Катя, все еще с раскрытой блузкой. — В десятом собирался вернуться.

— Настьку хочешь обидеть,— сказал Семен.

Он и видел Катю и не видел. В висках клокотала разгоряченная кровь. Душе было гадко, а тело безумело и начинало качаться, как маятник. Все вещи дразнили, точно хотелось им, чтобы хватили их о пол и расхрустнули каблуком. Катя двинула плечом, потушила глаза и затихла.

Вдруг Семен поднялся и резко засмеялся.

— Время-то течет, как по желобу! — сказал он, обводя усталыми глазами комнату. — Набедокурили мы с тобой! Эх, Катька, Катька...

Катя насмешливо поглядела на него и рывком запахнула блузку. В следующее мгновение она убежала из комнаты и вернулась через минуту.

— Уходи скорей,— зашептала она, не глядя на Семена.— Я на часы хотела взглянуть... они у отца в спальне. А он уж пришел... молится там! Ступай,— комкала слова Катя.

Семен шел за ней в переднюю намеренно громким шагом. Уже уходя, он попридержал дверь ногой:

— Стыдно тебе небось, а? Замуж-то я тебя все равно не возьму.

— Мужик вахлатый!.. — не сдержалась Катя и захлопнула дверь.

Щелкнул крючок, и Семен остался один в темноте лестницы. Он сошел вниз и поднялся по улице вверх из низины. Нежилым, каменным духом повеяла на него Варварка. Он шел мимо нижних рядов. В провалах глубоких ворот на ящиках дремали в тулупах сторожа. В глухих переулках, соединяющих низ и верх, он пробродил большую часть ночи. К рассвету усталые ноги вывели его на Красную площадь, затянутую робким, нетронутым снежком. Так же медленно он спустился опять в Зарядье. В смятой памяти проходили события минувшего дня: сухонький лобик Катушина, дудинский картуз, валяющийся в грязи, чайная кружка с мутным, тошным ядом, выпученные глаза жениха, гневный и зачужавший взгляд Насти, губы Кати, взбухшие, как нарыв...

Он стоял как раз перед гераневым окном. Оно, занавешенное белым, смотрело на него глухо и безответно. Во рту у Семена было горько, а внутри совсем пусто.

Город просыпался...

XIX. КОНЕЦ ЗАРЯДЬЯ

Семен перед отъездом заходил к Дудину в его подвал проститься. Увидя Семена в солдатском, похудевшего и подтянутого, еще больше захлопотал Дудин по своей мастерской.

— Сноп-то научился колоть? — резко крикнул Дудин и щепкой, которую держал в руке, почесал седой затылок. — Ты смотри, человек не сноп! Уж там не промахивайся... Ну-ну, воюй, воюй... добывай военное отличье: медаль на брюхо, деревяшку к ноге!

— Прощай, Ермолай Дудин,— сказал Семен, с тоской глядя на мутное дудинское оконце; он так и звал его в разговоре: Ермолай Дудин.

Потом он камнем канул в черную пропасть забвенья и войны...

Зарядье к тому времени уже теряло свое прежнее обличье. Ход махового колеса замедлялся. Смрад войны проникнул и сюда. Как-то и дома стали ниже, и люди темнее, а орган секретовской «Венеции», забравшись на высокий плясовый верх, поломался однажды зимой.

После Семенова отъезда еще унылей стала Настина жизнь: свадьба расстроилась... Настя поднимает с пола недочитанную книжку, пробует читать. Строчки прыгают, меня-

ются местами буквы, не хотят, чтобы их читали. Настя захлопывает книжку и подходит к окну. Небо серо. На улицах снег. На снегу ворошатся воробьи.

Когда после смерти матери убирали угловую комнатушку, нашла под материной кроватью старую обезображенную куклу. Целый день просидела над ней Настя, навила ей целую охапку пегих кудрей, но прежней молодости было уже кукле не вернуть.

...Грустная, с ноющей спиной, Настя подходила к окну: стыли в вечернем морозце апрельские лужи. В доме напротив кто-то переезжал. У ворот стоял воз, нагруженный доверху.

Матрену Симанну оставил Петр Филиппыч до времени жить у себя, в той же угловой комнатушке. Настя идет в угловую... Матрена Симанна сидит на полосатом матраце,— все, что осталось от материной кровати,— и при входе Насти торопливо прячет что-то за кровать. Возле нее лежат только что купленные вербы.

— Ты не прячь, я видела,— говорит Настя. — Печки надо бы протопить. Сыро у нас, знобит.

— У папеньки уже затопил Григорий,— приглушенно отвечает Матрена Симанна и, решившись, вынимает из-за кровати черную бутылку. — Мамашенькино место навестить пришла, умница? — робко сменяет она разговор.

Настя берет какой-то темный пузырек, оставшийся на столике, вертит его в руках и вдруг, почти кинув его обратно на столик, трет руки о передничек.

— Чего у тебя там?

— Где, умница?

— В бутылке...

— Мадерка в бутылке,— с унылым страхом сообщает старуха.

— Налей мне!..

Настя отпивает мелкими глотками и оглядывает комнату.

Как неузнаваемо переменилась эта комнатушка! Когда девочкой приходила сюда, казалась она местом страшной тайны, осиянной цветным горением лампад. Полуденный свет, бесстыдно ворвавшийся сюда теперь, обнажил всю ее убогость: оборванные, отопревшие от стены обои, нелепый гардероб в углу, похожий на двухспальную кровать, поставленную дыбом.

— Моли у нас много! — жалуется Матрена Симанна, прихлопывая одну в руках. — Вот все морильщика жду, не зайдет ли...

Настя уходит. Мысли приятно кружатся. Она накидывает шерстяной платок и бежит на улицу. Ее путь к Кате.

— Можно к тебе?

— Можно, будем чай вместе пить,— с холодком отвечает Катя.

— Нет... я так посижу, не раздеваясь! — говорит Настя.

— Тут тебе письмецо Семен прислал... чуть не забыла! Вторую неделю лежит. Он и тебе и мне по письму прислал... — намекающе смеется Катя, и Настя это замечает.

Настя берет письмо и вскоре уходит.

— Какая ты толстая стала,— говорит она уже в дверях. — Знаешь, ты, если и похудеешь, все равно толстой останешься!

...Все сильнее покрывались будни Зарядья какой-то прочернью. И раньше была в них чернота, но пряталась глубоко, а тут проступила вдруг всюду, словно пятна на зараженном теле. Где-то там, на краю, напрягались последние силы. С багровым лицом, с глазами, расширенными от ужаса и боли в ранах, Россия противостояла врагу. Все еще гудели поля, но уже железная сукровица смерти текла из незаживляемой раны... Только Настя да Дудин ощущали близкий конец. Третий, в ком могла бы столь же неугасимо полыхать тревога, был слишком поглощен собственными печалями.

...Метался Зосим Васильич. И как-то, еще летом, надумал искать последнего приюта в монастыре. Даже справки наводил стороной: можно ли, если все семнадцать тысяч, сумму всего быхаловского жизненного подвига, единовременным вкладом внести, иметь себе пожизненную келью для отдохновенья от жизни, скорби и труда? Но согласиться отдать все семнадцать — значило признаться в своей давнишней, первоначальной ошибке. Сделать это сразу Зосим Васильевич не решался.

Стали к Быхалову монахи ходить, тонкие и толстые, ангелы и хряки. Но у всех равно были замедленные, осторожные движения и вкрадчивая, журчащая речь. Иные пахли ладаном, иные — мылом, иные — смесью меди и селедки. Семья быхаловских запахов в испуге расступалась перед монашьими запахами, неслыханными гостями в быхаловской щели.

Однажды в конце октября сам монастырский казначей пожаловал, сопровождаемый двумя меньшими. Был казначей внушителен, как колокол, шелковая ряса сама собой пела о радостях горних миров, а руки были пухлы и мягки — гладить по душам пасомых. Весь тот день намеревался провести Зосим Васильич в тихих беседословиях о семнадцати заветных тысячах и о человеческой душе.

Спрашивал казначей, обдумал ли Быхалов свое отреченье от мира и тлена. Интересовался также, в процентных ли бумагах у Быхалова все семнадцать или просто так, кредитками. Грозил погибелью низкий казначейский баритон, журчал описаниями покойного райского места.

Гладя себя по волосам, повествовал казначей не слыханное ни разу Быхаловым преданье о Вавиле. Жил Вавила, и ел Вавилу блуд. Ушел в обитель, но и туда вошли грехи. Тогда в самом себе, молчащем, заперся Вавила, замкнувшись засовом необычайного подвига. Но и туда просочились, и там обглаадывали. И вот, в одно утро, бессонный и очумелый, ринулся Вавила на беса и откусил ему хвост. А то не хвост был, а...

— ...постигаешь? — и ласкал свою жертву темным повелительным оком.

И распалилась быхаловская душа, и уже примерял в воображении рясу на себя Зосим Васильич, и уже гулял в ней по монастырскому саду, где клубятся черемухи под девственным небом всеблагой монастырской весны. Там — забыть о напрасной жизни, забыть о сыне, сгоревшем от буйственных помыслов, там утихомириться возрастающему бунту быхаловского сердца.

Было даже удивительно, как неиссякаемо струится из казначея эта сладкая, густая скорбь... И вдруг икнул казначей; Зосим Васильевич вздрогнул и украдкой огляделся. Один из меньших монашков зевал, а другой вяло почесывал у себя под ряской, уныло глядя в окно.

— Что, аль блошка завелась? — резко поворотился к нему Быхалов.

— Новичок еще у нас... на послушанье, — быстро сообразил казначей, строгим взглядом укоряя монашка, покрасневшего до корней волос. — Из таких вот и куем столпы веры!..

— Ну, брат, как тебя ни куй, все равно мощей не выкуешь! — сказал резко Быхалов и встал, прислушиваясь.

В ту минуту над опустелыми улицами Зарядья грохнула первая шрапнель. Настя видела из окна: кошка сидела в под-

воротне и нюхала старый башмак, лежавший дня три в бездействии. Кошка улизнула, а Настя, отбегая от окна, еще успела заметить, как выскочил из ворот ошалелый Дудин, крича что-то, с руками, поднятыми вверх. Она видела: он перебежал переулок и скрылся за углом.

Зарядье казалось совсем безлюдным. Воздух над ним трещал, как сухое бревно, ломаемое буйной силой пополам. Только у Проломных ворот наскочил Дудин на какого-то в чуйке, бежавшего от ужаса приходящих времен.

— ...Кто? Кто паляет?! — возопил Дудин, пугая чуйку какой-то особенной восторженной решимостью лица.

— Ленин к Москве подступил... — прокричала та, отшатываясь от Дудина.

— Палят-то отколь? — всей грудью закричал Дудин, стараясь перереветь небо.

— ...со Вшивой горы... от Никиты-мученика! По Кремлю разят... — и побежала по кривым переулкам в глубь Зарядья, держась стены.

Дудин проскочил в Проломные ворота. По набережной мимо него быстрым точным шагом прошли юнкера. А он бежал прямо по мостовой, спотыкаясь и кашляя, прямо туда, за Устьинский, где пушки. Щеки его зашлись от бега синим румянцем, но горели глаза, как у побеждающего солдата. Никто его не останавливал, потому что и некому было его остановить.

Вдруг кровь сильно прилила к голове, и в глазах у Дудина помутилось. Он остановился и присел отдышаться на тумбу.

Вшивая горка стреляла, как вулкан. Отдельные всплески пушечных выстрелов соединялись между собой, как цепочкой, нечастым постукиваньем пулеметов. Начинался Октябрь...

Весь в холодном поту от бега, Дудин посмотрел вверх и почему-то вспомнил незнакомца в чайнухе, год назад. Вдруг в груди заклокотало и запершило в горле. Он отхаркнулся и плюнул перед собой. Мокрота показалась ему необычного цвета. Он отплюнул себе в ладонь и, притихнув, напуганно глядел на большие кровяные сгустки, плававшие в мокроте. Глядел он долго и как-то чересчур внимательно.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. АННУШКА БРЫКИНА ИЗМЕНИЛА

Над огромным, немеряным полем снежное безмолвие висит. Пришел тот вечерний час, когда останавливаются ветры дуть, не находя себе пути в потемках. И впрямь: три леса, плотных и черных, вышли на углы поля, три одинаких, неприступных, как три скалы. Зимние ветры,— сколько их, больших и малых, заплутало безвестно в густых мраках этих лесов, сколько порассеялось снежным прахом, сколько их в мелкие, вьюжные вьюны извелось!

А в сумерки эти ныне падал снег. Не крутясь, не волнисто, а медленно и прямо упадала каждая снежина, будто длинное, снежное протягивалось с неба волокно. На опушке стоять, спиной к ели,— каждому дано услышать легкое шурстенье проползающей зимы. И хоть несла каждая снежина кусочек света с собой, и было их много,— густели сумерки, одолевала ночь.

В сумерках проснулся ветер, к ночи разошелся вовсю. Он и над тремя лесами кружит, он и по дороге бежит — малоезженной, закругленной, словно прочеркнулась взмахом откинутой руки. Да он и без дорог: ветру везде путь. Будет время, будет лето, встанет звонкая рожь по месту снежного безмолвия,— никому и в ум не придет вспомнить, как свирепствовал здесь, в снежной глуши, ветер — хозяин ночного поля. А у хозяина в подслужье и волк, и мороз, и обманная метельная морока, а порой и самая человеческая суть. Ими правит хозяин, хлещет, как ямщик коней... Они-то и влекут за собой событие ночного зимнего поля.

Аннушка Брыкина Сергея Остифеича Половинкина из Гусаков домой везла. Путь длинный и скучный. Считали бабы

от Гусаков двадцать одну версту до села Воры. Бабья верста хоть и не длинная, да по времени и казенной версты длинней: мороз закрепчал, ветер озлился. Колко и резко стало Аннушке глядеть в острую путаницу расходившегося снегового самопляса.

Тут месяц скачливый, непрестанно поспешающий куда-то, прошмыгнул в дымных облаках. Он и глянул мимоходом на ночное поле, о котором речь. Дорога на мгновение прояснела.

Стали видны Аннушкины сани-ошевни, широкие, полны сеном: спать в нем. Так и есть — под овчиной и толстой, затверделой дерюгой полеживал в сене, укрывшись с головой, сам уполномоченный по хлебным делам четырех волостей, Половинкин. Ему тепло и мягко, укачали ухабы плотное тело Сергея Остифеича, а запахи согретой овчины и сена приятно щекочут ноздри. Они-то и склонили Половинкина в пушистый овчинный сон.

Мнится Половинкину жаркая сплошная несуразица. Не то сенокосная луговина, не то страдное поле. И на поле том — огромной широты — движется баб неисчислимое количество. А зачем они не косами машут, а серпами траву берут, невдомек подумать Половинкину. Да и не до дум тут: влажные запахи повянувших трав совсем с ума свели Сергея Остифеича кровь. Да и сознание необыкновенной своей должности кружит голову: ходить среди согнутых баб, неуклонно блюсти равномерное производство травяного жнитва, покрикивать время от времени: «Каждой травине счет! Каждой травине...» Да будто и нет никого в белом свете, кроме как Сергей Остифеич... Он, Половинкин, и есть ось мира, а вокруг него ходит кругом благодарная баба-земля.

Сам Половинкин в соку мужик. Он не молод, да и не стар, и не толст, и не тонок: во всех статьях у него мужская мера соблюдена. Волос у Сереги мягкий, играющий, каштанового цвета, бабий ленок. Лицо хоть и с припухлостями, зато взгляд победительный, взмах кнута в нем. Сколько бабьих сердец потаяло напрасной мечтой о Сереге!

В своем овчинном сне подкрался Серега к одной, да и щипнул, просто из удовольствия: «Не виляй, мол, баба... Бери траву веселей! Каждой травине счет!» Баба же обернулась да тырк Серегу в нос. Даже и обидеться не успев, чихнул Серега и очнулся.

Сенный стебелек, в нос заскользнув, определил окончанье половинкинского сна. Но, не успев еще сообразить толком эту

причину, вторично чихнул Сергей Остифеич и окончательно спугнул сладкую истому дремоты; потянулся, овчину пооткинув с лица, выглянул и вспомнил.

Ночь и сон. Вьюга с присвистом сигает через подорожные кусты... Ах да, в Гусаках ссыпной пункт ездил устраивать. Ночь и сон. Ах да, несется в самоплясе снег, а жаркая овчина славно хранит надышанное тепло. Вздремнул. Холодает, холодает к ночи... Экая темь! Ночь и сон.

Половинкин ворочает головой. Ветер ударяет в него целой пригоршней крупных снежин. Они тают и текут по припухшим от сна щекам. Память работает отчетливей. Теперь путь в Воры... готовиться к лету, уламывать мужика, уговаривать, что-де и городу нужен хлеб, грозить... А мужик недвижим, что пень,— какое на него уговорное слово сыщешь?

Сергей Остифеич кряхтит от неприятных воспоминаний, но преодолевает тяготы яви теплое благодушие сна. Ах да, и везет его в Воры Анна Брыкина, та самая, у которой муж затерялся в смертоносных полях. Та самая, у которой и бровь играет, и ноздря играет, и сама вся смехами переливается, как радуга. Закидывает глаза кверху Серега, за собственный лоб. И тут продолженье недавнего сна. Зад Аннушки, немилосердно утолщенный полушубком, на мешке, над самой Серегиной головой сидит. Серега смотрит секунду и кашляет с непоколебимой суровостью: вот так же он по хлебным делам мужиков уговаривает, так же и с начальством говорит.

Только Аннушке невдомек уполномоченская строгость: своим голова забита. Она дергает вожжи, понукает и чмокает, боясь заснуть и вывалиться в рыхлый, разбесившийся снег. А руки стынут и в варежках, а голова склоняется все ниже, пока не коснется подбородок жесткой, промерзлой овчины. И опять помахает кнутовищем, разгоняя застоявшуюся кровь, и опять рванет ошевни рослая брыкинская кобыла, не спешащая в нескончаемую, вертящуюся мглу.

— Уж и спать устал... расчихался! — обернулась Аннушка, хлопая варежками по коленям.

— Едем где?.. — вопрошает Сергей Остифеич и глубже нахлобучивает кожаный картуз. «Вот тоже, в этаком картузе все уши обморозишь! Не по климату такой. А без него нельзя: боятся картуза!» — Отпетово-то проехали?

— Да нет, я вéрхом поехала. Вéрхом верней. Я там дороги не знаю.

— Верст небось десять еще осталось? — хмурится Половинкин.

— Да мы шестнадцать считаем... — смеется Аннушка.

«Э, черт! Ну и должность! Мотайся тут, ровно дерьмо в проруби!..» — раздумывает Половинкин и пробует забыться. Ночь и сон... но сон уже не приходит. Выбирает на ощупь соломину и обгрызает ее зубами. Зубы у Половинкина белые, смелые, но двух передних недоставать стало после одного военного дня. Когда гневается Серега, резко свистят через зубную отдушину уполномоченские слова.

— Кто же ты теперь, вдова, аль как?.. — приступает к делу Сергей Остифеич, выплевывая соломину в проползающий снег.

— Ни вдова, ни девица, ни мужняя жена... — Аннушка сердится и резко дергает вожжу.

— Что же это ты так! Ведь этак даже как будто и нехорошо,— выражает сочувствие Сергей Остифеич.

— Совести в нем нету... — говорит Аннушка как бы про себя. — Только и наезжал четыре раза за все года! Зачем и жениться было! А полушалки да платья... к шуту ли они мне! С полушалками, что ли, я жить буду?!

— Неужели четыре раза?.. — просветляется Половинкин. — Вот голова! Меня б коснулось, так я, как лист, прилип бы, да и не отлипал вовек!

Аннушка сидит спиной к Сереге, и не видно, хмурится ли, рада ли Серегиной шутке.

— Ой ли? — насмешливо роняет она.

— Ан и в самом деле! Да коснись меня... — Половинкин так вздыхает, что кобыла прядает ушами и покорно убыстряет шаг.

Снова наблюдает Сергей Остифеич, как дымится и ползет дорога из-под ошевень. А тут в лесок въехали — здесь поутих ветер, не хлещет через край. Здесь ходко лошадь бежит, и звуков прибавилось: скрипят полоза, да еще селезенка бьется в лошадином брюхе, да еще осыпается снег с запорошенных ветвей, задеваемых дугой.

Целые охапки снега падают на Аннушку — не замечает, полна обидой на пропавшего мужа. Муж!.. А уж она ли его в думах и в письмах хоть на неделю не призывала! Врала даже, хоть на ребеночка льстилась вызвать. Все некогда. Деревянному мужу дороже жены рубль. Ай, много ли ты, Егор Иваныч, в банке накопил?

Аннушка круто поводит плечом, а кнут свистит злей и пронзительней.

— ...Скучно небось без мужа-то? Молодая, не жила совсем,— зудит Сергей Остифеич, метя как раз в Аннушкину печаль.

— Не тревожь,— обороняется через силу Анна. — Зачем бередишь? Чего тебе деревенская далась! У себя в городу дюжинками, гляди, считаешь.

Чуть не с колыбели знает все прямые и кривые ходы к женскому сердцу Серега. И уже напрямки идет, нещадно перекручивая ус:

— В городу! Рази у нас в городу такое добро пропадает? У нас строгий учет всему. Каждой травпне счет, а уж баба никак не затеряется. Например, я: я б тебя моментально под номер, да и выдал бы герою, вот. Рази же это путно, такой молодке пропадать!

Аннушка молчит, дорога длится нескончаемо. Серега продолжает:

— У меня вот тоже знакомая бабочка была, тоже Анна. Мужа у ней убили, так и высохла вся... В тридцать лет бабушкой кликали.

— Где его убили? — вздрагивает Аннушка, сторожко прислушиваясь.

— А вот на этой, на войнище на царской... Царь прикажет, а тысяча мужиков поляжет. Да что, убитому-то хорошо, отвонял, и не думается. А вот бабам маета. Я к тому, что ведь и твой, кажется, на войну ушел?

— Взяли... — не своим голосом отвечает Анна. — Может, уж сгнил где!

— И очень возможно,— играет Половинкин. — Ежели, к примеру, летом, так ведь они быстро изводятся.

— Зачем ты меня горячишь? Я тебе не жена,— смутно лепечет Аннушка. — Спи-лежи, скоро Воры будут.

— Да я разве сказал что? Мое дело стороннее,— пожимает плечами Половинкин. — Я только тебя пожалел.

И опять снега идут, снеговой самопляс и путаница. Балуется ветер снегом, пересчитывает, обсушивает каждую снежинку, словно готовит впрок.

— Слушь-ка, Анна... отчество-то забыл. Озябла поди, давай я поправлю. А ты на мое место, грейся!

— Ну-к ладно... — не сразу соглашается Анна, а голос ее сам собой просит жалости.

Она передает вожжи и меняется местом со своим седоком. Целые три минуты наполнены скрипом снега, оглобель да вязким хлюпаньем лошадиных ног. Снова в лесу, но дорога совпала с путем ветра. Метет и морозит, ночь и сон. Аннушка, залезшая под овчину, вдруг видит: уполномоченный, намотав вожжи на боковой тычок ошевень, подтыкает разлохматившееся сено.

— Куда тебе?.. — приподнялась Анна.

— Пусти, замерз весь,— отвечал Сергей Остифеич.

Все падал снег, и без конца тянулось поле, а лошадь сама, без понуканий, шла. Были Анна и Серега как будто одной и той же рукой выкованы друг для друга — оба рослые и сильные. Но вырасти б на Аннушкиной совести черному пятну греха, если бы на рассвете, когда убаюкала их овчина дружным любовным сном, не случилась смешная беда. На крутых поворотах всегда передуванье снега. Прикатался поворот и на раскате доходил до сажня. На нем покачнулись ошевни и стали на ребро. Небывалое дело: вылетели при этом оба спящих в глубокий снег. И когда охватило холодом сонную их разгоряченность, засмеялась Аннушка, засмеялся вслед за ней и Половинкин. А там, где смех веселый и беспорочный, там нет греха, а только биенье ключа жизни.

— Что же ты меня, баба, вытряхнула! — скалил дырку в передних зубах Половинкин.

— Сам, грешник, виноват! — смеялась Аннушка и заботливей укрывала Серегины ноги дерюжкой.

Не чуяла Анна греха в том, что променяла квологого, может, и мертвого, на живого и здорового мужика... Любовь их на лад шла, даже как-то слишком скоро свыклась Анна с положением невенчанной жены чужого мужа. А уж все село стало примечать, что зацвела второй любовью Анна. Но в глаза соседкам смотрела Анна без робости, не скрывала от осудительного взгляда растущего своего живота. Заметили также, что, и не потакая вредным стремлениям мужика к утайке хлеба, стал Сергей Остифеич к брыкинскому дому ласковей. Он и в дом к Брыкиным заходил, а однажды обозвал Аннушкину свекровь «мамашей». Ничего та не ответила, только пуще загрохотала ухватами, доставая кашу из печи.

Но по мере того, как возрастал Аннин живот и уходила зима, все больше угрюмилась Анна. Весна борола зиму, и уже выглядывал из брыкинской скворечни домовитый черноголовый скворец, днем носивший к себе разный пушистый сор,

вечерами свиристевший о многих веселых разностях: о весне, тающем снеге и о прочей птичьей ерунде.

Весенними вечерами сидела Аннушка на крыльце, неживым, запавшим взглядом глядела на раннюю прозелень деревенского лужка, на крылечный облупившийся столбец, на многие окрестные места, окутанные вешним паром, на безыменную букашку, проснувшуюся для ползанья по земле.

И лицо у Аннушки было такое, какие на иконах матерям пишут: грустное, полное тайны, суровое.

Воздухи, сырые, густые, тяжелые, были полны неумолчного гуденья от прорастающих трав в тот день, когда всплакнула Аннушка, сидя на крыльце. Уехал в объезд по волостям Сергей Остифеич, а разве дано невенчанной право не пускать любимого в дальние пути? Да тут еще ребенок придет, немоленый, незваный. Да тут еще муж придет, убитый, из сердца выгнанный давно. Аннушке ли, в которой упрямая бабинцовская кровь, нелюбимого мужа умаливать, чтоб приблудного ребенка за своего признал?

Свекровь в дверь вышла, поправила повойник, рябенький, как курочка, жгучим взглядом заглянула в Аннушкино лицо. Увидела, как растерянными пальцами перебирает Анна бахрому сносившейся ватной кофты, догадалась, и усмешка явилась на ее неумолимые сухие губы:

— Иди... Ужинать пора.

Промолчала Анна.

— На котором времени ходишь-то? — шепотом спросила свекровь.

— Пятым.

Аннушка встала, и вдруг потянуло ее к жизни. Она зевнула во всю широту своей здоровой груди, во всю сласть приходящей весны, и за себя, и за ребенка. Устало от постоянной печали сильное Аннушкино тело.

II. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ВОРЫ

...Не горячие ли Аннушкины слезы послужили причиной безвременного таянья снегов? Все зимнее заспешило уходить. И была одна расхлябанная пора: плакала земля ручьями, а дороги плыли вешними водами.

Уже тетерева играли по утрам, но вдруг переменилась погода. На Гарасима-грачевника мокрым, дрянным снежком помело, а к утру приударило морозцем. Одно лихо другого

злей: озимь, жалостно вымокавшую в низинках, заволокло в ту ночь хрусткой ледянкой. Стало скучно глядеть на озими, на желтые проплешины в синих бархатах вымокающих полей.

Начал ветер разгонять хляби, но все еще не умело солнце пробраться к земле. Земля всходила, как на дрожжах, и рассыпалась на ладони душистыми теплыми комьями. Пошел обильный пар. Он-то и завесил небо быстрым рваным облачьем. А тут еще дождички четыре дня шли. После них дикие сквозняки ринулись сломя голову обсушивать поля,— весна.

В один такой неласковый, тягостный день пришел к Ворам по обсохшей дороге простой неизвестный солдат. Совсем у него глаза провалились вовнутрь и были такие, как будто видит ими страшное бессменно — день и ночь. Болталась за спиной у него пустая солдатская сума, а на голове сидела собачья шапка, похожая на вымокшего, зябнущего зверька.

Видно было, что незамеченным хотел пройти. На виду у прохожих прикидывался хромым, подшибленным, а ночевал по-бродяжьи, где попало: на убогом задворке у крайнедеревенца, в развалившейся риге, сколоченной из одних щелей. А попадался по дороге случайный сена зарод — и там путешествующему солдату место. Приходил незваным гостем, не сказывался, уходил — некого было благодарить.

В Сускии пришлось ему хлебца под окошком просить — глаза закрыл повязкой, а лицо скривил без милости, чтоб не признали земляка. Так он и шел, стыдясь имени своего и званья, воровским обычаем, голодный и пустой, как сума его.

Вот он свернул с дороги, прошел мимо полуразрушенных барских служб, через вырубленную рощицу и еще лесок, обтянутый как бы зеленой кисеей, и вышел на опушку. Здесь был обрыв. Он зарос можжухой, а за ним распространялась уже знакомая солдату ширь. Стоял он тут долго, прежде чем догадался присесть на разостланную суму. Он снял с себя шапку, обнажая холодному дыханию апреля стриженую голову. Дрожь охватила его, и зазнобило ноги. Он вобрал в себя воздуху, вязкого и тучного, как сама земля, и стал глядеть.

Родимого села обширное поле лежало под ним на виду. В далеком низу, окаймленном отовсюду сине-бурыми полосками лесов, поднялось нагорье, главенствуя над всеми окружными местами. И нагорье это облепили избенки, как пчелки пенек, выдавшийся из полой воды. Они карабкались по склонам нагорья, чудесным образом повисая на скатах, они отбегали почти к самой речке, круто сломленной здесь пологим

мысом холма. Дымки шли, свидетельствуя о жизни, а солдату показалось даже, что и воздух отливал этим горьким домовитым дымком. То и были Воры — село, давшее жизнь солдату, самая родная точка на земле.

Ах, Воры-Воры, мать, воровская милая земля! Все, что было, все прах и сон, а ты единственная явь, незыблемо стоящая от века. Приедаются, видно, и твои не объемлемые умом пространства,— выехал из тебя твой сын в городскую тесноту. На Толкучем ларь купил и на том квадратном аршине пробесновался целые годы, силу свою выбесновал в круглую золотую выгоду. Было время — наезжал Егор Иваныч с бубенцами и тем чванливо хвастался, что мать свою накрепко забыл! А вот исчезла выгода, а рубли, как в забытой сказке, бараньими орешками обернулись вдруг. Обжевал тебя город, нутро вынул, трухой доложил, дал за верное подслужье тебе старую, вшивого цвета шинель: гуляй в ней, Егор, позабывший о матери!.. А мать не оттолкнет сына. Мать примет, каким бы ни вернулся: «Множься, Егорушка, нет на тебе против матери твоей греха!..»

Долго глядел с такими думами Егор Брыкин на родные места. Вдруг слезы нахлынули, хотел бороться с ними и не совладал. Он вывернул карман, надеясь закурить. Ничего в кармане не было, кроме мелкого махорочного сора, смешанного с хлебными крохами. Он вытряс его на ладошку и швырнул на ветер; тот подхватил и понес вниз. Егор проследил глазищами их полет, и вдруг жадная зависть охватила его. Отщипнув былинку молодого щавеля, стал жевать.

Мужики с сохами копошились на всей широте поля. Било их босые ноги апрельским сквозняком, а домотканые порты, раздутые ветром, стояли как бревна. Много ли оставалось до одуванчикова цвета, а там и сеять. Надо было, чтобы скорей расцветилась зеленями мужицкая полоса...

По стародавней привычке, попахав вдосталь, собирались мужики на межках потолковать и покурить, покуда обсушивал ветер взопревших лошадей. Они присаживались на что попало, наслаждаясь буйностью первовесеннего месяца, стряхивая с себя оцепененье долгих и душных зимних ночей.

В ту минуту, когда Егор Иваныч с горы спускался, отдыхали трое на ближней стежке: двое — балуясь махорочным дымком, третий — просто так отдыхал. Он-то, Савелий Пороtый, и заметил прежде других неизвестного солдата.

— Человек идет! — возгласил он, на самом любопытном месте обрывая рассказ о былой службе.

Гарасим-шорник, чернобородый и нестареющий — напоминанье о ловком цыгане, проезжавшем через Воры сорок семь лет назад,— поплевал на свои черные пальцы, обжигаемые тлеющим окурком, и воззрился на бредущего к ним солдата.

— Да,— в который уж раз рассказывал Савелий. — Как в девяносто первом году чествовали нас в Варшаве обедом... и я тогда в Пажеском корпусе состоял в денщиках...

— Не велико званье,— заметил Евграф Петрович Подпрятов.

— Не в званье дело! — взмахнул Савелий рукой и вновь откинул ее за спину. — Званье — это никакого влияния не оказывает! А лестно при человеке состоять. У него, по-нашему сказать, почетница, ровно барыня, шумит, а он ее почем зря кроет, явственный факт! Вино вот у них, можно сказать, что слабительное, не крепкое, одним словом,— но надпись не по-нашему...

— Ну, а насчет обеда-то как же? — вывел Савелья на прямую дорогу рассказа Гарасим, сидевший на земле.

— Обед? Вот те и обед. Одной посуды что перебили! Там у нас один князь с Кавказа был, очень такой... ну, одним словом, Носоватова моего он потом и прихлопнул. Так он, как блюдо, скажем, отъест, сейчас хлобысь тарелку о пол... Высокий человек!

— Ох ты, мать твоя курица! — захохотал Евграф Подпрятов, человек богомольный, со словом осторожный, восхитясь Савельевым рассказом; даже кривой глаз его усмехнулся.

— Да... — продолжал Савелий. — Вот мой Носоватов-князь подходит и говорит мне полным голосом: «Выпьем, говорит, за меньшую братию!..»

Тут как раз и подошел неизвестный солдат.

— Здорово, мужички! — сказал он, глядя исподлобья.

Гарасим косым взглядом обмерил солдатские отрепья, словно в памяти своей подобие такому же отыскивал. Не нашел и сказал:

— Здорово, сума. Правь мимо!

— Как же так, дядя Гарасим,— оскорбленно спросил солдат,— ужли не признаешь? А на свадьбе за моим столом одного вина небось рубля на три выхлестал... Да еще и взаймы брал!

— Не признаю. Голос знакомый, а признать не могу,— прогудел недовольно Гарасим и поглядел на лица собеседников, точно в них надеялся прочесть солдатово имя.

— Егор Иваныч! — взвизгнул вдруг Савелий и с чрезвычайной поспешностью протянул солдату руку. — Отколе ходишь? Вот уж и не думали, что вернешься. Аннушка-те... — Он сорвался и беспомощно почмокал губами.

— А что Аннушка? — насторожился Брыкин.

— Да все ничего... Одним словом, поживает! — в каком-то оцепенении выпалил Савелий.

— Издалека идем! — торжественно начал Брыкин. — Деникy отражал, да вот надоело... — Брыкин воровато подмигнул Гарасиму, но тот не ответил. — Как вам сказать, друзьишки, на двух фронтах помирал! Да ведь солдатскую заслугу разве кто в теперичное время оценит? Как переганивали нас в теплушках, разнылось у меня внутри... Что ж это такое, думаю, людей на мочало лущат! Не могу, да и вся тут. Не хватает моих сил!

— На что не хватает? — тихонько спросил Евграф Подпрятов.

— Жить по чужим указкам не могу,— прошипел Брыкин в ответ. — Не живой я разве, чтоб на мне землю пахать! В нонешное время покойнику втрое больше почета, чем живому...

Гарасим в ответ на это только кашлянул и пошел, не оборачиваясь, к сохе.

— Ты б уж лучше назад шел, а? — сухо намекнул Подпрятов, почесывая здоровый глаз. — Сказывано, строгости будут...

— Насчет чего строгости? — встрепенулся, как угорь, Егор Брыкин.

— Это он говорит, насчет дезертиров у нас плохо,— неожиданно тонким голосом объяснил Савелий. — Эвон, Барыков-то с братом тоже недозволенно вернулись. Зашпыняли их совсем свои же: зачем не убит, не поранен воротился. Уходи, говорят, из-за тебя и нам влетит! Ноне в лесах весь ихний выводок...

— Ты мне не накручивай,— мрачно оборвал Егор Иваныч, но все лицо его померкло. — Ты уж не меня ли за недозволенного принял? Да у меня, может, такой мандат есть, что вот съем всех вас и безо всяких объяснений! — И Брыкин тяжко и фальшиво захохотал. — Вон она, пуля-то... в себе ношу! — и со странной быстротой, задрав до локтя рукав шинели, протянул грязную правую руку Савелию. — На... щупай!

Савелий, опешив, боязливо коснулся пальцем того места, куда указывал Брыкин.

— Да,— поспешно согласился он. — Явственный факт... сидит!

— То-то и оно! — взорвался Брыкин. — Я грудью Денику отшибал! На, гляди... — Он распахнул шинель, сидевшую прямо на голом теле. — А пулька-то, вон она! — И с лихорадочной горячностью он хлопнул себя уже не по правой, а по левой руке.

Савелий заметил и опустил голову. Начинался дождик.

— Ну, пойду, пожалуй! Застоялась кобылка-те,— решился вдруг Савелий, кивая на западный угол неба, откуда ветер и где кружила большая черная птица.

— Дома-то все благополучно у нас? — остановил его Брыкин: недавнего оживленья его как не бывало.

— Дом стоит, ничего себе дом... — отвечал Савелий. — Дом как дом. Большой дом большого хозяина требует. Тимофеевна сказывала, венец подгнил да крыша стала течь. А так, дом как дом. Придешь — починишь.

— Я про жену спрашиваю... — терпеливо ждал Егор.

— Вот ты говоришь — жена-а! А кто чужой жене судья? Рази ты можешь мою жену судить? А я, может, не хочу, чтоб ты мою жену судил. Я сам моей жене хозяин! — И Савелий торопливо пошел прочь.

Брыкин тоже двинулся дальше. Но чем ближе подходил к селу, тем более слабела воля, такая сильная, когда из теплушки ускользал. Он ускорил шаг, на последнем заулке чуть не сбил с ног Фетинью, бабу злую, разговорчивую. Пес у брыкинского дома не полаял... «Сдох»,— решил Егор Иваныч.

Всходя на крыльцо, вздрогнул, когда половица скрипнула под ним. На крыльце остановился и окинул все привычно-хозяйским взглядом.

Большой упадок проступал отовсюду. Грязновато было, и лавка, собственноручно крашенная Брыкиным в цвет небесной лазури, была сильно порублена. «Корм свиньям рубили. Эк бесхозяйственно!» — осудил Егор Иваныч, скользя угрюмым взором дальше. Показалось, что нарочно кто-то, злонравный, надругался над красотою брыкинского крыльца. В хвастливых синих и розовых завитках резьбы недоставало целых кусков, местами облупилась краска.

Егор Иваныч перегнулся в палисадник и увидел в луже большой осколок резьбы, совсем уже почернелый, выбитый,

быть может, год назад. Озлясь, закусив губы, в порыве хозяйственной заботливости он обежал крыльцо, вынул осколок из воды и торопливо стал прилаживать его в выбоину. Уже не боялся, что кто-нибудь увидит его. Кусок разбух от воды и не входил в гнездо.

Брыкин скинул суму свою на крыльцо и так увлекся делом, что, когда недостало ему молотка, он своеобычно вбежал в сени... Здесь он и встретил Аннушку. Большая и усталая, как-то привычно страдальчески выпятив живот, она шла с подойником в руках прямо на мужа. Увидев, она выставила руки вперед и так стояла, расширив обесцвеченные беременностью глаза.

— Молоток-то где у нас? — нетерпеливо спросил Брыкин и вдруг заметил какую-то незнакомую доселе несуразность в Анниной фигуре.

Они стояли молча друг перед другом: она — пахнущая теплым, коровьим, он — оглушенный, блуждающий среди догадок, одна другой злее.

— Вот как! — сказал с раскрытым ртом Егор Иваныч и как-то зловеще снял с себя шапку. — Ну-к, в избу тогда пойдем. Там и разговор будет.

Она шла впереди, не защищенная с тыла ничем, покорная и сжавшаяся. Войдя, она поставила подойник на лавку и, так же не оборачиваясь, сделала четыре шага вперед. Там она прислонилась к печке и закрыла руками лицо, так что выглядывал сквозь пальцы только один круглый ее глаз,— готовая ко всему.

— Мать где?..— спросил Егор Иваныч, стоя у двери и блуждая сощуренными глазами, точно выбирал что-то пригодное руке. Вдруг он быстро пригнулся и выхватил из-под лавки круглое тонкое поленце и опять стоял, неподвижный, маленький, сухоростый, вымеривающий время женину греху.

— Преступленье закона! — звонко сказал он и, словно кто-то толкнул его, сделал шаг вперед, отводя полено за спину.

Аннушка все молчала, приковавшись взором к полену в мужниной руке. Когда же полено скрылось за спиной, она точно сразу на голову выросла, и лицо ее как бы распахнулось под сильным порывом ветра.

— Не дамся! — глухо, со стиснутыми зубами, закричала она. — Не дамся тебе! Это ты сам неплодный, холощеный... Меня корил, что у бабы брюхо пустует. А я вон какая. Гляди,

вон я какая! Ребеночка теперь рожу... На!.. — и наступала на него животом вперед, смеясь и плача, большая и страшная.

— Ну-ну, утихни,— бормотал оторопелый Брыкин. — Чего ты кричишь! Ну, зачем ты кричишь?

Он в замешательстве сел на лавку; губы его дрожали, и сам он весь дрожал, и полено дрожало у него в руке. Он был несравнимо жалок своим голым телом, видневшимся из-под шинели. Возражений на Аннушкин выпад у него не находилось.

— Люди-то видали, знают? — спросил он, кусая ноготь и глядя на косяк столба.

— Брюхо-те? — со злобой откинулась Анна. — А как же не видать? Ты меня брал — барыней обещал сделать!.. Кобыла рядом со мной — и та барыня! Батрачкой меня сделал. Как же людям не видеть, не слепые! Весь день на глазах у них!.. — Она всхлипывала в промежутках крика и слез не вытирала. — Зачем ты меня заманил, зачем? Ну, показывай, что принес... чего наслужил там, показывай!

Но Егор Иваныч уже отступал по всей линии. Все его рассуждения о жизни, о незыблемом счастье, о семье и человеческом достоинстве были смяты Аннушкиным гневом раз и навсегда.

— Ну что же,— вздохнул он, потерянно вдавливая пальцы в щеки себе. — Все, значит, напрасно... Сам себя обворовывал, а так Егоркой Тарары и остался... Тарары! — засмеялся он. — Все в тарары и просыпалось!..

— Шинель-то хоть сыми... — нечаянно пожалела его Аннушка.

Но он повернулся и вышел на крыльцо. Здесь он постоял с полминуты, осунувшийся до потери сходства с самим собою. Потом подошел в угол крыльца и с маху, коротким, злым ударом сапога ударил в деревянную резьбу крылечной стенки. Кусок резьбы, слабо хрустнув, вылетел наружу. Егор Иваныч перегнулся через край и с яростным удовлетворением смотрел, как, упав в лужу, заволакивалась резная завитушка серой, взбаламученной грязью.

— Ух ты! — пуще взъярился Егор Иваныч и, уже не помня себя, бил тем же березовым поленом по резьбе. — А-а, розовая? — сквернословил он и остервенело уничтожал то, на что когда-то ушел целиком весь восторг небольшой его души.

Может быть, и от всего дома оставил бы Егор Брыкин только кучку деревянной трухи, самому себе на посмеянье,

если б не остановила его новая встреча. Мать бежала к крыльцу по глубоким деревенским грязям, спотыкаясь и скользя.

— Чего ты, мошенник, чужое-то крыльцо сапожищами лупишь! — кричала издали мать.

Он повернулся к ней, но все еще она его не узнавала.

— Я-т тебе, вшивому... — Она не докричала, пораженная бессмысленно-стеклянным взором сына. — Егорушка, голубеночек, ужли ж ты жив?..

— И березу подрубят, так она жива... — надрывно вырвалось у Егора, стоявшего перед матерью с голой грудью.

— Поесть-то нашел себе, голубеночек?

И, повинуясь властной материнской ласке, Егор Иваныч заплакал тут же, сидя с ней вместе на ступеньке крыльца, обо всем, что было в молодости пущено прахом. Мать тоже плакала с ним, что до лихой солдатской ямки докатилось сыновнее яблочко. Об Аннушке они не сказали ни слова, но оба думали о ней...

Пасмурный день тот гудел. Трепались в ветровом потоке голые сучья, оседал снег. На галерейке сигнибедовского амбара, свесив босые ноги вниз, сидела Марфушка Дубовый Язык, известная на всю волостную округу полудурка, и пела негромко и тягуче, в тон ветру. Всю свою дурью жизнь провела Марфушка в глупых мечтаньях о несбыточном женихе. Ее и дразнили, и гнали за это, а она сама слагала ему песни, неразборчивые и темные, как глухонемая речь. Так и теперь: высоко подоткнув грязный подол холстинной грубой юбки, сорокалетняя и растрепанная, она болтала ногами и гнусила что-то, понятное ей одной.

— Мешок-то твой, что ли? — тихо спросила мать, подбирая со ступенек Егорову суму.

— Мой... — Егор Иваныч с тоской взглянул на сигнибедовский амбар, на Марфушку. — Чтой-то гнусит-то она, ровно отпевает кого? — пожаловался Егор Иваныч.

— Да ведь как!.. — вздохнула мать и морщинистой ладонью вытерла себе лицо. — Глупому всегда песня.

III. ИСТОРИЯ ЗИНКИНА ЛУГА

Завязался узел спора накрепко, и ни острая чиновная башка, ни тупая урядницкая шашка не могли его одолеть. Шли от узла толстые, витые, перепутанные корешки. Шли в спокой-

ную глубь давнего времени, в людей, в кровь их, в слово их, в обычай их, в каждую травину, из-за которой спор.

Давно, в то смешное, ленивое время, когда еще и второй Александр на Россию не садился, обитал богатейший помещик в этом краю, Иван Андреич Свинулин. По преданию, был Иван Андреич этакий огурец с усами, сердитый и внушительный. Было в его лице понемногу ото всех зверей.

Владел он наследственно и безответственно обширными угодьями, лесами, прудами, лугами, деревнями и пустошами и всем тем, что водилось в них: и зайцами, и волками, и комарами, и мужиками, и водяными блохами. Жил Свинулин сытно, привольно и громко: зайцев и волков собаками травил, комаров просто руками, до водяных блох никакого оброчного дела ему не было, мужики же ему пахали землю.

С самой юности бороли барина Свинулина страсти. После женитьбы выводил тюльпаны самых неестественных кудрявых сортов. После смерти жены, стареющему, приспичили бабы и голуби. И долго рассказывали деды внукам, как на крыше, в одном белье сидя, видный на всю округу, махал Иван Андреич шестом с навязанной на него бабьей новиной... Под конец жизни приступила к Ивану Андреичу страсть редкостная и пагубная — гусиные бои.

В начале зим сзывал соседей со всего уезда Свинулин, и приезжали гости с домочадцами, собачками, попугаями, дурами, гайдуками и, конечно, гусаками, потому что и на соседей перекинулась гусиная зараза. В Николин день рассаживалась гостиная публика по сторонам большого деревянного круга, сделанного наподобие обыкновенного сита, с тою только разницей, что были стенки сита простеганы ватой и обшиты красным бархатом. Гусак — птица нервная, твердого места при бое не выносит, от твердого места рассеивается и теряет злость, вследствие чего и получается меньшая красота боя. До этого путем собственного ума и долгого опыта дошел Свинулин.

Как-то раз приехал на Никольские бои соседний помещик, человечек, похожий как бы на лемура, с той еще особенностью, что чудилось, будто у него под подбородком дырка и оттуда борода круглым торчком; человечек некрупный, но занозистый, одним словом — Эпафродит Иваныч Титкин. Друг дружку невзлюбили с первого взгляда Свинулин и Титкин, но виду не показывали... Шел бой своим чередом. Всех приезжих гусаков вот уже три года побивал, играючи, на первом же круге хозяинов знаменитый гусак, наполитанский боец Нерон; пти-

ца замечательная, почти вся голая, плоскоголовая, чистоклювная, в весе не уступала и тулузскому, а по красоте шейного выгиба только с лебедем и сравнить. Глаз у Нерона был особенной, бирюзовой яркости, а если принять во внимание, что количество злостности в гусаке определяют знатоки как раз по голубизне глаз, легко догадаться, что был Нерон пылок, как целый батальон становых.

В самом конце боя привстал тихонько Эпафродит Иваныч и сказал посреди всеобщей тишины:

— Виноват. Не дозволите ли вы теперь, Иван Андреич, моего гусачка к вашему подпустить? Гусачок мой имеет китайскую породу, бойцовую. Богдыханы таких выводят трудами всей жизни, чем и прославлены. Очень любопытно, как Нерон с ним расправится.

Иван Андреич подусники себе расправил и одобрительно засмеялся. Особенностью Ивана Андреича было говорить одними согласными.

— Пжалст,— говорит. — Сделт эдлжение, Пфродит Ванч! Как вашму щлкперу прзванье?

— А прозванье моему щелкоперу Сифунли... Пушистенький, весь в покойника отца. Родитель его еще при жизни два фунта перьев одних дал да пуху полфунта...

— Что ж ты их, щипваешь? — загудел Свинулин. — Пдушки нбиваешь?

— Исключительно с научной целью, для занесения в родословную книгу!

На другой день, после ранней обеденки, и увидели гости китайца Сифунли; тоже полулебедь, светло-серый с прочернью, темно-бурые полоски украшали ему тыльную часть. Голос имел Сифунли грубый, мяса на Сифунли не так уж значительно, зато на носу черная шишка размером с небольшое яблоко. В яблоке этом и находилось средоточие гусиной ярости. Но, что сразу же отметили все присутствующие, позвоночник у Сифунли был еле приметно искривлен, в виде буквы S. Эпафродит Иваныч гусаковых качеств не утаивал и с веселой готовностью сообщил, что это нарочно так богдыханы делают, чтобы придать разнообразие бойцовскому удару,— один в упор, а другой как бы и плашмя.

Нерон, выпущенный к Сифунли, очень ерепенился, глядел на урода с насмешкой,— по крайней мере, одна мелкопоместная барынька утверждала, якобы видела, как усмешка пробежала поперек гусиного лица. Китайский же противник

его даже как будто зевал со всей богдыханской спесью, выражая этим неохоту свою состязаться со свинулинским франтом.

Бой начался. Оба огромные, они сходились, как две тучи. Целых два часа, считая перерывы, длился бой. Китаец сердился, а Нерон с ним шутил, клевал его и справа и слева, и даже, перескочив на другую сторону, клюнул ему в совсем непредвиденное место.

На такое глядя, гости замолкли. Только Свинулин и Титкин, сидя рядом, синели от приступов хохота, подъелдыкивая друг друга:

— Что эт ты крхтишь, Пфродит Ванч?

— А это я кашель, извините, задерживаю!..

В это самое время Сифунли налез на Нерона вплотную на средине сита и ударил его семью мелкими ударами. Нерон упал замертво. Его унесли чуть всего не переломанного, негодного даже к столу. На могиле его впоследствии посажен был тюльпан свинулинской выводки, названный именем покойного Нерона.

Иван Андреич стал страдать от тоски по Нерону и однажды унизился до того, что собственнолично поехал к Титкину за Мочиловку, на его непутные бугры. Там он предложил купить китайского гусака, хотя бы и за большие деньги, хотя бы и серебром.

— Стрдаю... — вздохнул Свинулин.

— Живот пучит? — ехидно переспросил Титкин.

— Нет, от Нерона. Прдай китайца!

Титкин засуетился:

— Для соседа — в сраженье готов идти! — вскричал он и помахал ладонью. — А гусачок у самого у меня гвоздем в сердце сидит... Глазунью из китайских яиц могу сделать, очень, знаете, стихийно получается, то есть вкусно! А продать не могу...

— Прдай, Пфродит,— молвил Свинулин.

— Не могу-с. А вот оборотец один имею предложить!

— Гври,— просипел Свинулин.

Титкин погладил свинулинское колено.

— Голикову пустошь нужно мне заселить, а мужичков у меня нету. Не дадите ли мне сотенку на вывод, а я вам за это, сверх платы, Сифунли с тремя Сифунлихами на собственных руках предоставлю! Пользуйтесь тогда хоть пареным, хоть жареным, хоть живьем...

Свинулин только посвистел, но уже за порог не мог выступить без Сифунли. Кстати: у Свинулина мужик водился в тысячах, зажиточный и плодовитый. При подобной игре сердца сотня мужиков была Свинулину не расчет. Завтра же разделил Иван Андреич село Архангел пополам и половину, разоренную, ревущую, послал к барину Титкину заселять Голикову пустошь.

Иван Андреич, будучи человеком неукротимых страстей, чтил Сифунли, как живого человека, содержал в гусиной роскоши. Через год, на Никольские же бои, привезла та, мелкопоместная, простого арзамасского гусачка-белячка, с обыкновенными оранжевыми плюснами. Захватила с собой барыня не сильного, но и не слабого, чтоб вдоволь поиздевался над ним Сифунли, прежде чем лишить жизни... Этим она хотела подольститься к Свинулину, через посредство обширных связей которого положила устроить карьеру сына своего, Петюши. На второй день боев выступил Сифунли против захудалого арзамасца и поплыл на него, стоящего в недоумении, как огромный, затейливый корабль. Сифунли зашипел, расправил крылья, а Свинулин даже пошутил:

— Мня, дрнь, пердразнивт!..

Только когда уж некуда стало арзамасцу отступать, взъершился арзамасец, выкинул шею вперед да, клювом попридержав китайца за шишку, хватил его наотмашь тяжелым своим крылом. Барыня, владелица арзамасца, закричала и повалилась на пол, подражая в этом Сифунли, убитому наповал... По тому же народному преданию, Свинулин стал после того чахнуть и умер в одногодье.

Особых вредов от его смерти никому не случилось, а сынок на отцовских похоронах даже потирал руки и прищелкивал языком. Поминки по отце справлял он Сифунлихами. Но не в Свинулине и не в Сифунлихах тут дело.

Титкинские земли, а следовательно, и Голикова пустошь, примыкали с востока к владеньям Свинулина, именно — к огромному свинулинскому лугу. Назывался луг — Зинкин луг. Граница между владеньями шла по Мочиловке-реке. После шестьдесят первого года весь тот луг отошел к селу Архангел, ибо было такое стремление — наделять мужиков из помещичьих земель. Проданные же Титкину получили и титкинские земли: кувырки да бугры да овраги, перелесицы да жидкие, нежилые места. От Зинкина же луга не получили титкинские ни вершка, хоть и лежал луг всего в полутора верстах от их

села, прямо под окнами. Выходила явная несправедливость, потуже затянулся свинулинский узелок.

Тут как-то, лет через десять после освобожденья, послали титкинские мужики к бывшим свинулинским людей с ходатайством: не отдадут ли миро́м хотя бы третинку заветного луга, хотя бы и не даром? На свинулинских даже смехота напала.

— Нет,— говорят,— не дадим. Вы — титкинские, на титкинских землях. Не видать вам Зинкина луга!

Посланные люди говорили сперва со смиреньем:

— Нехорошо, землячки. Из одного села, из Архандела, повелись мы с вами. Не наша воля, а злая барская, что выкинула нас на комариные пустоша. Уступите хоть пустяковинку. От нас всего полторы версты, а от вас пятнадцать цельных! У вас земельных статей уйма, а мы на титкинских ровно на пятаке живем.

Свинулинцы свое ладили:

— Не просите, не дадим. Нам чужого добра не нужно, а свое крепко держим. И слез не лейте. Ваша слеза тонкая, нашего крепкого слова не подмоет. Мы и сами, эвона, лесами-то, что бородой, обросли. Ишь лезут! — и махнули рукой на леса. — Там, на лугу, и теперь-то укос самый незначительный. А лет через двадцать и совсем будет кажному едоку по три раза косой махнуть.

Обиделись посланцы:

— Что ж вы нас покосов наших лишаете? Все равно что воровское ваше дело. Мы вас ворами будем звать. Воры вы и есть!

А тем хоть бы что:

— А вы — гусаки. Вас барин на гусака выменял. Гусаки вы, хр-бр-гр...

Так разделился Архангел на Гусаков и Воров. А тут перепись подошла, закрепились прозванья сел в больших царских книгах, привыкли и смирились мужики, стали: одни — Гусаки, другие — Воры. На прозвания смирились, но не в луговой тяжбе. Возник спор, и спор родил злобу, а из злобы и увечья, и смертные случаи вытекали, потому что и до кос неоднократно доходило дело.

А был обширен и обилен Зинкин луг, четыреста пятьдесят десятин, на все четыре стороны вид — небо. Обтекала его Мочиловка, непересыхающая, родниковая, питающаяся из дальних, за Ворами, болот. Место поемное, а над ним солнце

ходит, знойкое и неистовое. Отсюда в покосы бывает на Зинкином лугу дикая от цветов пестрота, слабому глазу глядеть нестерпимо. Мутит голову парное цветочное дыхание, слабого может даже и убить. А на том берегу, на высоком мочиловском бугру, сидели Гусаки и зарились на уворованную землю.

Стали судиться Гусаки, послали несчетно бумаг, да терялись где-то в зеленом сукне слезные гусаковские прошенья. Воры же, едва про гусаковские бумаги проведали, тотчас наняли прохожего сутягу, и тот им настряпал целую кучу таких же. Их и послали в противовес. Врут-де Гусаки, нет в Зинкином лугу пятисот пятидесяти, а всего триста пятьдесят. А это черная зависть их триста пятьдесят до пятисот пятидесяти возвела. Даже приложена была просьба, чтоб наказали господа судьи непокорных Гусаков за злость, за ябеду, за беспричинное тормошенье высших властей.

Нырнула воровская бумага в зеленое сукно, там и заглохла. А уж время прошло; деды, которые дело затеяли, уже и померли, и травка на их могилках извелась вся. А писали Гусаки и Воры каждый год по бумаге. Не было выхода из тяжбы, как из горящего дома. Стало от бумаг припухать зеленое сукно... Кстати подошло: в те времена, когда третий Александр государил, выискался человек незанятый. Он бумаги вынул, дело обмозговал и рассудил так: послать на Зинкин луг двух землемеров из губернии, чтоб обмерили и дознались, которая сторона врет.

Приехали землемеры, поставили вехи и приборы свои по линиям Зинкина луга, стали записывать. Записав, принялись клинья рулеткой обмеривать и колышки забивать. Маленькие гусаковские ребятишки, четверо, в Мочиловке купались. Один, самый голопузый, заглянул в трубу — понравилось, потому что все вверх ногами стоит. Насмотревшись, спросил у землемера, который ему в трубу дал глядеть:

— А это что?

— А это рулетка называется.

— А она долга у тебя, дяденька?

— Рулетка-то? — засмеялся землемер. — Долга, малец, долга.

— А до Таисина дома хватит? — спросил мальчишка, обсасывая палец.

— И до Таисина хватит... — рассеянно согласился землемер, записывая в книжку.

Помчались шустрые ребятишки, как четыре резвых ветра, наперегонки, рассказать матерям, какая у дяденек длинная железная веревка,— они ею луг меряют, и еще труба, в которой все наоборот стоит. Матери сказали отцам гусакам, а гусаки тут же порешили не допускать обмера.

— Не допустим! — кричал слепой старый дед Шафран, стуча костылем оземь; звали его Шафраном за медовый цвет плеши. — Земля не ситец, ее мерять нечего. Они, может, тыщу намерят, а на нас штраф за враку наложат. А намерят меньше, так и совсем ничего нам не останется, кроме как речка — утопиться в ней с горя. Не дадим!..

Не успели землемеры третьего колышка забить, как увидели: бегут на них гусаки с косьем да с вилами. Землемерские ноги длинные, как циркули; ими только и спаслись землемеры от увечья, но приборы свои оставили, потому что дороже казенного имущества собственная голова.

Отсюда новое дело началось — об оскорблении должностного лица в неурочное для того время. Новую бумагу захлестнуло зеленое сукно, и опять все затихло до поры.

Но долго еще служила немалой забавой мальчику Акиму Грохотову трубка от землемерского прибора... Всем желающим увидеть баб и девок в опрокинутом состоянии давал он смотреть в трубу, а плату Аким принимал всяко: бабками, яблоками, гвоздями и почему-то галчиными яйцами, которые копил для неизвестных целей. Под конец бабы и девки, завидев проклятую трубку, стали придерживать подолы во избежание срама, но приток мзды от этого не уменьшался...

Вдруг на тринадцатом году жизни умер мальчик Аким от черной оспы. Трубка перешла по наследству от Акима к Петьке. Петька же зародился неудачливым игроком — променял трубку, уже облупившуюся до неузнаваемости, соседнему Пиньке на четыре гнезда бабок. Пинька был туп, как свая в воде. Он стеклышки из трубки повыковырял гвоздем, трубку же насадил на палку. Палку эту отобрал у него отец его Василий, прозванный Щерба, и употреблял ее, когда отправлялся ходатаем по мирским делам.

Пинька уже поженился, как и младший его брат, а Василий облунел весь, а дед Шафран помер, сказав в свой последний час: «Стерегите землю, ребятки!» — не двинулся ни на вершок спор о Зинкином луге. Все по-прежнему закашивали Гусаки воровские покосы и напускали на них скотину. Воры ловили скотину, приводили во дворы, требовали выкупа за по-

травы. Один раз тридцать голов изловили Воры и постановили взять по рублю с головы.

А те говорят:

— Мы на рубль-те пуд хлеба купим.

А Воры говорят:

— А мы продадим скотину вашу, гуси адовы.

А Гусаки:

— А мы вас пожгем, блохастых. И рожь вам сожгем.

А Воры:

— А мы вас кровью зальем...

Кончилось потравное дело боем, причем и бабы, и мелкие ребята приняли участие,— а гусаковские бабы драчливы, как куры. Пришлось Ворам отпустить скотину запусто, так что напрасно окривел в драке Евграф Подпрятов, богомол и грамотей, напрасно потерял ребро вороватый мужик Лука Бегунов.

...В военный год порешили Гусаки на большом весеннем сходе в последний раз спосылать ходоков к Ворам, не продадут ли хоть четвертинку проклятого луга. Выбран был за главного Василий Щерба — у него и голос и рост длинны и остры, как шилья, хоть хомуты Василием шей. Дали в придачу Василью пятерых мужиков: двух братьев Тимофеевых за неописуемую складность в рассуждениях, да еще Ивана Иваныча, хромого мужа косой жены, первого горлана на весь уезд, чем и гордился, да еще для подкрепления на случай обиды Петю Грохотова, племянника Щербы, и Никиту-шорника, человека русого и медвежьей силы.

Совпало, что и в Ворах и в Гусаках по шорнику было, оба быковаты, оба богатырского сложения, только Гарасим — черный, а Никита — белый. В остальном же как будто передразнить хотел один другого своим обличьем. Едва завидели воры враждебное посольство, обиделись:

— Эх, королей наслали! Да у нас и самих такие-то водятся. Шорником надумали удивить. Шантрапа ваш Никита, вот что!

Да и попали гусаки не во благовременье. Воры на молебствие от мочливой весны собрались. Поп Иван Магнитов вышел на озимое вымокающее поле в сопровождении мужиков и уже разложил на походном налое священнообиходные предметы, приставив к изгороди богородицу и животворящий крест, как вдруг заметил: по бездорожному полю люди идут гуськом.

Гусаки подошли и покрестились для порядка, хоть и слы-

ли за богоотступников, а Щерба разгладил седоватую бороду и выступил вперед:

— Здорово, мужички, богу молясь!

Молчат воры, уставились кто куда — в чужую спину, в лужу под ногами, в богородицыно, небесного цвета, плечо. Не ведает смущенья Василий:

— Дозвольте, мужички, напредь разговор душевный с вами иметь. А там уже вместе помолимся. Мы вам и петь подтянем!

Тут от воров Евграф Петрович вышел коротким шажком.

— Нам с гусаками разговору нет,— сказал он, кривым взглядом окидывая тусклое небо, несущееся в неизвестность весны. — Какой нам с вами разговор? Мы гусиного языка и понимать не можем!..

— А почему бы это и нет? Запрещено, что ли? Аль долгогривый вам наговорил? — пихнул Щерба словом, как шилом, прямо в Ивана Магнитова, торопливо стаскивавшего с себя ризу, и еще крепче оперся Щерба на клюку свою с землемерской трубкой вместо ручки.

— Нет, запрета нам не дадено,— Подпрятов отвечал. — А долгогривого нам не скверни. Мы за долгогривого и постоять можем. А лучше уходите, пока живы, на собственных ногах. Не вводите нас во грех перед пречистой! Мы когда рассердимся, очень может неприятность выйти.

— Какой ты фордыбак стал, Евграф Подпрятов! Мужик ведь... — вступил в речь Иван Иваныч, гусак. — Али пороли тебя мало по пятому-те году? Ох, жаль, я тебе в прошлый раз второго глаза не вычкнул, бесу блохастому...

Евграф при этом вздохнул поглубже и обернулся ко всему миру, ища защиты и поддержки, и уже засучивал рукава. Гарасим-шорник, ни слова не говоря, схватился за кол и, выдернув его из земли легко, как перышко, сделал из него себе подпорку на всякий случай. Братья Тимофеевы на этот раз дело спасли.

Выкатились братья, зажурчали, как два тихих, ровных ручейка.

— Не серчайте... — взвились жаворонками братья. — Вы не серчайте на Ивана Иваныча, мужички! Он у нас с грехом, одним словом — игра природы!.. А мы к вам с добрыми речами пришли: поглядите, эвона, нет у нас за пазухой ножей. Очень мы народ-те тиховатый, главное — простой, как мы понимаем все как есть участвующие дела... — пели братья согласным хо-

ром, завидя улыбки на угрюмых лицах воров. — Коне-ешно, Зинкин луг... Зинаида Петровна была баринова угодница... с кучером они здесь были пороты, конешное дело, а потом и утопли совместно в речке от безвременной любви. Мы вам не перечим... Одним словом, молчим. Владейте Зинкиным лугом бесперечь!

— Да мы и владаем! — сумрачно заметил Гарасим, перенося подпорку свою из правой руки в левую.

Петя Грохотов при этом только носом задвигал, дожидаясь своего череда. Никита широко и благодушно улыбнулся.

— Погоди, погоди, Гарася,— пели хитрые братья. — Не мешай яблочку цвести, чужому глупому разуму высказаться! У каждого, миленок, разума свое слово есть, а без слова — тогда чурка простая выйдет! Мы вам и говорим: владайте... потомственно владайте, косите, сушите, наше вам почтение!.. А только вот,— тут братья разом переступили с ноги на ногу и разом поправили одинакие картузы,— земли-то у вас эвона, моря и реки! — И братья дружно взмахнули на вымокающее поле рукавами зипунов. — А у нас делянка-то — бороне узко, не пройти! Мы и хотим любовно с вами!.. И винца выставим, будьте покойны... кажной собачке по чарочке! У нас теперь самогон гонят очень замечательный, без запаху. А с медком — так ровно мадерца!

— Кончай, юла, бормотню свою. Мир дедова не отдаст! — крикнул резко Лука Бегунов, мужик с правым веком ниже левого; сам косноязычный, он злился на невиданное красноречие братьев Тимофеевых.

— На мясо вас продать, дак и то таких денег не насбираешь, сколько наш луг стоит,— съехидил старый Барыков, протирая рубахой глаз.

— Мадерцу-то мы и сами того, тинтиль-винтиль. Вашей не уважит,— проворчал губами степенный Прохор Стафеев, сельский староста, доныне молчавший потому лишь, что держал на руках образ Николая-чудотворца.

День тот был пустой и склизкий. Низкие облака дымились. Падали скоса на богородицыно плечо крупные капли обманного дождя. Ветер охальничал, залезал мужикам в порты, попу под рясу, бабам под подолы. Знойко было в поле...

— Ну, только ведь вот вопрос,— повысил голос Щерба. — Вы уж лучше б продали, клейно бы вышло! Мы ведь вот уже неделю как скотину на лужок выгнали!..

— Уж как ни верти, один кандибобер выходит... — похохотал на высоких нотах Иван Иваныч.

— Да как же это так?.. — визгнула баба бабам. — Как же это так выгнали?!

— Кнутиками выгнали, касатка... кнутиками, как обнакнавенно! А вы как, оглобельками, что ли? — язвил Иван Иваныч, попрыгивая на месте. — Кнутиком подстегнешь, она и бежит, скотинка-те...

Гарасим-шорник молча вышагнул из толпы.

— Так, что ли, вы ее подгоняете? — спросил он и бешено взмахнул колом.

Ивана Иваныча как не бывало, а на его месте стоял, спокойно посмеиваясь, гусаковский шорник.

— Брось кол-те! А давай так, на любака! — сказал Никита, на лету выхватывая у Гарасима кол.

Он бросил его в сторону и полновесно ударил несогласного своего тезку по ремеслу в грудь. Тот шатнулся, тряхнулся и быком пошел вперед. Они сцепились намертво, обвившись руками, и покачивались, грузно обминая взмокшую, взбухшую землю, точно лез из земли необычный, четырехногий гриб. Сплетенье их стало так плотно, а круженье так быстро, что возможно было их различить только по цвету рубах, не вынесших напряжения тел и поползших клочьями по плечам.

— Друзьишки, стой прямо... Не выдавайте! — взревел поросячьим визгом Иван Иваныч, скача вокруг неподвижного Щербы.

Друзьишки и без того не дремали. Стороны сходились для свирепого, неравного боя, числом шестеро на тридцатерых, зуб к зубу, грудь на грудь, как волки из-за волчихи. А земля, черная, вздувшаяся комьем, покорная, требующая семени в себя, томилась и млела под оловянным небом запоздалой весны.

Отец Иван, устрашась, наскоро сматывал с себя епитрахиль и вытряхивал остатки ладана из кадила, когда подбежал к нему дьякон с засученными рукавами и с шестериной в руке.

— Дозволь, батя... повозиться с ними, а? — выпалил он, ворочая покрасневшими глазными яблоками.

...Вместе с дьяконом у дерущихся остались и иконы. Ими тотчас же завладели гусаки и пустили их в ход. Этим разъярились воры. Они лезли плотным скопом на гусаков, загнанных в крохотную лощинку и все еще отступающих, кричали, грозились, взмывали к небу толстые и тощие кулаки.

Те, напротив, отбивались молча. Никита все еще не устал ломать Гарасима, а Гарасиму приятно было размять сгустевшую за зиму кровь. Василью Щербе очень по руке пришелся посох его с землемерской ручкой, работал он им, как цепом. А Петя Грохотов, хмельной и статный, вдохновенно и легко и часто невпопад поигрывал костяными кулачищами, смехом скаля ровные свои и уже разбитые в кровь зубы. Братья Тимофеевы, наоборот, работали мелко, всегда впопад, пустого тычка не было, не смеялись, а журчали, как два весенних ручейка. Недаром весенние-то и камушки в себе влекут! Бой все расходился.

Так они до сосняка дрались. Потом, перейдя дорогу, березняк идет,— они и там дрались. Иван Иваныч, завладев богородицей, высоко держал ее в руках, стоя на пригорочке с очумелым лицом. И как полез на него Григорий Бабинцов, размахивая крестом, он и хватил Григорья богородицей по темени. Богородиц в том лапотном краю на лафетинах пишут, а лафетина — сосновая доска, полуторный квадрат двухвершковой толщины, вес — по погоде. Григорий Бабинцов высунул язык, постоял и рухнул замертво... Тут лишь отпустили гусаков.

Григорий Бабинцов так и не оправился, зато вскоре разрешился извечный спор. Стукнуло второй революцией, полетели дедовы лады вверх тормашками. Распалось зеленое сукно, и обнажились горы мужиковской бумаги. Новый человек, из приезжих, подошел к столу, посмотрел в бумагу, и пало на сердце ему сказать так: «Отдать весь Зинкин луг Гусакам. У Воров и своего добра с излишком».

...Даже и сами Гусаки смутились такому скорому окончанию вековой тяжбы. Был послан ходоком в уездный совет улаживать беду Василий Щерба. Надел Щерба кафтан порваней, взял посох с трубкой и пошел.

— Как же вы это так, товаришши,— сказал он в уезде,— с маху рубите! У нас дело кровное, ему скоро век станет. Вы уж пообсудите его как следует, по закону!..

— Так ведь закон-то кто? — засмеялся тот, в уезде. — Вы сами да я в придачу, вот и закон! Мы и отдали вам весь луг. Ведь нужен же вам Зинкин луг?

— Это уж как есть,— грустно почесался Щерба. — Нам без луга такая точка зрения подошла, что хоть ложись да помирай!

— Так в чем же дело? — спросил товарищ, вытирая слезы, проступившие от смеха. — О чем же хлопочешь-то, старина?

— Да как же,— обиделся за весь мир Щерба. — Сто лет спорим, сколько голов пробили... А ты пришел да тяп одним почерком пера. Люди, смотри-ка, осудят. Мы-то молчим, мы что!.. А вот что Воры скажут?.. Ты уж отруби, товарищ Ворам-то десятин хоть с полсотенки, чтоб не обижались!..

Товарищ думал быстро. Он покачал смешливо головой и приписал в уголке бумаги: «Селу Воры выдать из Зинкина луга двадцать пять десятин обрезков».

...Тогда-то, подобная нарыву на старой ране, и взросла обида у воров.

— Это они нам милостыньку выдали! — кричал на сходе Прохор Стафеев и топотал сапогами. — Адова родня! Да если нас, тинтиль-винтиль, со всеми нашими животами похоронить, так и то двадцати-то пяти не хватит... Это нарочно гусаки клювоносые подстроили. Бросим-де кость собакам, пускай грызутся... Ничего, смиримся, мужички... В карман не спрячут, останется!..

Отсюда идет последняя распря. Одно село горой стояло за новую власть, другое выжидало любого случая отомстить за отнятые покосы. Об этом не говорили, но этого не забывали ни на час. Даже перестали устраивать рождественские стенки на Мочиловке, куда нарочно ездили биться с гусаками, не щадя живота и кафтана. К тому времени, где мы, нет гусаку ворога злей вора, нет злей вору ворога, чем гусак.

...В довершение всего были присланы на святой уполномоченные по разверстке — Серега Половинкин и Петя Грохотов. Оба — исконные гусаки, друг на друга похожи, как братья. Оба в кожаных тужурках, рослые, победительные. С ними полдюжины солдат наехало. Затихли Воры, покосились на винтовки, лукаво перемигнулись с окрестными деревнями.

Как-то раз пошутил Афанас Чигунов Сереге Половинкину, уполномоченному:

— Здорово, товарищ вполовину намоченный! Смотри, как бы тебе совсем у нас не вымокнуть!..

Сощурился Серега на Афанаса и пощупал наган. Кстати сказать, и правда: имел Сергей Остифеич, кроме баб и хорошей одежи, немалое пристрастие к винишку.

IV. СЕРГЕЙ ОСТИФЕИЧ ДЕЛАЕТ ШАГ НАЗАД

Понемногу стал приглядываться к деревенским делам Егор Иваныч. Все оставалось по-прежнему: шевелилось село, как муравейник на пригреве, втягиваясь понемногу в водоворот природы и каждое действие свое сопрягая с солнцем. Нежной ступью май проходил по зеленям, а ночи дышали густой и клейкой березовой прохладой. Приближалось время страд.

Со злым исступленьем, захваченный майской спешкой, накинулся Брыкин на распадающееся хозяйство. Куда ни обращал взгляд, везде он натыкался на гниль, прах, дырку, мышеедину. В омшанике пол закис и разлохматился, а во дворе верхний настил похилился и провис, точно брюхо у сенной клячи; подгнивали венцы. «Развал, совсем развал...» — ожесточенно шептал Егор Иваныч и, не остыв еще от вчерашнего пота, бросался с топором на разросшееся дырье, сам себя готовый извести на латки. А дырки все лезли на него, стремясь доконать, а он оборонялся от них с утроенным рвением и топором и рубанком. Даже и во сне виделись ему дырки...

Егор Иваныч сделался резок и неразговорчив, а на вошедшего не вовремя соседа замахнулся даже. Только и спасла соседа неожиданность: баран просунул голову в развалившийся плетень и заблеял так, будто уговаривал: «Бросьте вы копошиться, Егор Иваныч! Во всякую дырку не наплачешься».

От черноты мыслей своих прятался в работу Егор Иваныч. Ночью все ждал, что придут и возьмут его ночные люди. Днем — сторонился и людского глаза, и людского смеха, страшась людского сочувствия об Аннушке. С нею ни разу не заговорил Егор Иваныч с памятного дня прихода. А она, истомившаяся в бессловесной тоске, с сокрушающей злобой ловила каждый мужнин взгляд. Сердце ее, готовое к гибели, изнывающее от бабьей тревоги, покорно тянулось к Половинкину, как ночная тля к огню. Иной вечер, завидя на селе Сергея Остифеича, прямо шла на него, покачивая живот, мучась от стыда и страха. Он сворачивал от нее в проулок, прижимался к плетню, но изовсюду она выгоняла его жалующимся взглядом.

— Возьми ты меня, Сергей Остифеич, из брыкинского дома,— говорила она, злобная и кроткая. — Как мать тебе буду, ходить за тобой буду. Заместо собаки возьми, дом сторожить. Гляди, что из меня стало!

Безответно щурились зеленые Серегины глаза, и только курносый нос Серегин, затерявшийся в румяных припухлостях

его обветренного, с красноватыми прожилками лица, казалось, сочувствовал Аннушкину горю. Подергивал витой ремешок нагана Серега, глядел поверх крыш, поверх деревьев, куда-то в неживую пустоту. И опять молила Аннушка:

— Другая у тебя, знаю. Что ж, слаще она? Медом обмазана? И я до тебя, до гуменного черта, хороша была. В девках красовалась — женихи все пороги обшаркали. Я их гнала, для тебя сохраняла. И не такие были, а ласковые, хоть мосты ими мости... Ну, говори, какая ж она — черная?.. красивая?.. молодая? — и тормошила Сергея Остифеича за плечо.

Отмалчивался и порывался уйти Сергей Остифеич, а однажды, разгорячась, заговорил:

— Эх... схлестнулись мы с вами, Анна Григорьевна, в непутный час! И как вы этого не понимаете, что всякое на свете имеет свой конец! Допускаю, я всем люб, потому что всем нужен. Я обчественный человек, служу обчеству. Меня и то уж товарищи в уезде попрекают,— бабник, мол. Могут, конешно, и накостылять. А какой я бабник? Конешно, есть у меня любопытство к женщине, какая она, одним словом. — Сергей Остифеич в раздражении потер себе нос. — Липнут ко мне бабы, ну, прямо хоть усы сбривай! Ведь до чего доходит-то! Марфутка Дубовая пристала намедни и ко мне и к Петьке: возьмите меня который-нибудь. Я, говорит, девушка очень хорошая. Чуть не пристукнул я ее тогда... А на вашем месте, Анна Григорьевна, плюнул бы я на себя, то есть на меня. Гоняйся, мол, хахаль, за своими любами, а я, мол, выше тебя стою... у меня, мол, муж!

— Сам с ним спи, коли нравится,— гадливо засмеялась Анна. — А дитё свое куда я дену? В исполком отнесу? — И качала головой, осатаневшая и опасная. — Ах ты дрянь-дрянь! Что ж ты со мной делаешь, в омут гонишь?

— Пропустите меня, Анна Григорьевна, к исполнению служебных обязанностей,— сказал в этом месте разговора Сергей Остифеич и, пооттолкнув, пошел прочь, но походка его была уже не прежняя, играющая, фельдфебельская, а какая-то ускоренная иноходь.

С этого удара преломилась надвое Аннушкина душа. Перед мужем затишала Анна, жадно ждала его окрика: гнев сулил прощение. Егор молчал, уединяясь в работу, травя жену молчаньем.

Даже свекровь пожалела Анну,— оценила баба бабью же изменную тоску. На задворки, после пригона скотины, пришла

мать к сыну; пилил с утра какие-то плашки Егор. Подойдя, мать почесала переносье.

— С чего это ты распилился тут в темноте? Лучше бы вон сковородник насадил или лопатку... Хлебы эвон нечем доставать.

— Поддержи вон тот край,— приказал сын, останавливаясь вытереть испарину со лба; слышалось в его голосе и неутолимое желание чьего-нибудь сочувствия, и вместе с тем предостережение от него. — Вот допилю...

— Аннушка-те... — начала было мать, коленом придавливая полунадпиленный брус.

— А ты молчи!.. — взвизгнул сын, на всем ходу останавливая пилу, даже скрипнула. — Вы, мамынька, коли не хотите со мной дружбы терять, вы со мной об этом не заговаривайте. Чтоб это в последний раз! Тут, мамынька, вся жизнь обижена. Вся кровь, мамынька, горит, а вы прикасаетесь...

— Да ведь как, Егор, молчать-те! В дому как в гробу. Да ведь и что мне, разве ж я сужу? — испугалась она, увидя устрашающие глаза и дрожащие губы сына.

Он допилил и, сложив разделанные брусья в угол, принялся отстругивать один из них. Мать стояла возле.

— Кто ж так делает?.. Сперва пилил, а потом стругаешь. Наоборот надо,— заметила мать. Она помолчала, наблюдая сына, и, подобрав мгновение, торопливо заговорила, пригибаясь и заглядывая ему в лицо. — Егора, а Егора!.. Ты б ей хоть уж волосы нарвал аль кулаком бы маленечко... Что ты ее молчаньем портишь? Не портил бы, не плохая ведь.

— Уйди! — закричал Егор и с маху ударил рубанком по самодельному верстаку. Со времени прихода мало поправился Брыкин на домашних хлебах, только как-то припухла нездоровая, вялая кожа его лица; тем страшней было его лицо в бешенстве.

Мрак повис над брыкинским домом. Рос Аннин живот, шептались люди, поспевали травы, подходил неостановимый удар. Вдобавок ко всему не знал Егор Иваныч, кто стал ему поперек дороги к жене. У матери спросить совестился. «Стороной дойду!» — думал Егор и все метался с топором и гвоздем, растравляя себя сбивчивыми догадками. Пробовал через мужиков добраться до жениной правды; но слался Митрий на Авдея, а Авдей спихивал на Евграфа — Евграф-де сам видел. А Евграф молчал, как ушат с водой. Видно было, что боялись мужики задеть кого-то. Все же одно время думал Егор на

воровского председателя Матвея Лызлова, пастушьего сына. Но и тут не вышло: всего четыре месяца как женился вдовевший Матвей.

Только к Троице разрешилось Егорово недоуменье. Понадобился Егору Иванычу матерьял для деревянного ремонта. Было бы ему в лес и ехать, как все, но не решился. А вдруг накроют: «Кто ты таков есть, лесной вор?» — «А я Егор Брыкин». — «А кто ты есть таков, Егор Брыкин?» — «А я есть сын своих родителев». — «Ага, родителев сын? Значит, дезертир? Кокошьте его, товарищи!»

Рассудя это со здравым смыслом, отправился Брыкин за разрешением в исполком. В исполкоме и ждала его правда.

V. У ЕГОРА ИВАНЫЧА ЗАКРУЖИЛАСЬ ГОЛОВА

Жара стояла, как в печи, и напрасно ошалелые от зноя куры искали уцелевшей лужи, чтоб попить, помочить гребешок и опаленные лапки. Солнца как будто даже и не было, средоточие жара находилось в самом воздухе. Висела какая-то солнечная лень и тонкая желтая истома над Ворами.

Когда приближался к исполкому Брыкин, встретился ему на полдороге Афанас Чигунов, шедший с косами. Он поглядел на Брыкина внимательно, но не спросил, здоров ли, далеко ли зашагал.

— Вот к ним иду... Лесу хочу попросить для капитального ремонта,— само собою сказалось у Брыкина, и он остановился по необъяснимому стремлению задержать свой приход в исполком.

Афанас, в ответ на это, прикинул коротким взглядом Брыкина и остановился, уткнувшись глазами в рассохшуюся, цвета вымытого пола землю.

— Как глядеть!.. Ясно, дерево — не колосина, за пазухой незамеченно не унесешь,— уклонился Чигунов и поковырял косьем ссохшийся катышок конского навоза. — А только... пошто ж тебе по доброй-то воле туда идти? — И он кивнул головой, намекая на что-то, Егору давно известное.

— Да чего ж мне и дома-то сидеть? — загорячился Егор Иваныч. — Что ж я, губитель какой или кулак там? В Красной Армии был, а выйти из дому и не позволено! Пулю буржуйскую в себе ношу... — добавил Брыкин робко, но места, где пуля, уже не указал.

— Пуля — дело не маленькое... гнет, одним словом, обремененного труда... — лениво согласился Афанас, выковыривая из колесины навозного жучка. Русые волосы его, добела обожженные солнцем, свисали на лицо. Брыкину хотелось заглянуть ему в глаза, за скобку волос, знает ли или только напрашивается на бутылку угощенья. — Вот, тоже сказать, и волк... — сказал вдруг Чигунов, поднимая глаза.

— Какой волк?.. — нахмурился глупому слову Егор Иваныч. — К чему у тебя волк?

— Волк-те? А вот у отца зарок был: не затрагивай волка попусту, а уж бросился, так прямо в шею кусай.

Брыкин пристально глядел на Афанасово лицо. Лоб у Афанаса был большой и тяжко висел над несоразмерно маленькой, какой-то бабьей, нижней частью лица. Глаза высматривали из глазниц хитро и зорко, только они одни и посмеивались. Брыкин догадался, о чем думал Афанас.

— У меня вот таким же манером... братишка недавно прибыл. С Андрюшкой Подпрятовым... приятель тебе? Я к нему разом — пачпорт покажи. У него тоже, пачпорт-те, вишь, берестяной, а beresто-т с березы еще не слуплено... Да и береза-то еще не выросла! Я им обоим и наказал: гуляй, говорю, в лесах. Лес человеку очень, говорю, пользительно. Вырой себе ямку и живи в ней.

Брыкин озлился и насильственно заулыбался.

— Должно, шарик у меня не работает. Ты прости, дядя Афанас, а только речь твоя мне не по разуму! И куда ты клонишь — не пойму. Опасный ты, дядя Афанас, человек!

И он крупным, нарочитым шагом дошел до исполкомского крыльца. Исполкомский дом, когда-то сигнибедовский, рублен был на старозаветный манер, неистовствовала пестрота раскраски. У крыльца стояли, привязаны, две лошади, правая — статная кобылка под седлом. «Не вернуться ли?..» — тоскливо мелькнуло последнее соображение. Но, ощутив на спине у себя насмешливый взгляд Афанаса Чигунова, Егор Иваныч, грохая сапогами, поднялся на крыльцо и с остервенением распахнул вторую, в сенях, дверь.

Его охватила духота тесной каморки. Вокруг стола, за которым бойко поскрипывал пером семнадцатилетний парнишка, председателев сын, стояли мужики. Их было шестеро. И у всех шестерых на лицах было написано озабоченное непонимание, даже виноватость. У одного из них как-то особенно понуро выглядывал грязный клок из дырки на штанах.

Окна были закрыты. В мутное стекло, густо засиженное разными насекомыми, гудливо билась озверевшая синяя муха. Она искала выхода, но выхода ей отсюда не было. Отсутствовал здесь обычный избяной дух, и воздух, какой-то серо-желтый, пахнул чем-то махорочным, солдатским.

Егор Иваныч прошел мимо и уже без прежней решимости взялся за скобку следующей двери.

— Вам куда, товарищ? — сорвался с места председателев сын, второпях бросая ручку на стол и изобразив возможную строгость на безусом своем лице.

— Да я, Васятка, к папаше твоему... Хочу вот леса попросить, не даст ли,— откровенно признался Брыкин и весь стал какого-то палевого оттенка.

— Тут Васяток нет, тут общественное место,— бесстрастно отразил паренек. — И папаш тут тоже никаких не имеется! И вообще, товарищ... — Он не договорил, охваченный пожаром нестерпимого смущенья.

— Ну, уж прости дурака,— съязвил Брыкин, манерно кланяясь в пояс. — Не знаю уж, каким тебя благородием и свеличать! Люди, сам знаешь, темные!.. В отдалении живем! — Брыкин так смешно подергал всем туловищем, словно вытряхивая себя из себя самого, что мужики, все шестеро разом, засмеялись, лениво и добродушно.

— Я тебе не благородие, Егор Иваныч... как мы все обитаем землю: трудовой, одним словом... — путался Васятка. — И потом, эта дверь в цейхгауз ведет, а к председателю вот сюда! — И он сам отворил перед Брыкиным дверь.

— Садись уж, записывай... трудовой! Сенокос ведь! — сказал тот, с дыркой на штанах.

— Ты нам вот зимой поболтаешь, дремоту разогнать,— прибавил беззлобно другой.

Егор Иваныч слышал это, но уже не смеялся вместе с мужиками. Он пролез в дверную щель как-то боком и остановился посреди комнаты.

Здесь было покойно, просторно и хорошо. За открытым окном стояли яблони в цвету: Сигнибедов был хозяйствен. Отраженное в глянцевой зелени яблонь солнце было так сильно, что и на лицах людей, и на всех немногих предметах здесь смутно и приятно поблескивал прохладный зеленоватый отлив. Эта зеленоватость и придавала комнате какую-то необычную чистоту, вначале даже непонятную для глаза. Впечатление

чинности создавалось огромной литографией Ленина, висевшей в красном углу.

У левого окна, закрывшись газетой, сидел большой размерами человек в гладких военных сапогах. Лица его не видел Брыкин, зато виден был толстый перстень на крупном пальце, придерживавшем газетный лист. Брыкин не обратил на него особенного внимания, более привлеченный другим. Этот другой, военный комиссар соседней волости, разморясь от жары и изнемогая от зевоты, забавно ловил мух на собственном колене. При появлении Брыкина он как раз бросил обескрыленную муху под лавку и, встав, закурил папиросу, торчавшую у него за ухом, в запасе.

— Ну, я поехал, Матвей Максимыч,— сказал он, вытискивая сквозь зубы струйку дыма. — Я к тебе вечерком заеду, жара спадет... В Попузине-т все Петр Васильич сидит?

— Петр... — сказал председатель и рассеянно позевнул.

— Ну вот, я тогда к Петру Васильичу поеду.

Сам председатель был бос и сидел за столом, на котором поверх вороха газет лежала крохотная восьмушка серой бумаги. В нее и вписывал Лызлов тугие свои соображения, тыча время от времени пером в чернильный пузырек. Писал он медленно, водя по бумаге с нарочитой осторожностью, точно боялся неловким нажимом порвать бумагу, причем дыхание он задерживал, так что порой прорывался из его мощной груди тоненький, приглушенный свист. Было чудно́ и хорошо наблюдать за ним, как он дрожащей от силы рукой преодолевает восьмушку бумаги. Даже и Егор Иваныч, остановясь перед столом, почуял какую-то непреодолимость в пастушьем сыне. Он подождал, пока Лызлов не дописал до конца.

— Чего тебе? — спросил Лызлов, тяжело дыша разинутым ртом на печать, чтобы отчетливей приложилась к бумаге.

— Да вот лесу бы мне, Матвей Максимыч. Пятерику бы штучки три... — заторопился Брыкин. — Разрешеньице бы!

— Лесу,— задумчиво сказал Матвей Лызлов. — Откуда же я его дам тебе, лесу?..

— Да из лесу! Ясно дело, не из речки же... — кинул Брыкин, вытирая пот с лица. — Я сам и съезжу.

— Из лесу... — повторил председатель, так нажимая на печать, что где-то в полу хрустнуло. — Ну вот... — Видимо, и Лызлова одолевала солнечная истома. — Пущу я тебя в лес, а ты там уйму нарубишь. А ведь мне отчет давать. Спросят: где вот с этого пня лесина?

— Да мне хоть сухостойного... Вон еще у школы горбушинник-то гниет. Его и дай! А мне и не пилить,— уныло вздохнул Егор Иваныч, кивая куда-то за окно. — А то бы я и сам срубил... Лес-то, что трава, прет!

— Сколько же тебе надо лесу? — спросил председатель, пряча печать в карман широченных, жухлого цвета штанов.

— Мне бы жердей для сушила да мелочи, скажем... Пятеричку тоже лесин пяток... — осмелев, начал перечислять Брыкин, но Лызлов не дослушал.

— Заявление напиши,— определил Лызлов. — На какой тебе расход лес, занятье свое укажи и кто ты такой, я тебя не знаю!.. Одним словом, там тебе Васятка расскажет.

— Неужто ж забыли вы меня, Матвей Максимыч? — обидчиво поершился Егор Иваныч. — Брыкина, Ивана Гаврилыча, сынок я! Как вы пастушонком, извиняюсь, с отцом своим бегали, мамынька наша, извиняюсь, все шутили, что в печку вас спать положит. Мамынька нам и сказывали... — Очевидно, память у Брыкина была крепче председателевой.

— Ладно уж... Поговаривают о тебе! — нахмурился Лызлов, уткнувшись в новую восьмушку бумаги.

Брыкин, как близко ни касался его лызловский намек, не дослушал. Человек, сидевший за газетой, опустил газетный лист, и Брыкин в нем узнал Сергея Остифеича. Они встретились глазами, и Половинкин, внезапно смутясь, вновь укрылся за газетой. Впрочем, от Брыкина не так-то легко можно было отделаться. Егор Иваныч на цыпочках перебежал в половинкинский угол. Но не смущенное лицо Сергея Остифеича, а нечто совсем другое и неожиданное привлекло брыкинское внимание.

Одновременно сюда вошли все шестеро давешних мужиков.

Чувствовалось, что принесли они какое-то смятение, даже возбужденность, даже гнев. Волнение их разом передалось и Брыкину, — он задышал усиленней, как перед скачком. Мужики стеснились к председателеву столу.

— Да что ж это, Матвей Максимыч, сынишше твое с нами делает? — яростно возгласил передний мужик с черными блестящими волосами.

— Прямо дух вон! — объявил, быстро моргая, другой.

— Как мы на торфу работали по весне, то есть девки наши, одним словом... — пискливо и звонко объяснял третий, нечесаный. — Нам сказал заведующий-те, что-де с тебя, Про-

копий, гужа не потребуют. А ноне, в самый покос, опять в подводы тащут! — Он налезал на председателев стол, шумно хлопая по ладони кулаком, точно в ладони и сидел торфяной заведующий. — Это нам, Матвей Максимыч, не подходит! Мужики — они доверчивы, зачем, скажи, их омманывать?! Мужика не нужно пхать, мужик пригодится. А то ведь мы пойдем счас туды, на фабрику, и трубу уроним, чтоб не было заблужденья... как от трубы все идет, одним словом.

— И уроним, явственно, что уроним, — твердо повторил коренастый, охромевший в прошлую войну, Ефим Супонев. — Что ж такое! Совсем, значит, зааннулировать нас хотят. А мы не дадимся. Мы до самого Ленина дойдем... Товарищ, скажем, все с чем боролися и к тому пришли?.. Нам каждая подвода не ко времени — все равно что кровь пролить...

— Во-во, в кровь, в кровь! — не дослышав по глухоте, наскакивал из мужиковской кучи какой-то, самый маленький по росту.

Лызлов, ничего не понимая, вскидывал глаза то на одного, то на другого, а те все напирали, суя слежавшиеся бумажки в председателев нос.

— Погодите, погодите... — начал Лызлов. — Конечно, государство не имеет против вас заднюю цель. А насчет этого вы к заведующему и обратитесь. Не имел он права вам таких бумажек выдавать, чтоб освобождать от гужа.

— Да ведь он уволен, заведующий-те... — вылез задний.

— Уволен он! — басовито сказал крайний справа, в коротких сапогах, тоже бывший солдат. — Мы уж ходили, там ноне другой сидит.

— Нам ходить некогда... Мы тебе доверили, ты нам и отвечай! — прокричал старик с дыркой в штанах.

...А Егор Иваныч тем временем вел свою острую игру с Серегой Половинкиным. Он забежал справа, но тот и газету перенес вправо. Тогда Егор Иваныч перебежал влево, но и газета, соответственно, передвинулась влево. Тут Егор Иваныч привстал на носки и заглянул поверх газеты. Лицо Сергея Остифеича вздрагивало подобиями молний, как небо перед бурей, а на лбу проступил пот.

— Ты что, ровно муха, на меня лезешь? — огрызнулся Половинкин, и руки его, вдруг ослабев, сами опустились на колени вместе с газетой.

— Пиджачок-то... — не своим голосом прохрипел Егор Брыкин в самый раскрытый рот уполномоченного, приседая

в согнутых коленях,— перешивали пиджачок-то?.. Аль и так подошел?! — и протягивал палец, порезанный вчера и теперь обмотанный грязной тряпицей, прямо к своему пиджаку, сидевшему на Половинкине и правда как-то подозрительно.

Пиджак этот был куплен Егором к свадьбе, куплен с запасом на возможное брюхо и рост, в нем и венчался, хороший пиджак, синий с искоркой, сохранялся под нафталином в Анниной укладке.

— Что ж ты этим хочешь сказать? — подгибая напрягшуюся шею, уставился в Егоров перевязанный палец Половинкин. — Украл я его, что ли?! Сама же твоя и подарила мне... — Он метнул просительный взгляд на председателя, но тому с мужиками было только до самого себя. — Возьми свой пиджак, коли нужен... Он к тому же и тесен мне, в плечах теснит... — неловким голосом предложил Половинкин, делая движения, точно жег плечи ему Аннин подарок, и вытер лоб ладонью.

— Что вы! Что вы!.. — замахал на него руками Егор Иваныч, как в припадке безумья, перегибаясь в пояснице то туда, то сюда. — Денно и нощно за вас, благодетелей, бога молим... что посетили вы сирую домуху мою... не погнушалися! — Он с надрывом ударил себя в грудь и одновременно смахнул с губ пену неистовства. — Осеменили, можно сказать!.. Носите... носите на здоровьице пиджачок мой!

— Ну, полно, братец, перестань... Охота тебе по пустякам расстраиваться!

Половинкин высился, как гора над комаром, досадливо звеневшим перед глазами. Все лез комар:

— Погоди! Трепачком заставим вас ходить, животишко мне лизать станешь... Гусак жирный!

— Не доберешься, пожалуй,— пробовал посмеяться Сергей Половинкин, пробуждаясь от своего каменного оцепенения.

— Что ж, петушиное слово знаешь, что ли... что и не доберусь до тебя?.. — ярым шепотом издевался Брыкин. — Хлопушек твоих, думаешь, побоимся? — кивнул он на наган и ручную гранату, подвешенную на ремешке к половинкинскому поясу.

— Не в хлопушках, братец, дело, а высоко, братец ты мой, поставлены! — затеребил усы Половинкин, признак того, что гневался.

— Кем же ты, батюшка, поставлен? — прикинувшись старухой, прошамкал Брыкин. — Богом, что ли?..

— Чертом! — гаркнул, окончательно озлясь, Половинкин и, показав Брыкину язык, прошел в дверь.

Второй конь, статная кобылка, принадлежал, видимо, Половинкину. Через минуту с улицы донесся до Брыкина мерный его топот. Егор Иваныч успел добежать до окна. То, что он увидел, еще больше взъярило его. По пустынной и пыльной улице, залитой неистовым солнцем, уезжал Половинкин. Худущая подпрятовская собачонка надрывалась от лая, вертясь у лошади в ногах. Сергей Остифеич махнул хворостинкой, кобыла рванулась вперед, а собачонка оторопело замерла перед облаком пыли, побитая и растерянная.

Мужики все еще гудели, но уже тише. Матвей Лызлов звучно отчитывал Васятку за не в меру ревностное ведение дел. Васятка глядел мрачно.

— Декрет был про гуж,— в десятый раз оборонялся Васятка. — Третий пункт!

— Третий есть, значит, и четвертый будет! — наступал отец.

— Нет там такого... — все больше румянился Васятка.

...Полдневная жара стихала, но все — и избы за окном, и лица мужиков, и белая председателева рубаха — все было кумачово-красным для выпученных Егоровых глаз; по всему бегали одинаково юркие кружочки головокружения. Даже прохладная зелень яблонь, нагретая зноем, испускала теперь на Егора моргающий красный свет.

Только когда отошел шагов на сто от исполкомского места, пообдуло с него начинавшимся ветерком гневную истому.

VI. ВСТУПАЕТ СЕМЕН

Вскоре еще одним солдатом прибавилось в Ворах.

Последние восемь верст пришлось хромать солдату в ночное время — влекло его неудержимо домой. Был этот солдат громоздкого роста, и на дорогах не напрасно косились люди на его большое лицо, на его нескладный можжевеловый костыль — этакая разбойничья кочерыжка. Поистрепался в жаре военных неурядиц, но и теперь видно было: истовое дитя воровской стороны, костяк широкий, поместительный, есть где сердцу ходить.

Оттого, что приходил он с другого края, чем Брыкин, попадались ему и места иные: лесные, неоткрытые; идти было приятно по холодку. Приятно было возвращаться из тревожных городских зыбей в свою зеленую глушь, где — вон она! —

наступает неудержимая лесная лавина, где — вон они! — полянки, не топтанные, кажется, ни человеком, ни конем. Но давала себя знать подраненная нога, залеченная лишь наполовину. Отзывался каждый десятый шаг судорогой на его лице, а на каждом сотом останавливался отдохнуть. Ладно еще, что никогда не бывает утомительна кладь путешествующего в одиночку солдата. Дойдя до опушки, он присел на пенек.

Ночь шла на убыль. Небо прожелтело легонько с восточной стороны, в нижнем слою походя на новину, новокрашенную ольхой. Стояла настороженная тишина, словно всякое прислушивалось из глубины своих нор, с высот своих гнезд к неуловимому началу восхода. Яблоками пахла превосходная та пора, точно горы их были навалены где-то поблизости. Вдруг зарделись земные закраины, заголубела желтизна. Похолодало на одно мгновение, потом воздух вздрогнул — ударили по нему первые быстрые лучи. Не сразу, но вскочил один нечаянный лучик и на письмо, которое разложил солдат у себя на коленях.

Тут разом заворошился лес: все живое запищало, закричало, засвистело, полезло, громоздясь и вопя, на широкую солнечную волю. И месяц, гость ночи зачарованный, не спешил уходить, хоть и сгонял его с неба умножающийся свет.

Впереди текла Курья, в версте за нею сидели Воры на холму. Далеко влево, на взмахе глаза, высились свинулинские развалины. Подул ветерок и донес, не расплескав, к солдату разнозвучные голоса пробуждающегося села. Резкий, как и первый солнечный луч, вплавился в воздух пастуший рожок. Тяжко щелкнул невидимый бич. И вдруг вся тишина наполнилась криками выгоняемого на луг скота, даже тесно стало от звуков. И было понятно, что о том же кричит и корова и овца, о чем и листок, и птица, и всякая лесная мелюзга. Из крайнего заулка бурным потоком высыпали овцы и кони. Воздух был чист, как ключевая вода. Пыль, отяжелевшая за ночь, не подымалась. Не пылят утренние дороги ни под шагом, ни под колесом...

Ущемилось воспоминаньем солдатово сердце. Дым и небылица! Вот так же и он выганивал скотину и все силился выдуть из лызловского рожка хоть четвертинку пастуховской песни. О чем же тогда играл, в давнем детстве, Максим Лызлов? Да обо всем, что видано. Видел бегущую собаку старый Максим, о бегущей собаке и пел рожок!.. Солдат встал и захромал ближе к Курье. Воспоминанья неотступно следовали за

ним. Глебовская пойма — здесь резали с Пашкой дудки, а там, под ветлой, дремал Максим. Вон там, где от зимы осталась веха, замычала первая корова. Вот здесь мужики навалились на провинившегося Максима,— все заровнялось, и не узнать теперь по сочной острой траве, как притоптана она была двенадцать лет назад.

Двенадцать,— небылица и дым! Брыкин его нашел, едучи жениxаться. Мать отпаивала молоком и целую неделю прятала Сеню в риге. Потом — Зарядье. Дым и небылица, тоска и боль. Настя, чье письмо теперь в солдатовой руке. Кричит Дудин, и смеется Катушин, жизнь и смерть, дым и небылица. Потом война. Потом еще война и рана в ногу... Как молодой кусток в лесном пожаре, сгорела юность, и вот золой играет ветер, задувает ее в глаза, и глазам больно.

Стадо приблизилось к Семену, располагаясь по сю сторону Курьи. Опять, под той же ветлой, где и Максим, сидит пастух и плетет обычный лапоть, а пастушата собираются купаться. Вот оно, самое дорогое и повторяемое из века в век! И тут Семена потянуло к пастуху, и он пошел хромая, а не доходя шагов трех, поздоровался громко и дружелюбно:

— А ну, дед, закурим, что ли?

— Закурим, коли дашь,— спокойнехонько поднял веселые глаза старик, и снова запрыгал шустрый кочеток, прогоняя лыко в петли.

— Из солдат вот иду,— сказал Семен, опускаясь на траву возле пастуха.

— Из солдат?.. Ну, и то дело... А я лапоть вот плету! — согласился старый и покосился на драную Семенову шинель. — Росисто ноне, не садился бы! Испортишь еще, часом, казенноете добро...

— Обсушит! — засмеялся Семен, протягивая ему махорку в горстке. — Эк ты ядовитый старичок... ядовитей золовки!

— А что старичок? Не нонешней выделки старичок, прочный!

Они закурили. Сладкие кольчики махорочного дымка, свиваемые поземным ветерком, понеслись на стоявшего невдали быка.

Бык понюхал воздух, подойдя к пастуху, уставился на него ноздрями и рогом.

— Ну-ну! Ступай, товарищ, ступай. Куритель тоже нашелся... — замахал на него лапотной колодкой пастух. — Вишь, бабы-те, гляди, заскучали без тебя... Ступай!

Бык понял и пошел к коровам.

— Комар-то не ест? — спросил Семен, жадной струйкой выпуская дымок.

— До Петрова дни ест, а потом уж ему не воля... потом засыхает. Мы не жалуемся! Сам-то в городе, что ли, жил?

— Да... и в городе,— неохотно отвечал Семен.

— Домой, значит? Очень хорошо... — И опять неторопливый шелест кочетка.

С реки доносились возгласы пастушат, фырканья их и плески. В лесу захлебывалась кукушка. И потом жаворонки, жаворонки, неустанные песенники утренних небес, бултыхались в воздушных ветерках.

— Живете-то теперь как? — спросил Семен как бы вскользь.

— Живем хорошо, ожидаем лучшего... — уклонился пастух.

— А ты не бегай... Ты мне толком скажи,— настаивал Семен и досадливо потрогал длинный пастуховский кнут. — Ведь я вот двенадцать годов дома не был.

— Двена-адцать, ну, скажи-и... — равнодушно подивился тот и переложил кнут на другую сторону, взяв его прямо из Семеновой руки.

— Так как же? — ждал Семен.

— Да что, как есть мы деревенские жители... живем, и всякий нас судит!.. — начал издалека пастух. — Одним словом, босы не ходим! Было б лыко, а сапоги будут,— и подмигнул своему суетливому кочетку. — Се-еньк! — вдруг закричал он подпаску, натягивавшему на себя рубаху после купанья. — Сгони корову с поймы-те!

— Так как же? — все не отступал Семен.

— Да вот и так же! И насчет одежи совсем тоже! В мешок рукава вшил, вот и гуляй. Мужику нашему что! Селедка да самогон есть, вот, значит, и царствие небесное! — хитрил пастух.

— Не об одежде спрашиваю.... Нонешним довольны ли? — глухо сказал Семен, хмурясь от недоверия старика. — На фронте-т говорят-говорят в бывалошнее время, так мозоли на ушах-то вскочут... Я тебя как своего, как мужика, спрашиваю.

Пастух отложил недоконченный лапоть в сторону и бережно потянул из почти докуренной папироски.

— Ты ко мне выходишь, парень, из лесу, в ранний час. Кто ты — не знаю, зачем ты — не пойму. А может, ты меня,

парень, на дурном словить хочешь? Может, тебе награду назначут, коли ты старого Фрола за воротник возьмешь?.. — внятно и строго проговорил старик, зорко и неодобрительно оглядывая Семена. — На-ка, ехали мужики в водополье, подсадили этакого. Так, ничего себе, с хриповатиной только, а чтоб оружие там, так даже и нет. Дорогой-то и брехали... Известно, какие только у мужика слова во рту не живут! И о холоде говорит, а слова жаркие... Человек-то и подкараулил!..

— Савелья знаешь? — прервал его Семен и встал, раздосадованный пастуховской осторожностью.

Самокрутки их докурились, разговор истекал.

— Поротого? Как не знать! Эвось меринко его стоит...

— Ну-к, а я сын его. Ты мне не веришь, а я и сам в пастушатах у Лызлова год проходил... — с обидой сказал Семен, гладя рукой коротко остриженную голову.

— У Максимки, говоришь, ходил? — загорелся разом пастух, и глаза его стали светлы и веселы, как голубое небо. — Помер Максимко-те! Я-те уж Фрол Попов называюсь, а Максимко помер, да-а...

Признав в Семене своего, старик так разошелся, что даже попросил еще табачку на завертку, но первоначальный Семенов вопрос так и остался без ответа. Только рассказывая о Зинкином луге, проговорился опасным словом Фрол. Но тотчас же оказалось, что пора подошла перегонять стадо на другое место. Фрол поднялся, уже на ходу успев сказать:

— Эка теснота! Чуть недогляди, а уж в низину прутся. Эк небеса-т просторные, вот бы где Фролу Попову стада свои гонять!..

...Семен шагал. Утро начиналось со зноя, и уже было в воздухе как бы отраженье дальней грозы. Поджарая собака, лежавшая возле новенькой, только что проконопаченной лызловской избы, проводила Семена стеклянными, осовелыми глазами. У дома вскинул глаза на черемуху, возле которой — подсказала память — скворечник. Сломанный шест стоял, а деревянного домика на нем уже не было.

...Савелий обертывал ногу, низко склоняясь с лавки. Анисья доставала горшок из печи. Когда Семен вошел, Анисья, мать, обернулась на дверь, в испуге развела руки, и каша грохнулась на пол.

— Светики! — вскричала Анисья, и полоумной радости исполнились ее глаза.

— О, плешь тебя возьми! — оторопев от восторга души, ставшей в старости податливой на быстрый смех и нечаянные слезы, вскочил и Савелий.

...Он, умытый, блестя обветренной кожей лица, сидел за столом, а мать хлопотала вокруг, то и дело поглядывая на сына.

— Угости отца-то табачком,— шепнула на ухо Анисья. — Мужикам без табаку маета, трубокурам-те...

— Закурим, папаша! — сказал Семен Савелью.

А Савелью не сиделось на месте. Он елозил по лавке и все закрывал глаза, соображая что-то, что ему нравилось.

— Дойдем! — вскричал он наконец. — На Людмиле Иванне тебя женим, на поповской дочке! Вот благородно выйдет!

— Нашел, нечего сказать,— смеялась мать. — В просвирку девка ссохлась!

— Дак зато поповна, жена-а! — вразумлял Савелий.

— Уж и забыл! Ведь выдали Людмилу-те Иванну, на Фоминой еще выдали,— укорительно сказала Анисья. — За гусаковского, за нечесаного, выдали! От вековушества своего и вышла... Совсем ты у меня, отец, из ума выжил.

— За гусаковского? — испугался Савелий и сразу погрустнел. — И тут дошли!.. Чем бы ни навернуть, только б пообиднеи!..

И, опечаленный, он снова стал разматывать онучу, вполслуха внимая неодобрительным Семеновым рассказам о войне и городе, которому подходит ныне непреодоление и разор.

И вдруг захохотал пронзительно и тонко Савелий: ведь экая дуреха, хоть и поповна... променяла такого червонного козыря на лохматого гусаковского попа.

VII. ПРИЕЗЖИЙ ИЗ УЕЗДА УГОВАРИВАЕТ МУЖИКОВ

Все находила на Аннушку сонливость в последние сроки. Оттолкнутая Сергеем Остифеичем и еще не излеченная от любви к нему, окруженная чужими, лежала Анна на лавке в темных сенцах в предродовой болезни. В избе ужинали, в плошке горел жир. Сидел за столом, кроме домашних, Фрол Попов,— уже тяготели ко сну старческие глаза; еще сидела повитуха, бабка Маня Мятла. В молчанье хлебали щи, когда закричала Аннушка... Аннушкина мука была недолгая: скоро держала Маня Мятла мертвенького восьмимесячного.

— Порох, что ли, с водкой пила? — сухо спросила Мятла, наклонясь к уху стонущей Аннушки.

— Не-е... льняными лепешками,— простонала Анна.

Баба пошла с ребенком куда-то за задворки, метя за собой пол подолом — откуда и прозванье,— неодобрительно качала головой.

На четвертый день, до срока, Анна встала и даже не спросила о младенчике, куда зарыли. С утра ушла куда-то. Видали ее в лесу, у лесной избы, видали и над Мочиловским омутом: Курья впадает в Мочиловку в трех верстах от села, здесь омут. Нигде Аннушку не останавливали от дурной мысли, но, видно, так же был силен в ней порыв к жизни, как и к смерти.

Домой она вернулась лишь под вечер, проплутав весь день. Была бледна, как выпитая. Войдя, села на лавку и стала сидеть бездельно. Так сидят соседки в чужом дому и нищие-странницы. В сумерки вошел Егор Иваныч, заметил ее, стал что-то делать у печки. Она встала и пошла к нему, беззвучная и полная неутолимой скорби. Синяя кофточка гладко облегала ее крупные покатые плечи.

— Егор Иваныч... — еле слышно произнесла она,— вот и опросталась я. Суди меня теперя.

— Какой на тебя суд?.. — визгливо прокричал Егор Иваныч. — Ты кошка, ты по рукам пошла... Уходи, не обступай меня!

Словно тронутый каленым железом, он заметался перед Анной, не находя нужного слова, самого оскорбительного, самого губительного из всех. Вдруг он замахнулся, высоко подкинув брови, но не ударил, а выскочил опять туда, на крыльцо, откуда пришел. Созерцание собственной раны давало ему большее удовлетворение, чем раскаяние Анны.

А та постояла одна в потемках избы, прислушиваясь к начинавшемуся дождю и мычанью недоеной коровы. Вдруг, помимо воли, вспомнила, как семнадцать лет назад — Анна была еще девочкой, многого не понимала — травила тетка Прасковья пьянствующего свекра: пополам с маком запекла рубленую щетину в пироги. Мысль об этом отрезвила Анну и согнала с нее тусклый налет тоски. Она подняла лицо к потолку и, устало улыбнувшись, сказала вслух:

— Что ж ты меня гонишь! Стреляная баба — что собака: кто погладил, тот и хозяин. Эх, Егорка! — Потом она сняла

подойник со стены и, переваливаясь бедрами, пошла доить корову.

Вскоре после того как-то случаем встретилась Анна с Петькой Грохотовым: Петька песни пел, как никто, был неженат, невеселых песен не ведал, он-то и убаюкал и приютил бездомное Аннушкино сердце. Снова до самого донышка своей души наполнилась Анна любовью. И уже никто не проведал, что в третий и последний раз цвела Анна.

...Да мир помешал. К жнитву темные слухи разбежались по мужиковским избам: будут церкви закрывать и подвешивать печатки, будут хлеб отнимать весь начисто. И как бы в подтверждение россказней собрали однажды под вечер сход для выслушанья речей уездного человека. Васятка Лызлов ходил по селу и усердно свиристел в тот самый роговой свисток, которым когда-то собирал сходы Прохор Стафеев.

Сельчане собирались лениво, однако пришли все. Став поодаль, они подглядывали из-под козырьков и платков за всеми случайными и неслучайными движениями наезжего. А тот, путаясь в длинных полах своего брезентового пальто, ходил взад и вперед вдоль сигнибедовского амбара, тер руки и сам украдкой разглядывал мужиков. Глаза у него были усталые и чуть-чуть напуганные. Минутами казалось, что он хочет сказать вот тут же сразу что-то очень хорошее, такое, чему не место на митингах, где крик. Он останавливался, вытирал испарину со лба и снова с утроенным рвением принимался ходить туда и сюда. Матвей Лызлов, председатель, с двумя красноармейцами из трех, приехавших с гостем, притащили из исполкома стол и две табуретки. Исполкомские о чем-то совещались.

А среди девок шли разговоры, чужие и насмешливые:

— Нос-то у него, у моргослепа, глядите, девоньки, ровно молоток! Ишь руки-те натирает.

— С холоду трет! У них теперь в городу-т осьмушкой дразнятся,— фыркала в край головного платка другая, Праскутка.

Третья хохотала совсем не без причины:

— Жара, а он в пальте приехал!..

Бабы сказывали про свое:

— Ой, с чего это глаз у меня обчесался совсем... До дырки дочешу!

— К слезам, бабонька,— чинно говорила брюхатая рублевская молодайка.

Мужики — свое:

— В Попузине на прошлой неделе Серега обирал. Скажи, хоть бы мешок оставил! Тетерину весь сад перекопал, искамши. Сам и рыл!.. — повествовал Бегунов; опущенное веко придавало ему со стороны вид уснулой рыбы.

— Почему б ему не рыть, не сам ведь сажал. Ишь рожу-т отрастил, в три дни не оплюешь! — сказал не в меру громко другой и, видимо, сам испугался своей решимости.

— Вот и до вас доберутся,— подсказал Семен, стоявший тут же. — Сами и отдадите.

— Да ведь как не отдать-то? — вздохнул тот, смелый. — Ведь требуют!

Тем временем Васятка, сидя с самым насупленным видом за столом, шептал что-то в ухо исполкомскому писарю, Кузьме Мурукову. Муруковский карандаш, понукаемый Васяткой и время от времени обсасываемый владельцем, отчего оставались лиловые пятна на губах, как угорелый носился по бумаге. Васятка тоже имел уже лиловое пятно карандаша на щеке. Тут как раз Лызлов влез на незанятую табуретку — гость предпочитал ходить,— вытянул руку вперед, переглянулся с гостем, можно ли начинать, цыкнул на воркотливую шепотню баб и предложил выбрать председателя.

— Попа Ивана! — сказал в тишине измененный голос сзади.

— Товарищи, кто это сказал? — закричал Васятка, весь задрожав и подскакивая на табуретку к отцу. — Клеймите, товарищи, таких! Это есть несознание момента...

— Матвея Лызлова,— чернильными губами предложил Муруков, не отрываясь от бумаги.

— Мне нельзя... Из своей среды выбирайте,— сухо отчеканил Лызлов.

— Ну-к, Поболтая! — сказал Федор Чигунов, брат Афанаса.

«Поболтай что-нибудь» — было прозвищем мужика Пантелея Чмелева, всегда склонного к рассуждениям как о научном, так и ненаучном.

— Поболтая, Поболтая! — закричали мужики, с хохотом встретив предложение Чигунова.

— Ваську! — сказал Сигнибедов со злостью. — Он идейный... отца с матерью не пожалеет. Ваську!

Васятка слышал и стоял за столом со стиснутыми губами, то краснея, то бледнея. Быстрые глаза его метали молнии

в неуязвимую сигнибедовскую толстоту. Рука его рассеянно почесывала щеку, точно догадалась соскоблить чернильное пятно. Он наклонился к чмелевскому уху и настойчиво пошептал ему что-то.

Мужиковский выбор остановился все же на коротконогом Чмелеве, который и не замедлил влезть на табуретку.

— Итак, мужички, я ваш председатель. Очень хорошо, прошу меня слушаться! — начал он, блестя веселыми глазами. — Во-первых, мужички, поступило объявление от одного тут из товарищей... — он покосился на Васятку, как бы спрашивая, правильно ли передает он Васяткины слова,— удалить Сигнибедова гражданина совсем вон отседа. Он как есть бывший кулак и пономарь... Как вы на это, мужички, посмотрите, а?

Мужики молчали. Приезжий гость почесал свой длинный нос и озабоченно скривил губы. Полаяла вдалеке собака. Вздохнула баба. Скрипнул под Чмелевым табурет.

— Не за то ль ты меня, Васятка, и гонишь, что я тебе в четвертом годе пряников не дал? — спросил, весь багровый, Сигнибедов. — Ну, постой, доживешь до пряничка! — Сигнибедов уходил, не дожидаясь решения схода, и, как у разбитого ударом, подрагивала у него правая, висевшая вдоль тела рука.

— Товарищи, он грозится! Вы слышали, товарищи?.. — горячился Васятка, чуть не плача. — Товарищи, общественное порицание ему...

— Ничего, ничего... уходи, Павел Степаныч. Опосля расскажем! — примирительно закричали мужики вослед уходящему.

Пантелей Чмелев, закрасневшись так, словно бодягой в этот промежуток щеки натер, залпом выпалил все, вычитанное за неделю из газет, потом тихо и скромно прибавил немного своего, и это бедное свое прозвучало гораздо сильнее всего прежде сказанного им. Мужики внимали, но, стыдясь искренних глаз Чмелева, скрывали свое внимание смехом.

— Мужик, а петушисто язык подвязан! — восхитился Савелий, толкая сына в бок.

— И какую ты кашу ешь, что ты такой умный? — крикнул Лука Бегунов.

— Про Марсию валяй,— крикнул дядя Лаврен, стоя невдалеке от наезжего гостя, и, заметив удивленный взгляд его, объяснил охотно: — Он все про Марсию нас убеждает, будто

и там люди живут... А мы ему не верим, этого и у нас, думаем, вполне хватает, чтоб еще на небо такое же сажать!

— А верно, хвати-ка про Марсию,— посоветовал и сам черный Гарасим, копаясь огромным пальцем в бороде и высматривая исподлобья.

За Чмелевым вслед влез на табуретку Васятка Лызлов. Но он так разбрыкался в первые же пять минут, что, казалось, вот-вот из себя выскочит и полетит. Отец взял его сзади за рубаху и, стащив с табуретки, попридержал малость, пока не улегся Васяткин пыл. И тотчас же после этого объявил Лызлов-старший, что будет говорить наезжий в Воры гость, уездный продкомиссар.

Все еще широко улыбаясь над Васяткиной неудачей, гость стал говорить, не влезая на табуретку. И с первого же его слова оборвалась веселость у мужиков. Бороды помрачнели, безбородые насупились, сдвигаясь тесным кольцом.

— Про разверстку будет говорить,— предупредил шепотом кто-то, и сообщение это мигом разрослось в шум, а шум почти мгновенно докатился до самых краев сельской площади.

Наезжий, оказавшийся и в самом деле уездным продкомиссаром, в подтверждение чего Муруков издали показал мужикам бумагу, припечатанную не однажды серпом и молотом, не чмелевского нрава был человек. Говоря, он все время сбивался с сухого тона на какой-то искренний, открытый, и тогда кидал слова сотнями, как одуванчик семена на ветер, в слепой надежде, что хоть одно процветет. Мужики видели, что порой продкомиссар вдруг останавливался на полуслове, точно вспоминал какой-то наказ, и начинал говорить поиному — слова начинал отсчитывать резко и четко, как бусы на нитке. Лицо его тогда из бледного становилось красным и глаза, усталые как бы после тысячи бессонных ночей, начинали виновато моргать. Если Чмелев любил поиграть непонятным словом, как ребенок играет с незнакомой игрушкой, этот теперь расставлял слова, как солдат перед боем.

...Пути-де к победам трудами выщебенены. Голодает-де рабочий, брат и сын ваш. Люди злые, в трудовой правде не правые, хотят ядовитым зубом взять нас, идут полчищами, несут смерть. Красная-де Армия разута и раздета, хлеба у мужика просит: «Дай хлеба, братишка! Отвоюем — отработаем, один у нас с тобой кошель!..» Хлеб нужен. Не будет хлеба — мрак будет. Мрак будет — мор будет. А там и предел

всякой гибели: воссядет вновь на мужиковскую спину всякая явная и неявная насекомая тля...

Долго говорил наезжий. Где-то по заоколицам играл повечерие на домодельной свирели Фрол Попов, на ночь пригонивая скотину. И уже соглашались Воры, крутя лбами, что и впрямь невыгода отдаваться наново свинулиным в помыканье... Как вдруг, разойдясь и вспомнив наказ из уезда — речи вести твердые и суровые, чтоб не почувствовал мужик какой-либо несвоевременной поблажки,— ругнул наезжий гость проклятых дезертиров, ютившихся в ближних к Ворам лесах, и пригрозил мерами особой строгости всем, кто имеет сношения с ними.

Сход заволновался, бородачи повернулись к гостю чуть не спинами, а Прохор Стафеев, старик белой и аршинной бороды, подошел к наезжему вплотную и, руку положив на плечо ему, сказал спокойно и твердо:

— Ты, федя, тинтиль-винтиль, дезертиров-те не особо ругай. Это все сыновья наши! Как же нам с сыновьями слова не иметь? Ты приехал плести, ну и плети, а грозить не грози. Нас и при царе тяпали, тинтиль-винтиль, да мы не молчали...

Словно только этого и ждали остальные, закричали враз:

— ...сами овсяны высевки жрем, что лошади! — очень тоненько.

— Про это нам дедушка Адам врал, да мы не верили! — хрипучим басом.

— Товарищи, держите тишину!.. — надрывался со своей табуретки Пантелей Чмелев, с тоской поглядывая на Мурукова, все писавшего и писавшего что-то. — Просите слова, каждому дам высказаться!..

— ...озимь вымокла... капусту улита поела... — неслось с бабьей стороны.

— А у меня тетка вот горбатенька,— деланно сиротливым тоном сказал Федор Чигунов, выходя наперед и опираясь на муруковский стол. — И за тетку мне платить?.. — Вдруг он вырвал бумагу из-под руки писаря и, порвав в клочки, бросил себе под ноги. — Довольно тебе писать, Кузьма! Все-то ты пишешь, а про что — не знаем,— сказал Чигунов холодно. — А может, ты донесение на нас пишешь, что-де противится народ?..

Кузьма вскочил и переглядывался с Лызловыми и продкомиссаром. Матвей Лызлов побежал зачем-то к исполкому. Васятка напрасно взывал к мужиковской сознательности, вы-

искивая в гудящей толпе хоть пару сочувствующих глаз. Таких не было,— мужики глядели в землю, некоторые пошли по домам, но у всех на устах была одна и та же мысль, непримиримая и непокорная: мысль о Зинкином луге. Чмелев ускоренным ходом заканчивал собрание и сконфуженно читал резолюцию о всемерной поддержке, о сознательном отношении к моменту и о прочем. Те из мужиков, которые оставались в нехорошей задумчивости, чесали бороды, затылки, пазухи и зады. Расходились кучками, по двое и по трое, не дождавшись конца.

Да и сам продкомиссар, сразу поугрюмевший до последней степени, направлялся к исполкому в сопровождении Пети Грохотова, стараясь не обертываться ни на мужиков, ни на старуху, приставшую с чем-то сзади. Продкомиссар был человеком не плохим, добрым и честным, да, на беду свою, деревни не знал; трижды был ранен на гражданских фронтах, и одну пулю носил где-то под дыханием, где мать ребенка носит. Эта третья пуля и придавала ему порой твердость, которой, вообще говоря, в натуре у него не было. Когда был назначен продовольственным комиссаром, понял одно: отбиваться голыми руками от ярых генеральских ватаг легче, чем путешествовать вот так, по деревням, с продовольственным отрядом. К исполкому идя, в который уже раз задавал он себе вопрос вслух, чтоб вслух и ответить: о чем они думают?..

— Кто это? — спросил Петя Грохотов, неся навыкат мощную свою грудь.

— Да мужики... О чем они молчат? — повторил комиссар.

— О чем им думать? — усмехнулся Грохотов. — Им думать-то некогда, они работают... И вообще, без мыслей-то дольше проживешь!

— Вы что, уже пили сегодня? — спросил, морщась, продкомиссар; из Петина рта явственно донесло до него душным сивушным запахом.

— А попробуй тут не выпивать! — с задором вскинул голову Петя. — Я вот уж сколько здесь! В нашем деле не обойтись. Винт, коли его не смазывать, в час при хорошей работе сработаться может. А сколько на тебя гаек, сказать, за неделю-то навернут! Тут уж на то пошло, кто кого переупрямит...

Когда они всходили на крыльцо, продкомиссар обернулся к приставшей старухе:

— Ну, чего тебе, бабка? Метешься, ровно хвост...

— Не хвост, а бабушка тебе, голубчик! Ослобони ты меня, батюшка, от грамоты. Бабы-те засмеяли вконец. Тебя, сказывают, Егоровна, грамоте теперь будут обучать... — зашамкала старуха, отчаявшаяся в своем невиданном горе, и смахнула слезу. — Зубов-то у меня, батюшка, уж нету... Куды мне грамота? А я тебе... — и тут старухино лицо приняло плутоватый оттенок, — ...а я тебе, голубок, чулочки свяжу, тепленькие! Шерстка-то еще осталась у мене...

И от жалости и от смеха где-то в груди защемило у продкомиссара.

— Я не по той части, бабушка! По грамоте — это к другому. Я по хлебу!

— А?.. Прости, батюшка, глуха стала, полудурка совсем... — засуетилась старуха, деловито приставляя свое большое морщинистое ухо к самому продкомиссарову рту.

— Я не по той части... Я по хлебу! — закричал ей в глухое ухо продкомиссар, почему-то избегая жалобного старухина взгляда.

— Ну и ну, лебедочек мой, — успокоенно запела бабка, кивая головой. — А то совсем меня, старую, зашпыняли! И ситчику, слышь, выдавать не будут?

Далеко за полночь горел свет в исполкомской избе. Продкомиссар сидел за лызловским столом, положив голову на руки, и глядел на прямой желтый огонь коптилки. На столе перед ним лежал листок, а на листке был нацарапан донос на Васятку Лызлова:

«...Как я сочувствую... готов помереть, то я и спрашиваю, правильно ли так. Васятка Лызлов гонит самогон в лесной избе, тайно от отца... продает на царские деньги, несмотря, что деньги ничто, кроме как бумага. Я его спросил, зачем ты, Васятка... он объяснил... хочу ехать в город учиться... а как у него денег нет, то и хочет... Как я сочувствую, то и спрашиваю... разве это советская работа... самогон гнать...»

Был этот безграмотный клочок без подписи. А другой клочок, грамотный, мелко исписанный чернильной тиной и лежавший рядом с этим, имел полную подпись продкомиссара и гласил так:

«...прошу отстранить меня... от занимаемой должности... несоответствие. Предлагаю... на гражданский фронт, принимая во внимание незначительные хотя бы мои заслуги перед... Сам

происходя из крестьянского сословия, но оторванный от него городом, затрудняюсь вести работу в крестьянской среде...»

Продкомиссар перечел свое заявление трижды и при третьем разе зачеркнул слово «затрудняюсь», написав поверх его «не могу». Посидев еще минуты три, он перечеркнул слова «не могу», но не сумел подыскать другого слова в замещенье зачеркнутого. Тогда он собрал все остатки чернильной тины на перо и жирно перечеркнул все заявление накрест, резко и необычно властно для него самого.

Он задул свечу и подошел к окну. Светало. Особенно убогой казалась в рассветном свете бедная обстановка исполкома. На улице было полное безветрие. Левая сторона неба набухла розовыми и желтыми купами, словно всходила к недалекому празднику пряничная опара. Посреди пустой улицы стоял бычок, с вечера отбившийся от стада. Он мычал, вытягивая шею к заре. Помычав, прислушивался, как повторяет его отстоявшееся эхо.

...Продкомиссар открыл окно.

VIII. ПЕТЯ ГРОХОТОВ В ДЕЙСТВИИ

Воры разверстку так и не выплатили, по молчаливому соглашению между собою, ни в один из последующих дней. Нашлись некоторые, принесли в исполком по доброй воле по пуду за едока,— так в сигнибедовском амбаре и стояли только двадцать мешков, потому что уплатили только советские мужики да еще те, кто надеялся откупиться пудом. Ссылались мужики на неурожайность, на мокроту, на сухость, на все тридцать три мужиковских бедствия, до которых уездному начальству как бы и невдомек. Этого исполкомщики и ждали, к этому и готовились. С утра вышел продовольственный отряд в обход по селу.

А на краю Воров жила бессемейная бобылка, бабка Афанаса Пуфла, прозванная так за лицо неестественной широты. Давно уже состояла Пуфла с соседкой тетей Мотей в ссоре из-за куриных яиц, которые нанесла Пуфлина Рябка в Мотином малиннике. Мотя яйца эти оттягала у соседки в свою пользу, а Пуфла положила в сердце своем прищемить за это Мотю. Она и донесла Пете Грохотову, делавшему обход вместе с председателем и двумя красноармейцами, что в таком-то месте у тети Моти хлеб припрятан. Мотю и прищемили. И, из

беды в беду кидаясь, доказала Мотя на другую соседку слева, что и та не без хлеба живет. Так и пошло перекидным огнем, как в пожаре бывает.

Докатилось дело до Фетиньи Босоноговой, у Фетиньи будто бы в дубовом срубе хлеб ссыпан. А врыт-де тот сруб сбоку гумна, три шага от огуречной гряды, отметка — кол из можжухи, а на колу — лапоть. Обливаясь пóтом от жары, пошли продовольственники к Фетинье, хлеб из сруба погрузили на телегу бесспорно, тихим ладком. И уже направлял было Васятка Лызлов телегу с хлебом на ссыпной пункт, где принимал хлеб приехавший третьего дня комиссар, как вдруг сглупа надоумилась Фетинья на рахлеевскую избу показать: у Рахлеева-де Савелья на пять подвод хватит. Рассказывая во всех подробностях, имела в виду Фетинья, что за ее указку с нее самой разверстку скостят.

Хлеб Фетиньин, однако, Васятка увез, а Петя Грохотов, бывший и на этот раз для придания себе духа бодрости под легчайшим хмельком, не выдержал и укорил бабу в ябеде с пьяной прямотой:

— Экая ты, Фетинья, душевредная. Язык-то у тебя без совести!

— А ты на меня, кобель, не щетинься! Гусак леший, неблагодарный!..

В Пете моментально взыграл хмелевой его задор, и если бы не перехватил вовремя злого короткого взгляда Фетиньина мужа, мужика, похожего на железный шкворень, вымазанный дегтем, может быть, и стукнул бы Петя в загривок сварливую бабу за обиду.

В нескладное время подошли исполкомщики к рахлеевскому двору. Хозяева сидели за обедом. Близился полдень. Докашивать на среднее поле спешил Семен. Он, обжигаясь, глотал пустенькие щи, сидя спиной к раскрытому окну и обсушиваясь от пота. Когда обнажалось днище второй плошки, сказала Анисья изменившимся голосом:

— К нам идут.

— Со звездой путешествуют! — коротко похохотал Савелий, намекая на значок, прицепленный к грохотовской груди.

Семен выглянул в окно. Разверстщики всходили на крыльцо, и уже подъезжала к дому, скрипя в несмазанной оси, исполкомская обширканная телега. Один из красноармейцев имел за поясом топор. Семен встал из-за стола и отошел в угол, под полати.

Первым вошел Грохотов.

— Упарился,— вздохом надул он щеки, обросшие пушком, и грозно сел на лавку. — Ей-ей, ровно с самовара текет. Даже сапоги взопрели, хоть выжимай!

Усевшись, он оглядел всех, наклонился пощупать носок сапога, расстегнул черную тужурку, застегнутую наглухо, и засмеялся, поглядывая на молчавших хозяев.

— А мы к вам в гости пришли,— с добродушной хитрецой произнес он, обращаясь к Анисье, которая дрожащей рукой переставляла с места на место крынки молока.

— Другого-те времени нельзя было выбрать? — тихо спросил Семен. — Поесть не дадите, ходите...

— Нельзя, товарищ,— строго пояснил Грохотов, но строгость не шла к простецкому его лицу. — Вас-то много, а я один всего. — И он показал Семену свой мизинец, остальные пальцы он прижал к ладони, будто их и не было.

— Это действительно, не много вас! — вслух подумал Семен и нарочно грубо кашлянул.

— Не много, не много, товарищ,— согласился Грохотов. — А нет ли, тетка, попить чего? — Он подмигнул настороженной Анисье. — Квасу там с мятой наварили небось... к Петрову-то дню!

— Было бы что варить-те! — проворчала Анисья, не сводя глаз с крынки молока. — Хлеб-те до последней колосины весь изъели... Прожились совсем!

— Чего и не было, все прожили! — загрохотал Петя и переглянулся с Лызловым, стоявшим у порога. — Ну что ж, пойдем поищем. — И встал.

Он постучал о печку согнутым пальцем, притворившись, будто прислушивается.

— Тут нет ли... Ты как полагаешь, Матвей Максимыч?

— Ищите где хотите, больше нету... — сказала Анисья и сухо поджала губы. — Снесла вам четыре пуда. Нету больше...

— Нету? — в притворной задумчивости повторил Грохотов. — Ну, молись, бабка, Федору Студиту... — И, быстро перейдя сени, Грохотов вошел в горену.

Тут было заметно прохладней, не было мух, пахло скиснувшим молоком и лежалым мужиковским скарбом. Молоко стояло в каморке направо.

— Послушь, братишка,— остановил Грохотова Семен. — Говорит мать — нету. Почему не веришь?

Петя не ответил, постоял с полминуты, принюхиваясь, и вдруг указал красноармейцам на пол горены, простеленный домотканой пестрой дерюжкой.

— Вскрывай пол! — сердито приказал он, но обернулся взглянуть на Анисью.

— Зубов-то не скаль,— со злом за мать сказал Семен. — Ты ломай, раз тебе приказано ломать. А зубов не показывай!..

— Не вяжись... — добродушно огрызнулся Грохотов, следя за работой красноармейцев. — Все равно, братишка, сейчас драться не стану. Жарко... вот потом, по холодку!

А те уж делали свое дело быстро и ловко, без особых повреждений; чувствовался навык в их точных и уверенных движениях. Отняв топором боковой плинтус, шедший во всю длину горены, один легко, как спичку, приподнял топором половицу. Другой придержал ее и с колен заглянул вовнутрь, почти касаясь щекой чисто выметенного пола.

— Есть! — сказал он без всякого оживления, даже со скукой.

Подошел заглянуть и Матвей Лызлов. Заглянув, покачал головой и отошел назад.

— Много? — лениво спросил Грохотов.

— Да найдется,— отвечал за Лызлова другой красноармеец, рыжеватенький, работая уже над третьей половицей. — Соломой тут укрыто, не видать.

— А клейно работают,— восхитился Савелий их работе. — Я как закладывал, так трое суток заколачивал, пра-а...

Некоторое время только и слышно было поскрипыванье дерева, потом пыхтенье рыжеватенького, выворачивавшего мешки из подполья. Шесть мешков были уже вынесены самим Лызловым и погружены на подводу. На спину ему накладывал рыжеватенький. Когда же рыжеватенький спрятался в подполье, Лызлов просто попросил Семена поднять мешок, и Семен не отказался.

— Скоро, что ли? — появился Васятка в дверях. — Лошадь не стоит.

— Два еще! — прокряхтел голос рыжеватенького из глубины подполья. — Запиханы далеко.

— Ты подвяжи лошадь-то к палисадничку,— посоветовал Лызлов сыну, выглядывая в окно и вытирая полой рубахи обильный пот.

И в самом деле, лошадь вся была облеплена паутами и слепнями. Она напрасно дергала кожей и била хвостом.

Улица заволакивалась полуденным зноем. Каждый камень горел исступленным теплом, насыщая жаром и без того накаленный воздух. Чьи-то колеса прозвучали сверху, и тотчас же, подымая ленивую, затяжелевшую пыль, хромая в колеях, прокатились вниз брыкинские колесны, управляемые им самим.

— Эй, Егор Брыкин, Егор Брыкин!.. — закричал ему Лызлов, наполовину высунувшись из окна. — Ты куда катишь?

— В лес поехал,— остановился тот, сильно придерживая неспокойную по жаре свою кобылку. — Вот по твоему мандату сучки еду собирать!..

— Ты б не ездил! — крикнул Лызлов. — Мы сейчас к тебе придем, только вот у Савелья управимся.

— Там бабы у меня остались! — отвечал Брыкин и, подхлестнув кобылку, быстро покатился вниз.

— А, ну и ладно, с бабами так с бабами! — вслух согласился Лызлов и, взвалив на спину последний мешок, легко потащил его из горены.

— Ну, нет, уж ты уволь, Матвей Максимыч,— сказал Грохотов ему вдогон, отдуваясь и расправляя плечи. — После полудня уж отправимся... А теперь соснуть бы часок-другой... жару переспать!

Все медленно двинулись вслед за Лызловым вон из горены, на крыльцо.

— Эй, товарищ,— остановил Грохотова Семен голосом придушенным и срывающимся,— а дырку-то кто будет заделывать? — Он показал рукой на развороченный пол.

— Сам и заделаешь! — нехотя откликнулся Грохотов, сбегая с крыльца.

Семен догнал его уже на улице и сильно вскинул руку на грохотовское плечо. Откуда-то уже набралось народу, все глядели, видя по решимости Семенова лица, что дело впустую не кончится.

— Я тебе велю дырку заделать,— тихо сказал Семен, дыша утрудненней; губы его утончились и стали какого-то горохового цвета.

— Сенюшка... отступи, отступи! — вертелась около него мать, со страхом поглядывая на устроенный в сигнибедовском амбаре ссыпной пункт, о чем гласила и надпись, сделанная дегтем по стене. Оттуда направлялся к месту спора и сам продкомиссар в сопровождении Лызлова. — Брось, Сенюшка, не к спеху дырка... вечером придешь — заколотишь!

— Пусти... — разомлевшим от жары голосом сказал Петя Грохотов, силясь стряхнуть с плеча Семенову ладонь, но та крепко держалась за влажную мякоть грохотовской кожаной куртки. — Пусти, я тебе губы-зубы наизнанку выверну! — вяло посулил Грохотов и, переменив лень на досаду, отпихнул Семена в грудь.

— В чем у вас тут дело?.. — подошел в эту минуту продкомиссар, заглядывая Семену в лицо. — Бросьте, товарищи, ссориться... не время теперь.

Семен глядел в продкомиссарово лицо как-то особенно пристально. Лицо продкомиссара было уже видано когда-то Семеном, но теперь оно походило на оставшееся в памяти, как отраженье в неспокойной воде на глядящегося в воду.

— Да ничего,— сказал Семен, приподымая одну только правую бровь. — Гусачки свое место забыли... Не пройдет ему даром эта дырка.

— Камешком кинешь? — поддразнил Петя Грохотов, разглаживая смятое плечо. — Конечно, обидно, что плохо спрятано было... враз и нашли!

Народ все собирался, но Семен уже ушел.

Дома он взял косу, подвесил к поясу кошелку и отправился на луг. Косил он в тот день с небывалой яростью,— на тройке проехать было в его прокосе. Уже не разнеживало, а жгло солнце стриженую его голову, мутился разум. Был страшен Семен на этой последней своей косьбе.

IX. НЕПОНЯТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЕГОРА БРЫКИНА

И уже подавала прохладку в село Курья-речка; кудри истомно разметав, меркло солнце на западе, за лесом,— и уже отпел все свои вечерние кукареку горластый Фетиньин петух, когда возвращался Брыкин из лесу.

Видимо, устав немало на лесной рубке, шел он возле своего возка, еле переставляя ноги. В колеснах лежали свежесрубленные деревья. Необрубленные макушки жердей мели дорогу и оставляли за колесами полосу следа.

На взъезде в гору, когда поравнялся с Пуфлиным домом, увидел Егор шумливую ораву деревенского ребятья. Выстроясь в ряд под заколоченными Пуфлиными окошками, дразнили ребята Пуфлу, выпевая согласным хором:

— Баба Афанаса — тупоноса! Баба Афанаса — тупоноса, тупоносищая...

Но, едва завидя под горой въезжающего Брыкина, бросили ребята бабку до времени, поскакали к нему, крича самую последнюю деревенскую новость. Странным образом, еще издали внял Егор ребячьему сообщенью.

— Гусака... гусака убили! Дяденька, гусака убили! — прокричал грязный мальчонок в одной рубахе из мешочной ткани, без штанов, самодельным кнутиком на бегу взбивая пыль.

— Убили... Вот сюда, дяденька, кро-овь! — строго говорила ласковая девчоночка, ясными глазами показывая себе на плечо.

— Кто убил?.. — спросил Брыкин у девчоночки, медлительно поворачивая к ней шею.

— А солдат убил! — оживленно вскричал третий мальчик, самый загорелый из всех, прыгая и подтягивая спадающие штаны.

И тотчас же ребятишки повторили хором:

— Солдат убил!..

— Да солдат-то кто?.. — тихо переспросил Брыкин, стараясь оживить остановившийся в неподвижности взгляд.

Ему это удалось, но тотчас же стали разъезжаться в разные стороны глаза — так бывает, когда хочется спать или когда с обеих сторон достигает опасность. Толкового ответа он так и не получил. На крыльце своей избы объявилась с ведрами бабка Пуфла, и снова полетело ребятье на тупоносую шумным назойливым роем.

Все так же медленно Брыкин подымался в гору. Где-то помычала больная корова. Возле долбленой водопойной колоды стоял Афанас Чигунов, поил лошадь. Егор Иваныч знал, что Афанас увидел его, но молчал Афанас, а глядел туда, в замшелую до зелени колоду, полную воды.

У колодца остановил возок Егор Иваныч.

— ...приключилось у вас тута? — спросил Брыкин, трудно ворочая языком и стараясь заглянуть в лицо Афанасу.

— Да парня тут испортили, — неохотно отвечал Афанас и опять глядел в воду, где шумно фыркали лошадиные губы.

— Как же так испортили? — недоуменно колыхнулся Брыкин.

— Да испортить-то испортили... а только кто же так бьет? — коротким, быстрым жестом Чигунов прочеркнул себя

от плеча до того места, где сердце. — В голову метить надо было.

— Так, значит, уж плечо подвернулось... Тот, кто метил, знал, куда метил,— осторожно сказал Брыкин, очень сутулясь и глядя туда же, в колоду.

— Счастье его, что Серега-то уехал. Он бы все село перетряс за товарища! — Лошадь Чигунова перестала пить, и теперь он понукал ее, подсвистывая.

— Какой Серега? — вздрогнул Брыкин и мгновенно вспотел.

— Да Половинкин... кому ж еще! — И Чигунов стал уходить так неспешно, словно ждал еще вопроса от Брыкина, какого-то самого главного.

Егор Иваныч, не понимающий и сразу обессилевший от пота, скорее ткнул свою кобылку кнутовищем, чем хлестнул,— колесны снова заскрипели, и продолжился до самого дома след неотрубленных макуш. Брыкин, подходя к дому, все обгонял свою кобылку, а обогнав, подтягивал ее к себе за узду.

У дома, едва привязав кобылку к черемухе, взбежал Егор Иваныч на крыльцо, с крыльца оглянулся: улица была странно пуста. Косые оранжевые тени блекли на короткой траве воровского лужка. На выселках стучали: кто-то отбивал косу. Посреди улицы шел Прохор Стафеев, появившись из-за поворота дороги. Точно желая, чтобы именно Стафеев не приметил его оглядывающим село, Егор Иваныч метнулся в избу и сел на лавке. Тут только целиком обнаружилась его усталость. Он стал дышать с открытым ртом, причем все не мог справиться с собственным языком; все вылезал язык наружу. Во всем теле было ощущение вывихнутости.

Дом был пуст, никто Брыкина не окликнул. На столе мокли в лужицах похлебки хлебные крохи, оставшиеся от ужина. Валялась еще опрокинутая солонка, но соли в ней не было, как и во всей волости. Еще стояла плошка с недохлебанным. По всему этому съедобному мусору лениво ползали мухи, сосали из лужиц, объедали размокшие корки, наползали одна на другую — черные и головастые, как показалось Егору Иванычу.

Висела в простенке календарная картонка — барышня в затейливой шляпе. Напряжение Егора Иваныча дошло до такой меры, что на мгновение мелькнуло в голове: вот сейчас эта бледно-розовая, поющая раскроет рот еще шире и закричит во всю волость: «Глядите, какое у него лицо! Глядите, какое лицо у Егора Брыкина! Возьмите Егора Брыкина, ли-

шите его дыхания!» Егор Иваныч огляделся и настороженно засмеялся сам над собой, смеялся — точно всхлипывал. Смех оборвался, когда две мухи, сцепившись, сели перед ним на краешек стола,— Брыкин тупо глядел на них и не понимал. Теперь всякий шорох, даже мушиный, вызывал в нем или мимолетную дрожь, или странно длительную зевоту. Зевалось больно, во весь рот, до вывиха челюсти, до боли в подбородке. Рассудок Егора Иваныча помутился бы, если бы он в эту минуту услышал свое имя, произнесенное вслух.

Совсем бессознательно он зачерпнул из плошки и проглотил. Со странным чувством удивленного вкусового отвращения он проследил, как идет вовнутрь этот противно-пресный клубок загустевшего картофеля. Вдруг понял, что сделал не то: ему хотелось пить. Едва же понял, что именно пить хочется, жажда сразу утроилась. Неуклюже вылезая из-за стола, он уронил большой нож на пол. Он замер от звука падения и с выпученными глазами зашикал на нож, чтобы не шумел так громко. Ушат был почти пуст, только на дне оставалось немного. Егор Иваныч зачерпнул ковшом и, вытянув жилистую шею, заглянул внутрь ковша. В мутной воде метался головастик. Он бился о железные стенки ковша, отскакивал, и одно уже неудержимое всхлестыванье головастикова хвоста показывало со страшной наглядностью, сколь велик в нем был ужас перед тем твердым и круглым, куда он попал.

Егор Иваныч держал ковш в руке и полоумным взглядом наблюдал эту юркую серую дрянь, еле отличаемую от цвета воды, когда услышал: по улице кто-то едет верхом. Рывком столкнув ковшик на крышку ушата, Брыкин подскочил к окну и ждал, когда покажется из-за деревьев тот, кто ехал. Вдруг, по-жабьи раскрыв рот, Егор Иваныч издал горлом неестественный и короткий звук, какой будет, если мокрым пальцем провести по стеклу. В звуке этом выразилось уже животное недоуменье Егора Брыкина.

По улице, торжественно и властно покачиваясь в седле, ехал в черной тужурке сам он, Сергей Остифеич Половинкин, убитый в Егоровом воображении. Белая его лошадь шла мерным чутким шагом, помахивая подстриженным хвостом. Проскользнуло нечаянное соображение: Серега ли убит? Но в суматошном метании своем и не заметил этого соображения Брыкин. Каждая частица усталого брыкинского тела кричала, прося пить и пить. Он махом подскочил к ушату и, не отрываясь, осушил весь ковш до дна. Вода даже без бульканья

пролилась в его выпрямленное горло, и опять поражающе пресен и неутоляющ был Егору Иванычу вкус воды. Питье расслабило его. Опять напала раздирающая рот зевота. Кое-как он переполз к койке и повалился за ситцевый полог. В последний раз он выглянул на мерцавшее сумерками окошко и упал куда-то в яму.

Яма была пустая и холодная, и казалось, что брыкинское сознание находится в ней где-то посреди, в подвешенном состоянии. Долго ли его сознание пробыло в этой яме, само оно бессильно было определить. Очнулся он уже затемно. Трещала коптилка на столе, задуваемая ночным ветром из окна. Черные тени вещей очумело скакали по выбеленной печке. Полог был уже отведен кем-то в сторону, но опять не было в избе никого... Весь опустелый, не думающий, он лежал на боку, глядя на огонь красными, опухшими, неотдохнувшими глазами. Над огнем летала бабочка-ночница, гораздо менее проворная, чем ее пугающая тень.

Вошел кто-то, чьего лица не понял Егор Иваныч. Лицо вошедшей женщины оставалось в тени. Она пошла затворить окно. «Аннушка! — догадался про нее Егор Иваныч. — Ко мне пришла! Вот она подойдет, и я прощу ее. Дам наставление к жизни и прощу. Теперь все прошло... Ведь его больше нету, нигде нету!» Женщина, закрыв половинку окна, подошла к Егоровой койке и, приподнявшись на носках, села на краешек ее. Егор узнал теперь — это была мать.

Она посидела с полминуты, потом встала и пошла затворить вторую половину окна; потом снова подсела к Егору.

— Ну... что? — спросила она голосом твердым и спокойным.

— Кто убил-то? — приподымаясь на локтях, с тусклым, молящим блеском в глазах спросил Егорка.

— Как кто убил? — крикливой и неубедительной скороговоркой отвечала мать, часто моргая. — Семен и убил... Савельев сын, Семен, убил!

Егор Иваныч с глубоким вздохом опрокинулся обратно. В изголовье у него лежал тулуп покойного отца. Овчина сообщала Егоровой шее приятный холодок. Он закрыл глаза и с минуту лежал совсем неподвижно, почти не дыша. Вдруг он вскочил, почти сбросила его с койки внезапная догадка.

— Топор-те... топор!. — закричал он, поводя выкатившимися глазами. — В колесны вбит... в переднюю лапу!!

— Лежи, лежи,— тихо и по-прежнему сухо сказала мать, по-бабьи засовывая под повойник прядь волос. — Ничего уж, лежи. Замыла я топор-те...

Снова расслабев, упал на отцовский тулуп Егорка. Ему вдруг стало легко, так легко, как ни разу в жизни... Никаких забот в жизни больше не стало. Все стало ясно и понятно. Нежданно голова заработала с безумной четкостью. Вспоминалось: ехал по прилегающему к Ворам полю. Там сорный бугор. На бугре стояли репьи, многоголовые, колкие и красные,— репьи в закате. Потом въехал в село, мальчишки бегут... Кто-то стоял у Пуфлиной загороды, гнедой масти: или петух, или собака... нет, петух! Потом девчоночка, у ней соломинка в волосах. Чигунов поит коня, Чигунов знает всегда и все. Мухи ползают по столу. Крепкий, целый и живой едет Половинкин, осязаемый выпученным Егоровым глазом. Потом пил воду...

И вот Егор Иваныч опять поднялся, но уже не надолго.

— Мамынька... — зашептал он по-ребячьи жалобно. — Мамынька, я головастика проглотил!..

Яма уже поджидала его, и он покатился в нее, цепляясь за койку, за овчину, за протянутую погладить сына сухую руку матери. Этот обморок был даже нужен Егорке, как отдых. А мать глядела раскосившимся взором за черное окно, и по лицу ее скакал тот же красноватый, утомляющий свет коптилки.

X. ПАНТЕЛЕЙ ЧМЕЛЕВ

Постороннему человеку представлялось это дело так.

Тотчас же от Рахлеевых разверстщики пошли обедать к Пантелею Чмелеву. Близилась обеденная пора. Полдень выдался нестерпимый, сжигающий. Немыслимо было ходить в такую жару по избам и вскрывать мужиковские тайники.

Чмелев сам встретил их — Петра Грохотова, Матвея Лызлова и продкомиссара. Он почтительно и хлопотливо усаживал их за стол, покрикивал жене подавать скорее. Гости расселись. Матвей Лызлов поглаживал русую круглую бороду, ею заросло у него все лицо. Петр Грохотов писал что-то в записную книжку. Продкомиссар с неприметным любопытством приглядывался к хозяину.

Пантелей Чмелев и в самом деле стоил продкомиссарова вниманья. Небольшой ростом, он таил под наружным тщедушием своим какую-то тихую внутреннюю силу, видную только через глаза. Она блестела оттуда то короткой вспышкой ума, то какой-то чудесной добротой, то вдруг волей. Был Чмелев порывист до суетливости, но в суетливость свою вносил он осмысленность, суетливостью своею он не тяготил.

Казалось бы: владеть Пантелею Чмелеву при его трезвости большой, десять на десять, избой с обширными подсобными пристройками, а в четверть избы печь, а в печи всякие мужиковские яства. Да и ходить бы ему не плоше покойного Григорья Бабинцова, который на сход иначе и не выходил, кроме как в жилетке. Не везло Чмелеву; нещадней, чем других, мочалила его жизнь. А ущербы посещали его хозяйство не вследствие какой-нибудь нестройности — у Пантелея глаз щуркий и зоркий,— а по недогаданным причинам, которые как майский снег. То у него вымокало в мокрые весны вчетверо против других, градом выбивало втрое, случалась ползучая дрянь — пожирала вдесятеро, словно слаще было на чмелевских полосах. Так и всегда с незадачливым мужиком: сторожит его и в темную непогодную ночь, и в погожий полдень хитрый, несытый враг.

Этот Чмелев, растеряв двух сыновей на войне, остался жить вместе с женой и глупой Марфушкой. Марфушка Дубовый Язык приходилась ему дальней родней. И оттого, что не оставалось Чмелеву утехи в своем хозяйстве, стал ее искать на стороне Чмелев и нашел. За те годы большие перемены произошли в стране. Перетасованы были карты заново, пошла новая игра по небывалым правилам: некозырные хлопы побивали заправских королей.

— Явно, теперь мы оправимся, вот как накипь сымем... — говорил за обедом Чмелев в ответ на продкомиссарский вопрос, как живут. — Суди сам, друг! У нас до девятьсот пятого один самовар на деревню приходился, а теперь коли уж нет самовара, так, значит, пропили! Тут еще кооперация... опять же наука! Все это предоставлено. Вот как Свинулина погромили, книжек я наменял у мужиков: на курево хотели, да бумага толстая. Очень достойные книжки. Ну, скажем, на всякий предмет есть своя книжка. Очень увлекательные есть! Например, сказать, по нашему делу, по хозяйству. Да и не по нашему, вот, скажем: похождения капитанской дочки! Очень подробно там про Пугачева и все прочее. Бабы-те мои руга-

ются,— добавил он улыбчатым доверчивым шепотом,— очень на книгу злы, городская затея, времени отымает много... А как я гляжу, нам без города никуда. Вот ты намедни говорил, что без гвоздя да без ситцу не проживем. Я тогда, конешное дело, промолчал. А только это не так. И мы ходим, штаны-те не гашником назад надеваем. Кузнецы-т да ткачихи и у нас есть. Город нам из других причин нужен. Эвон, третьевось, слышу, соседская баба махонького поучает: в мышу, говорит, костей нет. Он, говорит, не имеет кости, потому и может в любую щель вобраться. Растянется на аршин и лезет. Вот откуда вам идти надо! Заместо старшего брата вы нам нужны. И потом, конечно, понять его нужно, мужика... Без понятия, так лучше уж воду толочь!

Окончив речь, Чмелев стал со смущением передвигать вещи на столе — тарелку с хлебом, солонку, ложки. Продкомиссар слушал, не пропуская ни слова. Петр Грохотов зевал, Матвей Лызлов посмеивался.

— Вот так-то заговорит иной раз, так и заснешь под него... — сказал Матвей Лызлов. — А правду говорит. Ты, Пантелей, лучше вот скажи, как ты советским-то сделался. Он до этого любопытен,— тронул он продкомиссара за рукав,— все расспрашивал меня вчера... Вот это ему любопытно узнать. Пускай в городу расскажет!

Продкомиссаровы длинные руки пощипывали бахрому розовой скатерти, нарочно для гостей вынутой из сундука.

— В самом деле, расскажите... — попросил продкомиссар. — Я и вообще очень рад, что познакомился с вами. Только вот в этом пункте я с вами не согласен. Сперва, по-моему, нужно вековую кожуру снять, предрассудки, я хочу сказать, а там уж и дальше ехать. У вас-то как будто наоборот выходит?

— А вот я и скажу,— прищурился Чмелев, разглаживая шитье скатертки ладонью. — Вот и у меня причина была, и невелика, а затронула!

И, как бы смутясь внимательного взгляда продкомиссара, принялся сурово сцарапывать подсохшую глинку со своих обмоток Чмелев. Старший Пантелеев сын умер уже в Ворах и одно только оставил в наследство отцу: эти серые солдатские обмотки. Чмелев накручивал их прямо поверх мужиковских онучей, отчего получались у него ноги невиданной толстоты. Поэтому всегда он помнил о сыне.

Из Пантелеева рассказа выходило приблизительно следующее: прошлым годом ездил Чмелев в уезд. Поездка долгая, в два конца — неделя, потому что летняя дорога обводила вкруг всего Кривоносова болота. Кривоносово — потому, что и сюда достигали передние Пугачевы отряды,— руководил ими Кривонос. Он и скрывался в этом болоте, когда двинулись царские войска брать Пугача.

И когда ехал там Чмелев, подсадил к себе по дороге человека, попавшегося ему под вечер. Видно, что человек хороший, в исполкомах подводы не требовал из-за страдного времени, значит — сочувствующий мужику. Его, так и шедшего от поля до поля, и подобрал Чмелев.

— Садись, подвезу,— сказал Чмелев.

— А что ж, и сяду,— отвечал тот.

— А как звать-то? Ишь борода-то черная какая!

— А звать меня Григорьем,— отвечает.

Ночные пути не коротки, а часы вкруг Кривоносова болота долгие. Разговорились оба. Лежал Григорий в телеге на спине, на сене, и, глядя в ночное лунное небо, полное к тому же звезд, принялся рассказывать про всякое: какие в небе звезды, какие им числа, из чего сделаны и как до них люди докинулись умом. Рассказывал Григорий не спеша, голосом тихим, посасывая самодельную трубку. А Чмелев, хоть и молчал, слушал со всей остротой мужиковского слуха, и, хоть была ночь, вдруг стало жарко Чмелеву от Григорьевых слов.

— Очень дерзко насчет каждой звезды говорил. Я уж потом-то и понял: кажная наука дерзкая!.. Тут я и решился спросить. «А правда ли,— спрашиваю как бы ненароком,— что до Христова рожденья вот не было звезд показано? А как родился, так и явлена первая?.. Нам деды сказывали».

И уже ждал Чмелев, что загрохочет Григорий над мужиковской темнотой, над вредной глупостью Пантелеевых дедов, а Григорий не засмеялся. Тем же ровным толком объяснил он так, как сам понимал: ходят звезды по большому мраку... всегда ходили и всегда будут ходить, нигде им не поставлен срок.

— Я и говорю, что-де, может, врешь ты?..

А Григорий вынул из сумки трубку, раздвинул ее и предложил Пантелею самому взглянуть хотя бы на луну. Остановил подводу Чмелев, посмотрел и тяжело охнул.

— Словно, понимаешь, в сердце оборвалось что. Гляжу, а луна-те рябая! Батюшки мои, думаю... да как же так?! Ну, вот воску на снег вылить, такая же. И очень мне захотелось

тут до всего досмотреться, нет ли где-нибудь еще такого... одним словом, ну, непохожего!

Задрав голову, Чмелев глядел в ночное небо и таким удивляюще прекрасным видел его в первый раз. И уже казалось Пантелею Чмелеву, что врастает он сам головой в эту черную зовущую пучину, в которой вдруг нашелся свой план и смысл.

— Так мы и ехали. Он-те заснул потом, а я все в небо и ротозел. Ротозел-ротозел, да на березу и наехал... — с тихим смешком повествовал Чмелев. — Береза-то в этом месте на дорогу, вишь, вылезла. Там и объезд был, да я не видел, задравши голову. Очень это замечательный человек Григорий! Все во мне перевернул, а не обидно... В уезде вылезает от меня, да и смеется: «А ведь ты, говорит, большевика вез!» Вот уж тут-то, сознаюсь, и раззял я рот-те!..

— Это агроном с Чекмасовского опытного поля, Григорий Яковлич звать,— вставил свое слово Матвей Лызлов, откусывая хлеб.

— А потом-то встречался с ним? — взволнованно спросил продкомиссар; он ел мало, зато слушал жадно.

— Да наезжает-то часто... Все на картошку меня уговаривает. Он меня учит, а я его,— кто чего не знает. Складно у нас выходит. Он и останавливается у меня.

— То есть как это на картошку уговаривает? — заинтересовался продкомиссар.

— Да ведь местность у нас все больше прямая, как ладонь... Опять же земля такая. Выгодней всего картошка, если, к примеру б, завод тут еще построить... А то далеко возить... Под уездом, там есть терочный один, бывшего Вимба,— объяснил Чмелев знающим тоном.

Петр Грохотов пил молоко с хлебом и во все время Пантелеева рассказа подзуживал Марфушку, сидевшую в отдалении. Марфушка уговаривала его взять ее в жены, а Петр смеялся, что, мол, лицом нехороша.

— А ты мне платье купит, хоротая тану,— тянула Марфушка, кривляясь.

— Э, нарядить тебя, значит? Этак не выйдет. Наряди пень, и пень хорош будет.

— Я не тарая,— твердила Марфушка, и глупое лицо ее на мгновение озарялось настоящей мольбой. — Возьми, Петрутка... Больно мне надоело в девках-то ходить!

— Ладно, вот ужо, через недельку,— пошутил Петр и встал с лавки. — Вы уж тут рассказывайте, а я поспать пойду,— громко сказал он. — На сеновал к тебе можно, дядя Пантелей? Я ведь некурящий.

— Ах да... Что у вас давеча за скандал вышел? — вспомнил продкомиссар, вопросом наморщивая лоб.

— Это у Рахлеевых? — потягиваясь, спросил Грохотов. — Да так... Каждый день бывает!.. — и пошел.

Уже без Грохотова стал Чмелев рассказывать, как он объяснял про звезды мужикам, а мужики ему ответили: «Нам ни к чему, мы землю пашем!» — и какие сам почитывает книжки, и как книжки помогают ему жить. Обед уже кончился, и хозяйка, сняв скатерть, вытряхнула ее за окном. Стоял самый разгар полдня. Все живое дремало, даже затихшие в остекленевшем воздухе деревья. Один только чмелевский петух, пышнохвостый и с плоским гребнем, ошалело долбил сухую гнилушку под самым окном, ища в ней хоть капельку съедобного смысла...

Скоро ушел и Лызлов, и продкомиссар со Чмелевым остались с глазу на глаз в пустой избе. Полтора часа длилась их беседа, и все еще не устал слушать Чмелева его гость. Тут-то и вбежал очень бледный Лызлов и, не глядя ни на кого, сказал:

— Петьку убили.

— Где убили?.. — вскочил Пантелей, обычно прищуриваясь; подбородок его сразу как-то выдался вперед. Для своих лет он проявлял удивительную живость.

— Во ржи нашли... В плечо топором хлестнули!

— Это Семен! Арестовали его?.. — спросил Чмелев, потерянно шаря рукой по столу.

— Да-да, арестовать нужно,— заторопился продкомиссар изменившимся голосом.

— Семена-те?.. — проговорил Лызлов. — Убежал Семен. Я послал двух исполкомских за ним... Он у одного винтовку вырвал, а другого повалил.

— Куда же он мог уйти? — потерянно спрашивал продкомиссар.

— Да в лес ушел, к этим... летучим, за Курью! Агафьина девка видала, через мосток бежал...

— Очень плохое дело! — решил Пантелей Чмелев, наматывая и сматывая какую-то веревочку с пальцев. — Теперь уж не найти... — Чмелев встал и обернулся к окну.

— Да, уж Семена не найти... это правда,— согласился Лызлов и потер лоб, как бы стараясь стереть со лба печать заботы и повседневных волнений.

— Я не про Семена,— резко перебил его Чмелев. — Я про другое. Утерянного, говорю, не найти. Очень плохое дело. Теперь начнется уж...

Так представлялось это дело человеку со стороны, но не таким было оно в действительности.

XI. ПОЛОЖЕНИЕ УСЛОЖНИЛОСЬ

С этого дня быстрей пошло колесо.

Село заволновалось, заметалось в целой сети событий и с каждым движением все туже запутывалось в их лукавых петлях. Догадки будоражили мужиковские умы, одна другой непонятней. Ходило смутное указанье, скоро, впрочем, рассеявшееся, что Грохотова убил не Семен, а Фетиньин муж, мужик злопамятный и во хмелю неудержный. Это тем более походило на правду, что и нашли-то Петьку на Фетиньиной полосе. Странную хмельность Фетиньина мужа подтверждала и молодая Аксинья Рублева. Спросила Аксинья в тот вечер: «Ты с чего это, Фетиньин муж, куражишься? Вот жена-те намылит тебе голову!» А Фетиньин муж объявил ей на это турка, то есть кукиш с вывертом и с прибавком трех очень неуказанных слов. Подпрятовская старуха утверждала свое: всему писарь Муруков виной! Прислали из уезда на волость три пары обуви: две пары женских полсапожек на высоком каблуке, а третьи — на картонной подошве бахилки, для покойничка. Лызлов Матвей и отдал жене своей пару, чтоб носила за советскую власть, потому что вконец обносилась баба, ходила совсем босая, даже в церкву нечего надеть. Остальные две пары, и в том числе покойницкие, председатель сдал в цейхгауз. А тут Муруков и пришел: «Дай,— говорит,— Матвей, и мне пару за советскую власть. Я все дни напролет пишу, дай и мне». Лызлов выдал ему покойницкие, а Муруков обиделся. Задавали после этого вопрос подпрятовской бабе: «Дура ты, баба! Петька-те при чем же тут?» А Подпрятова так даже и озлилась: «Да какого ты шута с Петькой ко мне лезешь? Како мне до Петьки дело? Хошь бы и всех их, Петек, переколотили!» Третьи, у кого сыновей в лесах не было, проще всех объясняли. Сидели дезертиры, видят — Петька идет. Они и сказали: «Товарищши,

гляньте, Петька идет! Не скувырнуть ли нам его с дороги?» Тут и был сужен конец Грохотову. Четвертые такую околесицу несли, что и повторять совестно.

Тяжелей ночи полегла на всех неоткрытая вина. Это потому, что в Семенову вину сперва не верили. И когда в последующий день встречались с исполкомскими, как-то особенно сутулились и скользили мимо, прикидываясь невиновными, и в самом деле невиновные, мужики. Сигнибедов где-то выглядел, что послана в уезд красная бумага, какое злодейство учинено над советским человеком в Ворах. «Помяни мое слово, будет бабам вытья!» — сказал Ефим Супонев Гарасиму. Гарасим эти слова крепко в себя принял, стал бережно взращивать чертополошье семя этих слов, хоть и жгло оно душу и, прорастая, звало на дальнейшие дела. Та же самая чернота, что висела месяц назад над брыкинским домом, могуче распростерлась теперь над всем селом.

И верно, была послана в уезд бумага с нарочным красноармейцем. Должностным языком уведомлялось в ней, что приходят на волость события чрезмерной важности,— нужна для предотвращенья их крепкая рука, и рука не пустая. Сообщалось также в бумаге мелким муруковским почерком, что полны окружные леса проходимцев дезертирского звания, а особенно те леса, что зовутся Исаева Сеча и прилегают кольцом как к Ворам, так, с семиверстной долины, и к Попузину. А живут дезертиры охотницкой коммуной, называют себя летучей братией, по утрам звонкими песнями перекликаются с птицами, напоминая прохожим о вредном своем существовании.

И не доле того как в пятницу, в приходский праздник, носили старички самогон своим блудящим сыновьям, с ними и пили. И все село, пятьсот пар ушей, слышало, как наяривала в лесу оголтелая дезертирская гармонь, сопровождаемая балалайками. Вечер тот был из ряда вон чуткий и слышный. А орудует среди них за главного дезертир Михайло Жибанда, удачник в любом непристойном деле. Лишь про то не было указано в муруковском писанье, что пустых среди летучих нет, у каждого винтовка, что имеются у мужиков и пулеметы, наследие от царской войны, и всякий другой, годный для убийства снаряд. Про пулеметы посовестился упомянуть Лызлов, боясь подвести под полный разгром свое богатое село. Куцую, таким образом, бумагу вывез посыльный красноармеец в уезд.

Четыре дня ехал гонец, а события не ждали. Катится колесо, приспущенное с горы, не вбег, а вскачь,— где его опере-

дить кволой мужиковской клячонке! Уже напряглись сердца воров ожиданьем неминуемого. Уже свистел унывно воздух от размаха колом.

На особом исполкомском совещании, происходившем в вечер грохотовского убийства, предлагал Матвей Лызлов не сдаваться на мужиковские угрозы, дабы не показывать очевидной слабости. Продкомиссарово же предложение состояло в том, чтоб отослать часть мужиков с подводами отвозить собранный по разверстке хлеб на железную дорогу. Смысл всего этого — продержаться неделю до прибытия подмоги из уезда, твердо держа единую линию в поведении, не искривляя ее ни в чем. Мужик Чмелев во время совещания только головой качал да хмурился. В продкомиссаровых словах виделось ему простое незнание мужиковских настроений.

— Не поедут,— тихо сказал он. — Разве время теперь лошадей занимать? Да и людей тоже. Им тогда еще больше прицепка выйдет. Вы, скажут, нашим же хлебом работать нам мешаете...

Матвей Лызлов, ныне в выцветшей синей рубахе с ластовками, тер руки и все силился вызвать на лице выражение непоколебимого спокойствия. Однако то и дело мысли его выдавала грустная улыбка; в его непрестанном постукиванье по столу тоже звучала некая растерянность. Половинкин сидел у раскрытого окна и безостановочно курил. Один только Муруков все писал и писал, настолько приблизив нос к бумаге, что даже коробился листок от его дыхания. На минутку выходя из избы, он приклеивал хлебным мякишем все новые и новые объявления на исполкомскую доску и притирал рукой, чтоб не сорвало ветром. Вернувшись, он шептался с Лызловым и Половинкиным и писал новое уведомление, просившее мужиков во имя ответственности момента не волноваться, а с подобающим всякому гражданину спокойствием готовить теплые вещи к завтрашнему дню. Что же касается куриного налога, четыре яйца с курицы, то разрешалось заменить яйца медом, и воском, и полотном, и даже хлебом, у кого остался.

Напряженность этого заседания, в котором участвовали восемь человек и которое было последним в Ворах, была усугублена еще тревогой по той причине, что в окружности уже начали пошаливать мужики. Накануне в деревеньке Малюге был убит председатель, мужик грубый, но прямой, которого знали и в уезде. Убийство никакими волнениями не сопровождалось, а просто вывели за околицу и убили ножом, труп же

запихнули в трясину, такую тряскую, где тройка с седоками в две минуты уйдет. Малюгинские недаром за чертей слыли в окружности: живут в местах особо жидких и человека ценят не дороже нового топора.

— Спать теперь придется только по очереди,— сказал Чмелев тихо. — Они если и полезут, то ночью.

— Ближе двух дней не полезут,— сказал Лызлов, размазывая муруковскую кляксу по столу. — А готовиться, конечно, не вредно. Володьку-то Васильева тоже ночью взяли. — Володькой и звали малюгинского убитого.

— Обыскать бы их,— начал Половинкин, сосредоточенно промолчавший все заседание. — Оружие отобрать, а там уж легче...

Он не досказал, окликнутый сзади, из раскрытого окна.

— Извиняюсь за беспокойствие! — сказал кто-то, наполовину появляясь в окне и, очевидно, стоя ногами на завалинке. — Дозвольте прикурить! — и теперь почти весь втянулся с незакуренной цигаркой в окно.

Все увидели. То был среднего роста, уже не парень, с залихватски-палевым цветом лица. Светлые усики казались приклеенными к верхней губе, такое было в них удальство; подбородок чисто выбрит. Фуражка его, замятая и старого образца, чудом держалась на затылке, а на лоб приспускался гладкий завиток русых волос. Прикурив у Половинкина, он спокойно и щурко оглядел всех сидящих вокруг стола.

— Все заседаете? — сочувственно усмехнулся он. — Ну, заседайте! — Потом свистнул, лихо козырнул, и сразу его не стало.

Половинкин собрался было продолжать свои рассуждения о необходимости обыска, но поперхнулся словом, пугаясь оцепенелого вида остальных; Чмелев переглядывался с Лызловым, Муруков никак не мог вытащить ручку из чернильного пузырька, точно держал ее пузырек зубами. Прочие имели вид такой, словно собирались вспорхнуть и улететь.

Первым пришел в себя Лызлов, выругался и вылетел за дверь. Слышно было, как кричал он что-то часовому и как побежал часовой за угол избы, на ходу щелкая затвором.

— В чем дело? — спросил Половинкин, обводя оставшихся глазами: по мясистому лицу его разом пролегли четыре складки.

Никто ему не ответил. Все настороженно ждали выстрела, но выстрела так и не последовало.

— Так как же?.. — повторил Половинкин, дыша с открытым ртом.

— Вот те и как же! — заворчал Чмелев. — А ты знаешь, кто у тебя прикуривал?

— Ну? — насторожился продкомиссар.

— Мишка Жибанда... собственной личностью! — отвечал Чмелев и пошел затворить окно.

Тут вернулся Лызлов и неуверенно встал у притолоки. Первое, что ему бросилось в глаза,— Половинкин пересел от окна, и теперь позади него приходилась стена. Это он увидел и об этом не промолчал.

— Стрелять, Сергей Остифеич, будут, так и сквозь стену достанут! — громко сказал он. — Вертеться теперь нечего, стой до конца! — и, подойдя к столу, полез без спросу за махоркой в половинкинский кисет.

...К ночи заволоклось небо. Ночь вышла душная, темная, неспокойная. Рассвет не принес облегченья. Тучи, словно из гор их вывернули, кремневых цветов, налезали друг на друга. Не упало из них ни капли на истрескавшиеся поля. Где-то за тучами неслышно переползало солнце в знак Льва. Был канун Петрова дня. Цвела рожь. Мужики спешили покосом занять пустопорожнее время между Петровым днем и Казанской. Рожь выходила ранняя. На Курьей пойме, в виду попузинских косцов, косили Воры с самого утра.

Уже четвертина скошена была, когда поустали. Присев кто на чем, развязали узелки, стали есть. Вместо шелестящего посвистывания кос побежали по лугу тихие говорки, но смехов среди них не было. В этот день к Дмитрию Барыкову приставала Марфушка, чтобы замуж взял: «Возьми да возьми. А плохо говорю, так я молтать буду...» К этому времени усилилась в дурьей голове истовая вера в грядущего к ней жениха. Только бы и посмеяться над ней, кудлатой и седой, над постылою всем босотой ее, над ее несвадебным нарядом — холстинная твердая юбка цвета белой лесной плесени. Было не до смехов.

Поприслушаться к говоркам — со страхом услышать: в шумную половодную реку грозили сбежаться малые ручейки. Говорили словами какими-то искривленными до неузнаваемости, маловнятными, но каждое слово таило в себе темный смысл. Двое громче всех спорили: Лука Бегунов и Ефим Супонев. К ним подошли послушать и сами незаметно для себя вплелись в спор. Через десять минут гудело то место криком

и руганью. Собственно говоря, спора не было, все на одном и том же стояли согласно, но нужно было сердцу дать волю гневу, а горлу — крик. Какой-то мужик в веревочных шептунах лез, посовывая в воздух кулаками, напирал на Прохора Стафеева, чертыхаясь и вопя:

— Нельзя! Этак нам никогда из кнута не выйти...

— Умных людей надо ждать! — стоя прямо и твердо, упирался Стафеев. — Тинтиль-винтиль, из палки не выстрелишь!

— Умные-то все с голоду подохли. Мы уж сами! — налезал в шептунах, усиленно суча кулаками.

— Да как же! — метнулась на Прохора баба, решительно проталкиваясь в самую середину людской кучи. — Уродилась у меня на полосе-то лешая щетинка! Ее не обмолотишь... Ячмени совсем не колосятся. Да рази они мне дадут? А я самадесята! Вот ты и смекай! Как же мне отдать-то!

— Так ведь отдала же! — сипло задорила другая баба, с носом в пол-лица.

Уже получалось подобие схода. Стихало на минутку, но возгоралось вновь. И снова наскакивали друг на друга мужики, замахивались впустую, отскакивали, кружили все неистовей. Природа затихала, прислушиваясь к бурлящему гулу человеческих душ. Тут в самом разгаре кто-то за спинами мужиков сказал чужим голосом: «Смену надо!..»

Слово это, произнесенное с твердостью, хлестнуло, как удар ветра, и сразу заставило умолкнуть гул почти всего луга. Медленно, точно боялись свихнуть шеи, мужики поворачивали головы назад. Вблизи никого не было, зато дальше, держась за тощую полевую рябину левой рукой, стоял Семен Рахлеев. Как больной, он глядел со сдвинутыми бровями куда-то поверх людей и луга, куда-то в пасмурные обширности неба, откуда нависала почти отвесная туча. Не сводя глаз с Семена, мужики стали отступать от него, пятясь задом.

Вдруг он сорвал с себя картуз и резко, — словно, отчаявшись, землю самое в поруки себе призывал, — ударил им оземь.

— Э-эй, серячки!! — услышали первый его призыв мужики и увидели, как выдался он грудью вперед, точно ставил ее под удар. — Хочу вам рассказать, за что я Петьку убил...

Слова у Семена были все какие-то подрагивающие, подрагивали и губы. Он уже не останавливался в начатой речи. Рябинка, зажатая в его кулаке, покорно потряхивала листьями при каждом его словесном нажиме. На лицо его, если бы вблизи стояли, было бы трудно глядеть мужикам. Нестерпимой

болью, как у Федора Стратилата, осенилось его лицо. Он и сам не помнил потом, о чем говорил, потому что говорил как в бреду, но выходило складно,— как если бы с косой шел по цельной траве.

Понуро стояли мужики, слушали с неслыханным вниманием, хоть и не было ни одного сладкого слова в Семеновой речи. Промежутки молчания в ней были как бичи: такими сгоняет воедино разбредшееся стадо пастух. Осью было то, о чем неумолчно болели воровские сердца: Зинкин луг, а вокруг оси вертелись все малые и немалые колеса — и ненасытный город, и прежний опыт, и грядущая расправа за убитого гусака. Первоначальное подозрение мужиков, что хочет Семен взбаламутить мир, чтоб собственное злодейское дело мирским грехом покрыть, теперь рассеялось само собой. Вдруг заплакала маленькая девочка, держась за материн подол. Заплакала потому лишь, что особенно напряженно молчал ее отец, тяжко опершись на косу. Услышав ее плач, мужики неожиданно загу́дели, чтобы потом так же неожиданно затихнуть.

...Именно затишье наступило в Ворах. На улице никто не показывался, назначенных яиц никто не принес. Уже неписано была объявлена война, но обе стороны молчали, выжидая ходов противника. Поп Иван Магнитов, прикинувшись трудноболящим, не служил никакой службы даже и ради Петрова дня, хоть и грозили ему чреватые последствиями мужиковские недоуменья. Даже ребятам своим воспретил Иван Магнитов выбегать на улицу, чтобы не напоминать о существовании в Ворах Магнитова Ивана.

В не меньшей тревоге пребывал и исполком. Дважды ездил Сергей Остифеич в Чекмасово, на телефон, чтоб сговориться с уездом. Провода, пущенные по деревьям, оказались перерезанными. Из проводов наделала себе летучая братия невиданные запасы балалаечных струн. И в тот день, когда, отчаявшись совсем, в третий раз отправился Половинкин в Чекмасово, весело звенели на девяти дезертирских балалайках те самые советские провода.

...Там, в лесу́, выходил на середину пушистой лесной полянки долгоногий верзила Петька Ад. Он обхватывал себя самого длиннющими руками, подбирал полы рваной шинели и, с прыжка, укоротившись в росте, такого плясака показывал, что у толстопятого пензяка Тешки, первого плясуна у себя в Пензенской, зеленело от зависти в глазах.

XII. УДАР

Ввиду того, что не только яиц, но и яичной замены никто не принес, решено было пойти по избам. Исполкомская комиссия, в составе продкомиссара, Матвея Лызлова и красноармейца, вышла после обеда второго дня из исполкомской избы и направилась на выселки, откуда предполагалось начать обход. По настоянию продкомиссара выход был сделан без оружия, чтоб не будоражить зря мужиковского воображения. Только красноармеец был снабжен винтовкой, ибо, будучи без винтовки, он скорее возбудил бы подозрение мужиков.

Этот необдуманный шаг и поверг наземь зловещую тишину того дня.

А день выпал удушающий. Низкой облачной паутиной был заткан небесный свод. Парило. В безветренных полях никли цветы: даже и цветам нечем было дышать.

...Кура от века бабьей птицей слыла. И едва пронизала Воры весть, что пошли обходом исполкомщики, побежали бабы к ним навстречу, наспех на щеколды и засовы затворяя дома. Мужиков нигде видно не было, один только высокий бабий стон стоял на широкой улице села. Бабы бежали с пустыми руками, но гневные, встрепанные, похожие на наседок, вспугнутых с гнезда.

Продкомиссар шел не быстро, немного поотстав от Лызлова с красноармейцем, ушедших вперед. Их тотчас окружили и разъединили бабы.

— Нет тебе яиц! — закричали они хором; их предельное возбуждение делало их опасными даже и для взвода солдат, а тут было всего трое безоружных. — Грудные ребята у нас осолодку жрут... а мы тебя, зевластого, яйцами кормить станем?

— ...разор, разор! — безостановочно выла какая-то, напрасно силясь прорваться к продкомиссару сквозь непроницаемое кольцо остальных.

Одни оттирали других назад и сами лезли на продкомиссара, который терпеливо повертывал голову то в одну, то в другую сторону. Какая-то, кривая и бесстыжая, со сбившимся назад платком, кричала пронзительно в самое его ухо, опираясь на его же плечо:

— А у меня вот петух сломался... кур не топчет совсем! Дедку́, что ль, закажу, чтоб кур топтал?..

Комиссар не слышал, а когда услышал, то потер себе лоб, чтоб понять и вдуматься,— мешал крик. А когда добрался до смысла петуховой поломки, стало уже поздно. Бабы, атаковав-

шие двух передних, очевидно, были злей и упористей. Напрасно Лызлов и шуткой и угрозой силился отбиться от бабьего напора. Волна все подымалась, и уже нельзя было уйти из-под волны.

Тут Фетинья, которая жгуче крапивы и горчей полыни, подхватила куру, запутавшуюся в бабьих подолах и напрасно искавшую выхода, и с маху кинула ее красноармейцу в лицо. Это случилось быстро. Тот не успел остеречься, куриная лапа попала прямо ему в глаз. Он зашатался, зажмурился и невольно отпихнулся от баб винтовкой. На беду, в сутолоке бабьего бунта находилась и безвредная рублевская молодайка,— ходила на шестом месяце. Удар пришелся ей в живот. Она высоко и нелепо взмахнула раскинутыми руками и с пронзительным криком: «Убили!» — повалилась наземь, среди расступившихся в ужасе баб.

Вопль Аксиньи Рублевой был как бы молнией, гром не замедлил. Сотня бабьих голосов подхватила Аксиньин вопль. Улица стала пустеть. Бабы разбегались. И точно только этого последнего сигнала и ждали мужики. В подворотнях, в плетнях, в углах и закоулках заворошилось живое и рассерженное. Мужики бежали с кольями, косами и топорами. Вынесся откуда-то и Егор Брыкин. Блестя полоумными глазами, он волочил за собой шестерину, взмахнуть которой все равно у него не хватило б сил.

— В колья... На тетку Коммуну в колья!.. — трубным голосом взывал Сигнибедов и несся снизу в распахнутой жилетке, обливаясь потом и вытаращив глаза.

— ...о-о-о... — ревел Гарасим-черный и несся сверху с поднятым колом в руках, взмывая пыль гулким топом яловочных сапог.

Все трое — Лызлов, красноармеец и продкомиссар,— сбившись в кучу, оцепенело глядели вокруг себя. У Лызлова, как от великой боли, оскалились зубы, и был жуток желтый оскал крепких его зубов. Продкомиссар тер себе подбородок, бормоча что-то непослушными губами. А третий, зажимая ладонью подбитый глаз, с ужасом глядел уцелевшим глазом на бабу, поверженную в прах, и лежавшую рядом с ней винтовку. Красивое лицо рублевской молодайки синело и зверело от судорог. Отовсюду приближались...

— ...что ж это вы, товарищи, бабу мою обидели? — ядовито прошипел кто-то сзади.

Они обернулись, все трое. Тут-то и наскочил на них, со спины, верхним ястребиным лётом, Гарасим-черный.

XIII. ВОРЫ ГУЛЯЮТ

Сергей Остифеич провел весь тот день до самого вечера в Чекмасове.

Телефон не действовал, но в трубке как-то звенело, словно кто поддразнивал с другого конца порезанного провода. К вечеру Сергей Остифеич затянул ремень на шинели потуже и выехал в Воры. К этому времени уже совершенно сложился у Сергея Остифеича план: надо заехать в Воры за бумагами и с каким-нибудь поручением уезжать в уезд от начинающихся бесчинств... Ехал он не спеша, потому что небезопасно было шуметь по темени возле этого края Кривоносовых болот. Поразному шалила в тех местах летучая братия над проезжими. А лошадь у Половинкина была белая: хорошая цель в темноте. В одном повороте дороги Сергей Остифеич даже соскочил с лошади и вел ее на поводу, пока не миновался подозрительный осинник. Сергей Остифеич был прав: уже не храбрость, а глупость — подставлять себя под баловную пулю незнакомого удальца.

С самого начала Попузинского луга ударил по Сергею Остифеичу ветер, донес всплески дальнего набата. Место тут было очень просторное. Сергей Остифеич вскочил в седло и хлестнул лошадь. Воры, окруженные лесами, не были видны Сергею Остифеичу: он подъезжал с юга. Тут ему показалось, что видит на облаке отсвет огня. Причина набата стала ясна. Опасности не предвиделось. Сергей Остифеич еще раз подхлестнул свою кобылку.

С опушки, ближней к Ворам, стало видно: пожар. Очевидно, горел какой-нибудь из крайних домов. «Разойтись пожар не может, ветер не в ту сторону. А вместе с тем и хорошо: внимание мужиков хотя бы временно отвлечется на тушенье. А там, может быть, и совсем схлынет, рассеется мужиковское недовольство. Не долог мужиковский гнев!» — так думал Половинкин, трясясь в седле. Набат стал опять слышен. Исступленно и без сопровождения малых колоколов бухал большой, в суматохе утерявший все свое достоинство старшинства. «Должно быть, Пуфла горит!» — подтвердил свои догадки Половинкин и в третий раз подогнал коня.

Он приближался к Ворам бесшумно, тонули в глубокой пыли стуки копыт. И вдруг перед самым селом стало жутко. Он напрягся до багрового стыда и переупрямил страх. Привязав кобылку к перилам моста, он пешком добрался до подъема

холма. Попалось на пути подобие водоотводного рва; Половинкин переполз его. К этому времени стало совсем темно, приходилось идти почти на ощупь. Так, в темноте, он нашарил плетень крайнедеревенца. Жгучее, неосознанное любопытство охватило Сергея Остифеича,— вот так же в царскую войну, когда в темноте нужно было миновать вражеский дозор или черный наблюдающий глазок пулеметного гнезда. Это было любопытство здорового человека к смерти. Приникнув к плетню, он выглянул.

Несмотря на потемки, улица была вся видна, освещенная лохматым светом пожара. Горела исполкомская изба, стоявшая чуть-чуть на отлете. Ветер затих, и огонь выпрямился. Дыма не было, целые рои небыстрых искр порхали в темноте. Красные сумерки стояли над селом. В улицах царило непонятное оживленье. Вдруг оборвался набат. Кто-то, перебегая от дома к дому, кричал хрипло и властно, из последних сил: «Братцы, оружайтесь! Братцы...» Его призыву отвечал неровный гул. Сергей Остифеич не мог оторвать остановившегося взгляда от горящего исполкома. Покорял его и не отпускал идти этот огромный столб почти неподвижного огня.

Упавшее сердце стучало мелко и часто. Казалось бы: бежать Сереге, шпорить до крови белую кобылу, скакать с донесением в уезд. Но произошло другое. Село стало под знак мятежа. Исполком горел. Все нити подчинения его уезду были порваны. Половинкин ощутил себя освободившимся от всех недавних забот. Теперь он принадлежал себе самому. И целый вихрь осмысленных, здравых решений не одолел одного, неосмысленного. Что-то пошевелилось в груди, и грудь вздохнула, и тотчас же где-то там, на глубине, пощекоталось удивительное желание — побывать там, посреди криков, смятенья и опасности. Не отрезвленный и холодом ночи, он стал пробираться задворками к середине села.

Вдруг совсем вблизи загромыхала подвода. Дорога освещалась тем же огненным столбом. В свете его Половинкин узнал: воровский поп, Иван Магнитов, удирал на телеге, перегруженной доверху поповским скарбом и ребятьем. Сам он сидел на пузатом комоде, держа на коленях в обнимку самовар. После заворота дороги влево все это стало еле приметно, и только в глянце самовара предательски торчал красный отсвет пожара. «Ага, бежишь!» — с насмешливым волнением подумал Половинкин и хотел уже продолжать свое опасное предприя-

тие, но вовремя прижался к черной стене мужиковской бани. В мимо бегущей темной и широкой фигуре, спотыкавшейся и падавшей, узнал Сергей Остифеич попадью. Она догоняла поспешающего мужа, задыхаясь и крича шепотом:

— Отец, отец... поднос-те забыл! Возьми, на-кось, поднос-те... — Так с подносом, прижимая его к груди, и побежала она по склону холма, напрасно взывая к мужу.

Движение на селе необъяснимо усилилось. Горланили мужики, как бабы, а бабы ругались, как мужики. Куриный бунт, куриная смехота разбухли в страшную тучу на всю округу. Ужасом и кровью захлебнулись Воры в тот день. Временами, нежданная, как соглядатай, перебегала оголившуюся полянку неба луна и зарывалась в давящую мякоть облаков. И опять, как и Половинкин, терзаемый смертным любопытством, выскальзывала на долю минуты и опять пугливо пряталась. Было чему пугаться...

Уже вошла в Воры всем количеством летучая братия, доселе укрывавшаяся в лесах. Мужики встречали сыновей, бабы — мужей. Сигнибедов, разойдясь в порыве заметавшегося сердца, потрошил напропалую остатки своей торговли, сооружая угощенье чужакам. Есть никому не хотелось, пропала обычная жадность к еде. Нужно всем было пить, стало красно в мужиковских глазах от сожигающей жажды. Пронырливостью Егора Брыкина был открыт на радость всем целый самогонный завод в омшанике у бабки Мятлы, повитухи. Пили дико, и ковшом, и блюдечком, и прямо так, вприхлебку.

Хмельным и шатким шагом вышел с одного конца села Дмитрий Барыков, неся за плечом гармонь. Возле колодца как раз столкнулся он с Андрюшкой Подпрятовым и Егором Брыкиным, приятелями давнего детства. Вышли они с разных сторон, тоже хмельные, наобум, в неизвестность пьяной тьмы, а за плечами у них тоже повизгивало по гармони. Брыкин пьяным только прикидывался.

Как столкнулись, так остановились недоуменно, разом, по-бараньи, выставив лбы.

— Кстати жену пришиб,— самодовольно сказал Егорка и, сорвав картуз, повел им так, словно приветствовал теперешнюю свою хозяйку, самогонную разгульную ночь.

— Ге-е... — проблеял Андрюшка. — До смерти?

— Не, поучил только,— визгливо прохохотал Брыкин.

Постояли они и еще немного, носом к носу. Где-то бегали,

кто-то кричал. Душило зноем, потому что заперли нахлынувшие тучи все небесные отдушины. Уже не луной, а зарницами поминутно вспыхивало небо, черное, как черный порох. Вдруг Андрюшка крякнул и ловко подернул плечом. Трехрядка его отозвалась нотой и, подобно ученой собачонке, перескочила прямо под руку. То же проделали и приятели. Разом нажали все трое по четыре заветных клапана, разом растянулись гармонные голенищи во весь возможный мах...

Вот так же, давно, когда все трое и без вина бывали пьяны, хаживали они рядком, гудя в самодельные гуделки. Попозже — поживших в городе сильней манила жизнь — вот так же гуляли, выворачиваясь наизнанку в жениховском чванстве, покрикивая песни. Тогда еще пыжилась из них младость: подергивали робкий ус, чтоб рос скорей девкам на сердечную пагубу. И вот снова три неразделимых друга, вкусивших от соблазнов жизни, били злыми пальцами по гармонным ладам, и пели лады плясовым напевом о скорбном, непутном, нерадостном.

Худое лицо свое со впалыми щеками, но распухшее и красное, на сторону завернув до отказа, грянул во всю глотку Митя Барыков:

. . . . э-эх,
Загуляли заворуи,
Поддавай, старуха, щов!..

А уж по закоулкам бежали к ним однодеревенцы и чужаки из летучих, удалые и тихие, рябые и гладкие, богатеи и голь.

— ...пьяно, Тимак! — закричал один из них, маша руками так и сяк.

— На бугре стоим! — отвечал неизвестный Тимак во всю грудь. — Нам что! Мы всяку бяку пьем...

— Миленький... и мухомором упиться можно! — лез первый.

— Котуй, ребятишши... — отупело сказал какой-то, непрестанно топоча ногами в лаптях.

Крики усилились, подходила новая шумливая ватага.

— Поймали... Пленного поймали! — суетливо возглашал Савелий Поротый, тычась впереди; Савельев хмель был всегда мягок и весел.

— Кого пымали?.. — насторожился Брыкин и повел носом, вынюхивая.

— Серегу-гусака словили,— объявил невеликого роста, но могучего объема в груди человек, летучий Тешка. — Мишки-т Жибанды нет ли тут? Он давно у нас на Серегу зарился.

Раздались крики:

— Не-е, Мишка там... у Савелья в избе.

— У нас, у нас Мишка. С Семеном моим совещаются, как теперь дело повести,— хвастался от всей души Савелий. — Насчет Расеи обсуждают, брать или не брать!

Куча остановилась; в середине ее стоял, выдаваясь ростом, Серега Половинкин. Он щупал себе спину и поводил глазами, словно хотел запомнить всякое лицо.

— Хлястик-то оборвался. Поищите, тут где-нибудь... — попросил Половинкин.

— И без хлястика! Все равно теперь... — сказал какой-то, державший Серегу под руку.

— На комаря его! — запросил кто-то сзади.

— На огонек...

— Мы и без Мишки!

Половинкин посапывал носом и кусал губы, совсем заворачивая их вовнутрь.

Сзади опять закричали:

— На комаря его! На кома-арика-а...

— Комарь-то не ловок теперь,— озабоченно возглашал босой и древний старик, только затем и выползший со своих полатей, чтоб обсудить с молодыми Серегину казнь. — Какой уж теперь комарь!..

— Ничего, ничего, папаша,— утешал его хлопотливый парнишка,— зато пауту теперь самые времена! Опять же муравей! Хватит зверья...

— К болоту,— завопили задние, которым так и не удалось пробраться до Сереги и хотя бы пощупать его собственноручно.

— А кого впереди-т пустим? — перекричал всех Тешка, напрашиваясь на эту честь.

— Петьку Ада... Петьку! — закричало полдюжины голосов. — Петьку и пустим, у него ноги живые...

— ...в суставах тонкие! — восторженно добавил еще какой-то, не молодой; когда-то, видно, озоровал немало, да отозоровал свою молодость.

Так они, Тешке в раздражение, и пустили впереди Петьку Ада, парня двадцати восьми лет, длинного и тонкого, как жердь. Вышел тот,— кто-то осветил его вздувшейся папирос-

кой,— поглядел с виноватостью, вскинул глаза на зарницу, сказал как бы про себя:

— Ишь... летают какие!

Вдруг, словно схватила его смертная судорога, согнулся и разогнулся на одной ноге, а другою выбил мельчайшую дробь.

Эха-ху-ха-ху-ха-ху,
Д'хоть бы плохоньку каку... —

продержал он на одной высокой ноте.

Они уж и пошли было, ведя Сергея Остифеича на смерть, да тут как раз ворвалась в толпу Марфушка Дубовый Язык.

— Мужитьки! — Дурий голос ее умоляюще прерывался. — Дайте его мне, мужитьки... в женитки? Братка у меня убили, так я его жалеть буду... А?

Волосы ее растрепались, топорщилась вымокшая где-то юбка, обминаемая теперь коленями мужиков.

— Пошла ты к черту!.. Бесстыжая...

— Бей ведьму, мать твоя курица!

— Тащи ее туда же... — И кто-то схватил ее за юбку, но она рванулась и умчалась.

Больше никто уже не останавливал их в пути, а Серега и не пробовал бежать. Сотня рук цепко держала его по клочку, как добычу. Там, где-то в гнилой духоте Кривоносова болота, суждено было Сереге, голому, развязывать свинулинский узелок.

XIV. ХМЕЛЬ

У Семена в чистой избе сидели вокруг стола люди, верхи летучей братии и вся головка воровского мятежа. У двери толпились, полна людей была изба. На столе лежал большой ворох махорки и целый поднос хрусткой цветной карамели — все, что осталось у бывшего лавочника Сигнибедова. Всякий, кто хотел, подходил и брал.

Сбоку стоял старинный светец; обгорелый уголь со змеиным шипом падал в долбленое корытце, полное воды. Анисья, мать, стояла в переднем ряду и с тревогой слушала разговоры молодых, вершивших теперь дела всей волости. Изредка она цыкала на баб, чтоб поутихли.

Стояла и без того тишина. Заседание шло полным ходом, хмельных тут не было. Порядок заседания не нарушался никаким несвоевременным или вовсе не уместным замечанием,— такого порядка не случалось ни на одном из сходов.

Говорили в строгой очереди, словно ценили за краткость и дельность, а не за хвастливую красоту словесного завитка. И хотя обсуждались вопросы высочайшей важности, не больше часа на все заседание ушло.

Все к одному бесспорно склонялись:

— Нам одним против всей машины не выстоять. Нужно подкрепление звать, чтоб вставали всем миром, и беззубая бабка, и беззубое дите... — Так говорил Семен, щупая подбородок, зараставший бородой.

Тут же решено было послать верховых в Попузино, и в Сускию, и в дальнюю Чегодайку, и в ближнюю Малюгу, и в срединную Дуплю, чудом стоявшую на болоте, и во все окрестные места, где живут, чтоб шли с тем, что первым приглянется глазу. Тотчас, без рассуждений, вышли из толпы девятеро назначенных. Уже ждали их у крыльца девять неоседланных коней. Одновременно вскочили люди, одновременно топнули кони, одновременно на девяти концах села бурливой струйкой взбилась ночная пыль.

Заседание продолжалось. Мишка Жибанда достал из кармана смятую тонкую бумагу и вслух читал список всех советских в волости людей. При каждом утвердительном ответе он ставил возле прочитанной фамилии глубокий крест твердым своим ногтем.

— ...Чмелев Пантелей,— тихо прочел Жибанда.

— Есть,— печальным голосом ответил Афанас Чигунов, внимательно глядя в пятнышко на столе.

— ...Васька ему косой пол-лица срезал,— эхом шел толк среди баб.

— Шохин... — строго говорил Жибанда, ставя крестик возле Чмелева. — Бабы, языки оборву!

— Это который же? Двое Шохиных у нас,— как бы невзначай заметил Прохор Стафеев со стороны.

— Двое у меня и записаны... Захар Шохин, а еще Ефим... — пояснил Жибанда, пристальней вглядываясь в бумагу.

— Оба... Оба есть,— сказал Чигунов, не отводя глаз от пятнышка.

И опять эхом откликались бабы:

— ...за окно выскочил об одной штанине. В вас, кричит, сознанья нет... а сам все платок к голове прикладывал.

— Он в сени сунулся... — говорила другая так тихо, словно возле покойника,— а сени-те заперты. Он тоды в подвал

залез... А бабы-те, свои же, и кричат: «Захарко, выходи, тебя мужики ищут. Из-за тебя-те и нас всех прикончат...»

— Это за Зинкин покос ему! — сухо отрезала третья. — Как жил, так и получил.

— Василий Лызлов! — продолжал Жибанда.

— Упустили щенка... Наделает беды, горячка-парень! — угрюмо вставил Лука Бегунов и снова замолчал.

— Видели, к речке бежал. Так с берега и кинулся... — виновато сказал Прохор Стафеев. — Всю осоку сапожищами укатали мужики, искамши... а нет.

В этом месте заседания свалился уголь с лучины и зашипел в воде.

— А вот тут не разберу,— сказал Жибанда, прищуриваясь и поднося листок к свету. — Шурупов Кузьма... был такой?

— Дай я,— сказал Семен, взял листок и прочел: — Муруков Кузьма, правильно.

— Его как ранили, он было в рожь на четверне пополз... — вспомнил про писаря старый Подпрятов.

— Нашли во ржи-то? — обратился к нему Жибанда, не спеша ставить крестик возле писаря.

— Да нашли... — с ленивым раздражением отвечал Чигунов, для чего-то протирая глаза рукой; глаза у него и впрямь смыкались, точно утомились видеть столько в один день. — Ты читал бы скорей... чего там размазывать! Дело ясное, из-под топора не уйдешь.

А бабы сообщали подробности муруковского конца:

— ...старуха-те плакалась: зачем, баит, конечка-те бьете? Себе бы хоть взяли! Конечек-то, ровно огуречик, кругленький!

— Нашла, конечка жалеть,— насмешливо сказала высокая баба.

Так до конца прочтен был весь длинный список. И везде, кроме Васятки Лызлова да Сереги Половинкина, процарапал Мишкин ноготь глубокие отметинки смерти. И уже подходило заседание к концу — первоначальное напряжение поспало, и слышались разговоры посмелей,— когда, совсем неожиданно, вывалил Юда целый ворох папирос на стол, жестом предлагая закурить.

— Папирос-то откуда достал? — спросил Семен, покачивая головой.

Юда был один из летучих. Невысокий и складный, он имел улыбку хитрую, скользкую и опутывающую — такою де-

лали ее темные его, гнилые зубы. Лицом он был черноват и приятен, усики у него вились сами. Юдой прозвал его летучий Васька Пекин по неизвестным причинам и уже давно. Все время заседания Юда сидел в стороне, похрустывая сигнибедовские карамельки.

— На обыске нашел,— скромно отвечал Юда, разглядывая собственную узкую, с длинными пальцами, ладонь.— В чейгаузе у них без дела лежали. Одним словом, обчественное достояние.

— Он и баретки достал! — похвалился за Юду коренастый узловатый Тешка, подчинявшийся Юде с первого взгляда и с первого же взгляда улавливавший Юдины помыслы. — А баретки-то бабьи! Весь в бабьем ноня...

В самом деле, одет был Юда в бабью паневку, еще не старую, туго перепоясанную кавказским, с серебряными подвесками, пояском. На ногах он имел ту самую пару женских полсапожек, которую оставил Лызлов в запас из присланного на раздачу по волости. Высокие каблуки были еще не сбиты, и ноги Юды неожиданно походили на копыта.

— У меня нога маленькая. Мне лапти все ноги стерли... — недовольно сказал Юда, надгрызая яблоко, вдруг появившееся у него в руках.

— Яблочко-то откуда взял? — покосился Васька Рублев.

— А вон мамаша дала! — воровато подернулся Юда и кивнул на Анисью Рахлееву. — На, говорит, сынок, яблочко тебе, похрупай!..

— Брешешь, не давала! Сам стащил... — сердито и сдержанно отозвалась Анисья.

— Не давала-а? — состроил замысловатую рожу Юда. — А я его уж и съел! Что ж мне теперь делать-то, бежать или спасаться? — И он окинул коротким взглядом товарищей, громким хохотом выражавших свой восторг перед словесным удальством Юды.

Больше всех хохотал, конечно, Тешка.

— Ну, спать! — поднялся Семен, неуловимым движением бровей останавливая мать, готовую напасть на Юду по всем бабьим правилам.

— Спать, это правильно... — сказал Гарасим-черный и размашисто зевнул.

— Рот-то покрести! Анчук влезет! — окрикнул его кто-то из летучих.

Но смеху некогда было подняться. Блестя возбужденными глазами, вбежал Егорка в избу. Сзади его затеснились и другие.

— Ребятки... попка поймали! — возбужденно сообщил он.

— Где?.. на ком? — загудела летучая.

— Да как же! Мы Серегу на комаря привязали... идем, а он во-от кобылу нахлестывает! Он уж было и уехал, да поросенка забыл. За поросенком и вернулся...

— Ну-ну! — тешилась летучая.

— Вот те и ну, баранки гну... Сюда привели! Там же мы и Серегину кобылу нашли, к мостку привязана.

— Половинкина-то поймали, значит? — сощурился Семен и кивнул Жибанде, но тот и сам уже лез за пазуху, за бумагой, чтоб отметить пойманного крестиком.

— ...сидим этто на завалиночке,— рассказывал, поблескивая чернотою глаз, Фетиньин муж,— разговор ведем, прикидываем, одним словом. Вдруг тут молния-т как полыхнет! Видим — тень. Откуда тень? Из-за угла тень! Ну, мы очень это поняли, сзади его и обошли, Серегу-те. Он, значит, подслушивать за угол-те встал!..

Толкаясь и громко переговариваясь, мужики вышли на крыльцо. Там уже стояла немалая толпа. В самой середине ее трое летучих держали пленных: один — половинкинскую лошадь, двое других — под руки беглого попа. Без рясы, в домотканых портках, он больше походил на чудного длинноволосого мужика, чем на известного всем Ивана Магнитова.

— Здравствуй, батя! — сказал Семен ему, невнятно пошевеливавшему губами. — Покинуть нас вздумал? Очень нехорошо. Мы с тобой, батя, одной веревочкой связаны... Надо ж, батя, понятие иметь! Ну что ж, иди теперь домой. Отпустите его,— сказал он державшим Магнитова под руки.

Освобожденный Магнитов громко задышал и поводил затекшими плечами, уходить же, видимо, не решался.

— Благослови, отче... — подошел со стороны Юда, пряча за длинными ресницами смех и складывая руки горсточкой.

Тот с излишней поспешной готовностью поднял было руку. В ту же минуту Юда лукаво погрозил ему пальцем перед самым носом.

— Шалишь, батя, Юду благословлять! Рази ж поп в подштанниках бывает? Беги! — гаркнул он ему вдруг и в самое ухо.

— Беги, беги!.. — взволнованно завопили летучие и расступились, давая дорогу.

Магнитов постоял еще минуту, потом сделал неуверенное движение, словно подбирал рясу, и скакнул в сторону с прыткостью, не мыслимой ни для сана его, ни для возраста. Бегу его, очевидно, мешал страх перед неизвестностью. Он упал посреди улицы, сраженный одышкой и ужасом, и закрыл голову руками. Темная ночь висела над ним, и она грозила войти в задыхающееся кровью сердце. Его освещало зарево исполкома.

— Беги!.. — еще раз крикнул металлически звонко Юда и тихой скороговоркой попросил у Семена: — Дозволь, друг, ружье разрядить. Затвор, вишь, у меня ослаб и пули не держит... — Говоря так, он остановил взгляд на Магнитове, все еще лежавшем в пыли.

Где-то в стороне слышна стала негромкая ругань. Семен оттолкнул Юду в плечо и пошел на спор. Спорили Афанасий Чигунов и Герасим-черный из-за половинкинской лошади.

Гарасим сказал:

— Беленькая.

Афанасий ответил:

— И хвост обстрижен.

Гарасим:

— Это моя кобылка. Я давно ее облюбовал! — и прибавил такое, словно ногой топнул.

Чигунов:

— У тебя и без того три, а у меня одна, да и та головы не держит.

Подошедший Семен решил спор коротко. Как первый убивший, Семен занял главенствующее место в восстании.

— Лошадь в обиход пойдет.

Тут кто-то крикнул:

— Бабинцовы угощают...

Толпа побежала на выселки, небо все еще вспыхивало зарницами.

— Ребяты!.. — закричал им вдогонку Семен. — На взъездах, значит, рогатки поставить не забудьте. Михайло нарядит баб в караул. До рассвета караул держать!..

— У-у... баб в караул-ул... — было ответом.

Скоро у избы остались только Семен и Жибанда.

— Миша, спать пойдешь? — спросил Семен.

— Да уж выспаться-то не плохо б. Может, завтра и драться придется...

— Перепьются, а ночью и накроют нас,— выразил свои опасения Семен.

— За ночь не успеют. А поп-то, гляди, убежал!

— Пускай его.

Расходясь, они подали друг другу руки. Пожатье их было сильное и намекало не только на установившуюся дружбу, а и на истинное значение, которое должна была иметь она в будущем.

— Продкомиссар этот... — тихо сказал Жибанда, глядя вниз,— когда лежал уж, я узнал его. Пыли много попристало, а узнал. У нас комиссаром в части был. Нас вместе и ранили, на Колчаке...

Жибандино воспоминание как бы перетряхнуло Семенову память. Он вырвал руку из Мишкиной руки и спросил быстро:

— Фамилья ему?..

— Быхалов Петр. А что, встречался? — удивился Мишка Семенову лицу.

— Вот как... — с раскрытым ртом сказал Семен, набирая воздуху в грудь; теперь он вспомнил, и потому еще сильней душил его расслабляющий воздух этой ночи.

XV. ПРОДОЛЖЕНИЕ НОЧИ

Когда Жибанда потерялся в ночи, Семен вошел в избу и, не раздеваясь, прилег на лавке. Окно над ним было раскрыто.

Полное безветрие. Большое желтое пламя лучины стояло прямо. Гулко бились мухи, подчеркивая томительную тяжесть ночи. На полатях вперемежку с затейливым и длинным похрапыванием бредил Савелий о Людмиле Ивановне. Мнилась, видно, и пьяному поповская дочка.

«Разницы нет, кто у них там... в городу,— вспомнил Семен слова Прохора Стафеева. — Мы-то все одно — мужики! Разве ж может мышь из своей кожи вылезть? Мышь растет, и гора растет, но не сравняется мышь с горой. А если не сравняться мышу с горой, так какая нам тогда разница? Раз-ни-ца... два-ни-ца... три-ни-ца...» От усталости слова начали распадаться в Семеновом сознании, складывались по-иному, теряли первоначальный облик и смысл.

Тут бабочка-ночница ворвалась в окно и заметалась вкруг

огня серым неживым пятном. Пятно стало носиться все быстрей, словно для того, чтоб еще больше утомить и без того слипавшиеся Семеновы глаза. Вдруг дверь в избу распахнулась, и долго потом помнил Семен, как бурно, по-живому, закачалось пламя лучины. Четверо взошли и стояли посреди избы. Один, и, очевидно, самый главный, встал к Семену спиной. Лица его не было видно, но что-то мучительно знакомое, неугадываемое, мнилось Семену в сутуловатой его спине. «Возьмите его!» — тихо сказал этот, и остальные сразу догадались, что речь шла о Семене.

Семен и не сопротивлялся. Казалось, что все мышцы его стали из вязкого, покорного всякому чуждому хотенью свинца. Его взяли и повели. Человек, скрывший лицо, шел впереди, а вслед за ним те трое, которые вели Семена куда-то за околицу, в ночь. «В поле ведут!» — подумал Семен и тотчас же решил бежать. Он напряг все свое свинцовое тело и, распихнув людей по сторонам, кинулся бежать наугад. Непонятно подкашивались ноги. Непонятно быстро догоняли сзади и все еще не могли догнать. Семен почувствовал вдруг, что тот, главный, уже обернулся и показывает пальцем ему вслед. Оглянуться — значило увидеть и удовлетворить мучительное незнание об этом, главном. Оглянуться — значило умереть. Семен скакал немыслимыми скачками, торопя непослушные ноги.

Вдруг погоня остановилась, топот ее перестал быть слышным. «Здесь отдышусь»,— подумал Семен и, прислонясь к какой-то березе, стал глядеть туда, назад, в черное поле, где осталась погоня. Позади раздался еле уловимый шорох. Семен оглянулся и увидел сперва полуистлевшее в памяти лицо брата Павла, а потом два коротких огня. Семен напрягся понять, пошевелился и стряхнул сон.

Мать, Анисья, присев к нему на лавку, укрывала ему ноги кофтой. Бабья тоска делала ее глаза покорными, а движения медленными, почти ленивыми.

— Не укрывай, и без того в поту весь,— сипло сказал Семен.

— Сенюшка... что ж теперь, лучше аль хуже будет? — тихо спросила она.

Но все еще чудилась Семену недавняя погоня, все еще застлано было сознание тревожными впечатлениями сна. Ночь уходила. Где-то далеко, в короткой струйке ветерка, прогорланили голоса и гармони. Мухи затихли. Веяло холодком. Се-

мен свесил ноги с лавки и потер лоб рукой. Анисья копошилась с новой лучиной, вставляя ее в светец вместо догоревшей.

— Не зажигай,— светает... — сказал Семен. — Дай водицы попить.

Отпив полковша, Семен вышел из избы. Недавний бред живо стоял в памяти,— неощутимо вкралось желание увидеть наяву, так же ли черно поле, по которому бежал, стоит ли береза, которая росла в черном кочкастом поле его сна.

На улице была полная тишина, нарушаемая глухими и редкими стуками: караульные бабы стучали мешалками. Небо уже таило в себе белесость близкого рассвета. Когда, сокращая дорогу, перелезал в одном месте через изгородь, увидел на месте исполкома обгорелые и все еще тлеющие бревна, навороченные друг на друга как попало. Уже среди ночи испугались мужики большого огня и попритушили расходившееся пламя. Теперь кое-где среди бревен пропользала ленивая искра и так же одиноко гасла.

Семен шел по той же дороге, по которой вели его люди из сна. Но уже ничего сходного с медленно забываемой сонной жутью не было. На черном поле стояла высокая и темная конопля, шумевшая при ветерках. Чем сильней светало, тем невероятней казалась минувшая ночь.

Развязалась обмотка; поставив ногу на жердь конопляной загороды, Семен стал распускать износившуюся, грязную тесемку и тотчас же услышал чей-то гулкий бег. Звуки бега быстро приближались, было в них нечто заставлявшее насторожиться и ждать.

Женщина в городском платье, явившаяся из-за конопли, бежала прямо на него. Напуганная чем-то, она спотыкалась и сбивалась с бега на мелкий неровный шаг,— еще издали стало слышно Семену ее убыстренное дыханье.

— ...там... гонятся! — прокричала она, хватая Семена за руку, почти повисая на нем.

Обвитый ее руками, безмолвный от удивленья неожиданностью, он слушал своим сильным сердцем, как колотилось рядом с ним другое, маленькое, у прибежавшей с рассветной стороны. Лицо ее было спрятано у него на груди; но он уже узнал ее по знакомому завитку волос возле уха.

— Откуда бежишь? — угрюмо спросил Семен, отводя взгляд в сторону.

Она подняла глаза на него и оттолкнулась, как от чужого.

— Сеня... — скорее с испугом, чем с радостью вскричала Настя.

Но и радость Семена, о которой он вскоре не преминул сказать, была ненастоящей. Неожиданный приход Насти путал его планы, вязал руки в самую трудную минуту. Одновременно тяжкий топот не одной пары сапог и лаптей приблизился к тому месту дороги, где они стояли за коноплей.

— ...тута, тута! — кричал кто-то, кто бежал впереди; за плечом его в такт бегу повизгивала гармонь.

— Братишки... и мне оставьте! — подпискивал какой-то из отставших.

— Ладно, ладно... найти сперва,— восторженно откликался третий.

Семен стоял на самом повороте. Первый вылетевший из-за угла наткнулся на Семена. Семен подался грудью вперед, и тот отлетел в сторону. Впрочем, он тотчас же поднялся и отряхивал пыль с дешевого и узкого ему пиджачка, немало, судя по складкам, пролежавшего в сундуке. Это был Андрюшка Подпрятов.

Теперь он выжидательно смотрел на Настю, стоявшую к ним спиной. Остальные — кто что: грызли ногти, подтягивали пояски, просто водили мутными с похмелья глазами, а один, нагнувшись, оцепенело трогал пальцами оторвавшуюся в беге подошву сапога и качал головой.

— Что ж, приятели... семеро на одное напали? — сдержанно сказал Семен, наступая на преследователей. — Нехорошо ведь!

— Вся власть на местах! — с пьяным упорством отвечал Подпрятов, косясь на остальных и понукая их на дерзость. — Кто ты такой тута?.. — И опять он тряхнул головой.

— Не лезь, Андрюшка! Дай ему самому побаловаться,— сказал другой, с лицом, опухшим от бессонницы и хмеля.

— Кто я такой? — переспросил Семен, и лицо его напряглось от бешенства. — А вот кто... Становись один на один, я из тебя все потроха вытрясу... ну!

— Хорош, хорош... давал черт грош, да и тот пятился! — в каком-то остолбенении и невпопад выпалил Андрюшка, но тотчас же отступил, едва поднял глаза на Семена; и уже о полном смирении говорили Андрюшкины за минуту перед тем наглые глаза. — Ладно, не гневись! Сам знаешь, разгулялись... видим, свежатинка бежит... — Он замолчал, сощелкивая пятнышко грязи с картуза.

Поднявшийся ветерок пошевеливал коноплю; она шумела, насыщала окрестность пьянящим духом.

— Да мы к тебе и бежали. Думаешь, за бабой твоей гнались? Своих, что ль, у нас нету? Как же! Мы к тебе с вестью бежали... беда случилась!

— Ну? — Семен собирался уходить вместе с Настей.

— Да вот, Серега-те гусак... ведь убежал! У Исаевой Сечи привязан был,— глухим, недовольным голосом рассказывал Андрюшка Подпрятов. — Ну, мы и пошли вот сейчас... потешиться хотели. А там даже и веревочки след простыл. Такая беда! Главное, веревочка-те зачем ему?

— Его не иначе как Марфушка спустила,— заговорил другой. — Сейчас встретили, так похвалялась, будто Серега сватался. Так и Брыкин сказывал. И это очень возможно.

— А сам-то Брыкин где? — спросил Семен, ища его глазами.

— А тут был... тут! Где ж он? — заискал вокруг себя Подпрятов. — Вот и бежал с нами... Поотстал, должно!

Еще с минуту стояли молча, думая о половинкинском побеге. Совсем рассвело. С села доносились ржанье коней и крики петухов. Стороны разошлись, и обе никогда не забыли этой первой размолвки. Одно явствовало: Семен крепко сидел на занятом месте... Настя шла рядом с Семеном и молчала. «Почужому встретились»,— с удивлением думал и Семен. За время разлуки что-то сломалось в их отношениях; любое слово, сказанное искренне, показалось бы фальшивым.

— Я по письму твоему приехала... Ты ведь звал меня! — оправдывающимся тоном произнесла наконец Настя.

— Вот и хорошо сделала,— неловко сказал Семен и до самого дома не задал ей ни одного вопроса.

А те семеро, Настины загонщики, шли в другую сторону. Облачье над лесом прорвалось, и в длинной щели стояло солнце, какое-то чужое, ненастоящее, как восходная луна. Словно стыдясь самих себя, шли все семеро с опущенными головами. И вот, сперва вполголоса, а потом все громче, затянул один плачевным напевом и на высокой ноте песню. Она была длинна и жалобна, на верхних своих запевах сердце щемила.

Ее слушая, молчало все кругом: даже жаворонки не вертелись, как обычно, над полями в то утро. Да и нечему было радоваться жаворонкам: день вставал угрюмый и недобрый, как большое распухшее лицо, с глазами, красными от вчерашнего хмеля.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I. ПОХМЕЛЬЕ

Подобно тому как будит паденье камня отстоявшийся на дне ил, так же возмутились стоячие воды воровской тишины. Поднялся ил и обволок небо, солнце скрылось, и как будто даже укоротились дни. Нет веселья в повествовании о черных, похмельных днях Воров.

...Наскакали верховые посланцы на девять окрестных деревень, стали говорить неуказанные речи. Непонятны были чужому уху темные реченья их и про обширность поля, и про шумливость леса, и про великую ширь и воль. А смысл у всех был один: кровь. И еще не закатилось солнце похмельного дня, как взгудели мужики у исполкомов, засвистали колья и камни, нахлынула кровь на кровь. Когда пришла ночь, властительница сна и покоя, застала она на деревнях другую, людскую ночь, бессонную, неспокойную. До рассвета гудела земля от гулливой топотьбы взбесившихся человеческих ног.

Не везде гладко проходило. В Попузине стрелял председатель и подранил жеребеночка. За жеребеночка пуще остервенились мужики,— помереть не дав, потащили за ноги к колодцу. В Малюге обошлось без убийства. Исполкомщики, предупрежденные событиями предыдущих дней, выехали наскоро, в чем были, оставив на месте свой убогий скарб. Даже смутились в своей неутоленной злости мужики: сломали стол в исполкомской избе за то, что-де стол советский, портретикам выкололи глаза. Кстати уж покололи на лучину и образа, найденные у сбежавшего председателя в чулане, а линялый флажок подарили старику Микитаю Соломкину на рубаху или другое что, в знак уважения молодости к очевидному старшинству.

Но всем тем не исчерпалась расходившаяся сила. Побежали мужики в соседнюю деревню, за четыре версты, в Отпетово,— попали как раз на сход.

— Мы,— кричат малюгинские,— помогать пришли! Вы как, прикончили своих-те, аль еще бегают?

А отпетовцы обсуждали на сходе: убивать им своего председателя в общем порядке или помиловать. Своих грамотных у них по тому времени не нашлось, один только парнишка шестнадцати годков. Он и был выбран тогда в председатели, чтоб сидел и писал казенную бумагу, как и все, за двадцать пудов хлеба в год,— полупастуховская цена. Парнишка и сидел, и никому вреда от него не было; к тому же взрослый работник на письменных пустяках не пропадал, да и воровать в таком возрасте малый еще не обучен.

С прибаутками и шутками проходило обсуждение председателевой участи. Сам председатель стоял тут же, связанный для прилику по ногам, и хныкал, догадываясь, что этак и до порки дело может дойти. Этим он еще более способствовал мирскому веселью.

— Да нам,— отпетовцы отвечают,— и бить-те некого. Офрема-писаря бить, так ведь он — дьякон. А Иван уж больно мужик-те ладный — совестно. Не имеем мы на него злобы...

— Так как же тогда? — оторопели от досады малюгинские. — Побежим тогда к Гончарам всем миром, сообча. У них и покроем!

Тут же, пленного председателя развязав и послав его к Иванихе за бражкой, подняли бородатые отпетовцы обсуждение: идти к Гончарам или не идти? Но тут один вихлявый солдатишко вскочил к ближнему мужику на спину и со спины объявил наспех радостную весть, будто целый полк перешел на сторону Воров, с командирами и котелками.

— Эй вы, черти! — заорал он, вытягивая гусиную шею. — Которые за то, чтоб Гончарам помогать, высунь руку!

— А что делать-то? — спрашивали.

— Поорудуем, уж там видно будет! — толково отвечал солдатишко.

Поднялось семнадцать рук, сосчитанных.

— А кто против, чтоб не идти? — возгласил самозванный председатель.

Опять поднялись руки, корявые и темные, как обломанные сучья на сухой ветле, двадцать рук.

— Да ты что ж, бабка, оба раза руки подымаешь?! — озлился солдат на престарелую, совавшуюся то туда, то сюда.

— Везде, родименький, поспеть хочу. Чтоб не забидели, стара я... — пропела бабка. — Эвося и Никитова бабка оба раза подымала! Нешто хуже я Никитовой-то?

На конец концов решили: пропьянствовать этот день, засчитав его за гулепый, двунадесятый день. А попросят подмоги — отрядить четырех мужиков с топорами, наказав им настрого: до смерти никого не обижать... тем более что и стоит-то Отпетов в сокрытом уголку, в низине: с малого мало и спрашивается.

...Но покуда бушевали кровью и смехотами окрестные Ворам места, сами Воры в суматохе и тревоге проводили похмельный день. Летучая братия и вся молодежь уходили в лес, путеводимые Семеном и Жибандой. Прежнего оживления и хвастливых чаяний не стало.

Вдруг клич прошел: «Запрягай вся деревня!» С полудня заскрипели телеги на гористом спуске из села: начался великий выезд Воров. День выдался ненадежный, облачный, знойко ветреный; пыльные вихри суетились под плетнями, куры чистились к дождю. Стеной встали окрики, понуканья и ядовитые ругательства: каждый старался злей соседа стать.

Уже навален был на телеги ветхий мужиковский обиход. Поверх укладок с неношеным лежало перевязанное мочалом коробье, поверх коробья — иконы, связанные стопкой, ликом к лику, а на стопках сели ревущие от предчувствия родительских бед ребятишки. За подводами шли привязанные коровы, овцы, телки — все это также не молчало. Но выезжали неохотно: не верил сосед соседу в окончательность его решенья покинуть насиженное место жизни. Все же, выезжая навсегда, бросил Афанас Чигунов в колодец убитую накануне лызловскую собаку, срубил Гарасим-черный черемуху перед своим домом, чтоб уж не цвела по веснам на радование вражеского взгляда. Бежать от уездной расправы — было целью и причиной великого выезда Воров.

Телеги шли и по две и по три в ряд, где была дорога; но иные заезжали и по конопле и по льну. Не было особой нужды травить и попирать бабье достояние,— нарочно заезжали в самую гущу посева, оставляя глубокую просеку. С тем же чувством горечи и отчаянья разбивал Егор Иваныч Брыкин по приходе в Воры крылечную резьбу, плоды стольких усилий и затрат.

На первую версту с избытком хватило храбрости и удальства; так же хвастает и обреченный, когда ведут его на последнее место,— заламывая шапку набекрень. Дескать, везде земля, от земли не уедешь, и на каждой, незасеянной, лопух растет, и каждую землю заповедано пахать. Но как ни шумели, стараясь крикливым возгласом вызвать кого-то на ответ, ужасное молчание стояло в окружающих полях.

На второй версте поутихла, поослабла мужиковская отвага.

— Зажгут нас... — сказала крепкая баба, ехавшая с больным мужем, и заплакала.

Муж ее, укутанный и похожий на большую сову, ворочал ввалившимися глазами и уже не в силах был остановить женина карканья.

— Сляпала баба каравай!.. — забасил насмешливо хромой дядя Лаврен, свертывая журавлиную ногу, и подхлестнул своего конька. Удар пришелся как-то вкось, взлетели два овода с коньковой спины, но сам конек не прибавил шага, словно понимал, что незачем, нет такой причины в целом свете, уезжать дяде Лаврену от родного поля, по которому ходила еще прадедова соха.

— Хоть врала-те покруглей ба! — продолжал Лаврен.— Мы каждогодно почитай сгораем, на том стоим. Сгорим, построимся и еще ближе к речке подойдем. Покойника Григорьято Бабинцова дед сказывал: Архандел-село в четырех верстах от Курьи отстояло, а мы, эвон, в версте легли. Зажгу-ут!..

И опять хныкали ребята, скрипели тележные оси, гудели овода, отстукивали устрашенные мужиковские сердца медленные минуты пройденного пути. Третью версту проехали уже в молчанье: верста как верста, радоваться нечему — лужок, по лужку цветочки, в сторонке деревянный крестик по человеке, погибшем невзначай; воробьи на кресту... Четвертая верста выдалась какая-то овражистая, стал накрапывать дождик.

Падали начальные крупные брызги наступающего проливня и в дорожную пылищу, и на колесный обод бессемейной вдовы Пуфлы, и на казанскую укладку бабки Моти.

Упала капля и на кровянистый нос дяде Лаврену. И вдруг увидели мужики: из гуська, выехав в сторону, вспять повернул дядя Лаврен и со чрезмерным усердием застегал конька. Конек брыкнулся и шустро побежал. Возмутились мужики на хромого Лаврена.

— А я,— обернулся с подводы Лаврен,— понимаете, мужички... огонька в лампадке не задул. Не ровен час!.. Уж пускай лучше...

За Лавреном поворотил вдруг и Евграф Подпрятов, косясь на дождящее небо.

— Эй, ты, доможила... — со злобой захохотали вслед ему остающиеся. — Аль тоже лампадку оставил?

Подпрятов только рукой на небо махнул, и затараторила его подвода по иссохшимся комьям пара, как говорливая молодка у чужого крыльца. Остальные продолжали ехать уже с понурыми головами, уже совсем не быстро; в моросящей неверной дали мало виделось утешенья мужиковским глазам.

Дождь усиливался, поднимался ветер. Воздух напрягся, как струна, толстая и густого звука. Кусты пригнулись, как перед скачком. Деревья зашумели о буре. Весь поезд остановился как-то сам собой.

Вдруг на подводе своей, поверх сундуков, вскочил Сигнибедов. Он стоял во весь рост, беспоясный, и ветер задирал ему синюю рубаху, казал людям плотный и волосатый его живот. Ветер же заметал наотмашь ему бороду и еще более обострял жуткий его взгляд.

— Мужички, а мужички!.. — закричал Сигнибедов отчаянным голосом, силясь перекричать бурю. — Мужички... а ведь ехать-те нам некуда!..

Он оборвался, словно дух ему перехватило ветром. И вдруг все сразу поняли, всем нутром, каждой кровинкой истощенного тоскою тела, что впереди нет ничего, что мужик без своей земли и телега без колес — одно и то же, а позади — теплый дом, на нем крыша, а под крышей печь. Сигнибедов, соскочив на землю, ужасными глазами уставился в дугу своей подводы. И ветру пронзительно подтявкивал привязавшийся откуда-то щенок — такой смешной, с человеческими бровями.

— Гроза идет,— строго сказал Супонев и резко повернул лошадь назад.

Это было знаком к тому, чтобы весь поезд повернул вспять, и через миг загрохотала вся дорога бешеными колесами. Неслись с бурей наперегонки, ссутуленные и прямые, покорные и затаившиеся в тайниках сердца. Иные — грызя конец кнутовища, иные — держа распущенные вожжи в раскинутых накрест руках, иные — окаменело сидя, иные — окаменело стоя, иные с глазами, красными от ужаса, иные и вовсе с закрытыми глазами. Все гнали безжалостно пузатых и

беспузых, равно задыхающихся и храпящих клячь. Бабы сидели сжавшись, крепко прижимая к себе ребят, и уже заострились носы у них, и уже побледнели бабьи губы, закушенные зубами изнутри,— беда приблизилась на взмах руки.

И когда прискакали воры на ту самую землю, с которой связаны были пóтом и кровью столетий, случилось последнее событие того суматошного дня. Откуда-то из-за угла выскочила навстречу им босоногая Марфушка. С непокрытой головой, полной репья и разной колючей пакости, она бежала с горы, прискакивая навстречу несущимся мужикам, с поднятыми руками, но нежность, не указанная дуре,— детская радость удовлетворенной нежности отражена была в ее лице и бровями, жалобно вскинутыми вверх, и изломом рта, потерявшего вдруг всю свою обычную грубость.

— ...Женитка натла... Женитка натла! — верещала она и бежала прямо на храпящих лошадей. — Ноготками отрыла, ноготками!.. — захлебывалась Марфушка и показывала свои огромные руки, скрюченные так, словно и впрямь держала в них красную птицу дурьей радости, порывающуюся улететь. — Мой, мой... хоротый... ненаглядный, ангелотек мой!

Впереди всего поезда мчался в парной подводе черный Гарасим. Кони Гарасимовы — Гарасиму братья по нраву. Был зол на Марфушку Гарасим-шорник за отпущенного Серегу Половинкина. Он цыкнул на лошадей, даже не двинув лицом, и те черным вихрем проскочили через Марфушку, проставив только три копытных знака: на ноге, на груди и на лбу.

И уже не удержать было расскакавшихся воров, хоть и в гору. На расправу мчались, и требовали последней удали растерявшиеся сердца.

...После ливня вспомнили о потоптанной конями Марфушке и пошли убрать. Она лежала в водоотводном рву, куда сползла перед смертью, вся переломанная. Кто-то догадался зайти и на Бараний Лоб, где под березой зарыт был Петя Грохотов. Босоногая кричала правду. Петя Грохотов был вынут из могильной неглубокой ямы и сидел, прислоненный к березе.

А перед ним, по мокрой траве, расставлены были в любовном порядке все Марфушкины игрушки: цветные чѐрепки со свинулинской усадьбы, облохматившийся кубарик, пучочек васильков и курослепа, обрывок ленты и та ржаная лепешка, которую подал ей утром богомольный Евграф.

Видно, забавляла, как умела, Марфушка молчащего своего жениха. Значит, было суждено Пете Грохотову стать Марфушкиным женихом; положили их вместе. И Сигнибедов, почему-то хлопотавший больше всех, поскидал туда же, в яму, сапогом все ведьмины игрушки. С той поры и звалось высокое место под березой уже не Бараньим Лбом, а Марфушкиной Свадьбой.

II. РОЖДЕНИЕ ГУРЕЯ

В утро Настина прихода они долго сидели наедине. Уже были съедены две миски — вчерашних щей и творога, размятого в молоке. Уже были рассказаны Настей подробности всех событий, нагрянувших на Зарядье и изменивших пути его раз и навсегда.

— ...Дудин-то выбежал из ворот, крича. Я не слышала, зимние рамы уже были вставлены у нас...

— ...зеркала из «Венеции» увозили. Папенька и говорит: «Кто ж так зеркала грузит! На первой яме потрескаются!» А тот обернулся, да и сказал: «Не ваше дело, гражданин!..»

— ...голодали. Шубы ночью украли...

— ...папеньке сказали, что дом наш на Калужской будут на дрова разбирать. Три ночи караулить ходил... Там и простудился.

— ...Катя на службу в Губкожу поступила. Губкожа!

Рассказывая, Настя глядела в пол, словно чувствовала на себе какую-то вину перед Семеном. Но не только неурочность часа разделяла их в то утро. Если б встреча их произошла в городе, все было бы по-иному. И уже не Семен, а Настя была б полна этим странным и трудным чувством отчужденности. Вся история мятежа стояла в причинной зависимости к страху перед городом, вершителем судеб страны. В Настином приходе крылось нарушение прямизны Семенова пути. Вместе с тем неожиданно явился вопрос у Семена: да в ней ли та высшая точка жизни, о которой мечтал со сладким трепетом в детстве — у катушинского окна, в юности — на улицах Зарядья, по которым блуждал, полный неопределимых волнующих предчувствий?

Противилась душа и не давала ответа, но в самом отказе ее от ответа уже был ответ.

Анисья, мать, встретила Настю сухо, смутившись ее городским видом. В избу Анисья не вошла ни разу за все время, пока в ней сидела Настя.

Ветер разогнал облачные заслоны, и вот на короткие минуты солнце обняло землю робким, неуверенным теплом. Кусочки солнца падали сквозь растреснутые стекла окна прямо на колени Насте. Точно обрадовавшись солнцу, громче захрапел Савелий, отсыпавшийся после вчерашнего хмеля на полатях. Семен открыл окно. Кучка людей подходила к окну избы.

— Семена нет ли?

— Тебя!.. — шепотом сказала Настя, с невольным страхом отодвигаясь от окна.

— Посиди, я пойду узнать,— сказал Семен и вышел на крыльцо.

Услыхать, о чем они там говорили, было нельзя, несмотря на раскрытое окно. Настя успокоенно стала оглядывать внутренность избы. Изба, каких тысячи: печь, а на веревке, обвисшей с правой стороны, сохли тряпки. Стоптанный валенок высунул нос из печурки. Ползший по нему таракан казался бессонной Насте живым, удивленным глазом.

Вдруг храп сгустился и поутих, но взамен явилось тонкое и пронзительное посвистывание, словно гора дула в тоненькую щелку. Настя удивилась даже, когда скатился к ней с полатей не трехаршинный храпливый молодец, а полусонный мужичонко Савелий. Он постоял немного, потом перевел взгляд на Настю.

— Чево тебе? — спросил он, левой рукой протирая глаза, а правой снимая с веревки грязные свои тряпки и пробуя ощупью, высохли ли.

— ...Я знакомая Семена,— испугалась Настя прямого вопроса. — А вы?

— Мы отец ему будем. Из Питера, что ли? — деловито спросил он, присаживаясь на порожек, чтоб обуться. — Живали, благородный город.

— Нет, я из Москвы,— сказала Настя и засмеялась его забавным ужимкам.

— Смолол что-нибудь? — появляясь в дверях, спросил Семен, и Настя видела, как сжались и разжались Семеновы кулаки. — На печку, папаша, ступай, пока не управимся,— тихо сказал он отцу.

— Зачем ты его гонишь? — попробовала заступиться Настя. — Он смешной...

— Не зверинец... на зверей-то любоваться! — резко сказал Семен. — Да еще вот... нужно будет тебя в мужика переделать. В леса нынче уходим, сейчас и приходили за этим. Я тебя за брата выдам.

Настя глядела и не понимала.

— Мне переодеться надо?.. А зачем? — Она в задумчивости отвела глаза, и они чуть-чуть раскосились. — Ах да-а! — вдруг деланно засмеялась она. — Ну конечно! А сколько вас идет, много?

— Много, все там,— сказал Семен. — Одних летучих дюжин восемь, да прибавь наших сорок... вот сотни три и наберется.

— Три-то откуда же? — даже оробела Настя.

— А нас-то двоих не считаешь? — Семен пытался шутить, но тон его шутки был для Насти почему-то тягостен. Семеновы глаза слипались, хотели сна. Жилы на висках резко проступили. — Ты посиди пока, я принесу что-нибудь переодеться.

Он ушел, и в ту же минуту с полатей высунулась взлохмаченная голова Савелья.

— Стесняется!.. Это он меня стесняется,— с лукавым смущением зашептал он, подмигивая и укладываясь так, чтобы можно было опереться локтями о край полатей. — А я как служил у господ-те в Пажеском корпусе, так и у меня у самого благородства-те — пей не хочу — было! В Аршаве, в восемьдесят седьмом году, обедом нас потчевали, вот угощенья! Князь Носоватов мой — со старшинством кончил! — очень уж тогда смешлив был. Всему смеялся; увидит, скажем, хоть и меня, сейчас же — и-го-го-го-о! — Савелий изобразил лицом, каково было в смехе носоватовское лицо. — Тут на обеде подходит он ко мне, а в руке, это самое, бакар держит. И уж конечно, весь уже тово, в общем виде! «Пей, говорит, зверь!» Они нас, денщиков, зверями звали, чтоб смешней... — Савелий, войдя во вкус повествования, всеми своими движениями выражал теперь свой бурный восторг перед той замечательной порой. — «Пей, говорит, зверь, за меньшую братию! Но не моргни, говорит, крепкая». — «Это никакого влияния не оказывает,— отвечаю. — Не моргну, ваше сиятельство!» Да и хватил весь бакар до донышка. Четверо суток я опосля этого бакара лежал, не знаю уж, что там было намешано. Так он

мне, касатка, собственного дохтора прислал. Очень хорошо лежать было, обиход, одним словом, пища! Я потом и в больнице леживал, да уж где! Две, касатка, противоположных разницы, явственный факт! — прокричал Савелий. И Настя не ошибалась, думая, что и теперь не отказался бы Савелий выпить залпом бокал носоватовской смеси, чтоб полежать в тех же удобствах четыре дня.

— Что же он теперь-то... жив? — осведомилась Настя, неловко отводя глаза от благодушных и тусклых Савельевых глаз.

— Погиб! — торжественно выпалил Савелий.

— На войне, что ли?.. — спросила Настя только для того, чтобы спросить о чем-нибудь.

— На войне-е! — обиделся Савелий. — На войне-те всякий сумеет. На дуели! — и вытаращил глаза. — Из-за утки погиб!..

Даже несмотря на усталость, стало Насте любопытно, как это сгубила утка князя Носоватова, но в сенях раздались поспешные шаги; Савелий мгновенно спрятался. Вошел неизвестный Насте человек. Во всем у него — и в хрусткой свежести холщовой рубахи, и в поблескивании серых глаз, неустрашимо обведенных густыми и короткими ресницами, во всей фигуре, невысокой и плотной,— почувствовалась Насте какая-то редкая удачливость. Когда он вошел, словно ветерком подуло,— стремительный.

— Дома есть кто-нибудь? — Он кинул картуз на лавку, и чуть-чуть сощурились на Настю его глаза. Когда они раскрылись снова, в каждом глазу было по улыбке; казалось, говорили глаза: «Пожалуйста, берите у меня улыбок, сколько вам угодно, у меня на всех хватит!» — Семена нет? — спросил он, несколько смущаясь.

— Он придет скоро,— произнесла осторожно Настя.

— Подождем, нам не спешно. Будем и без него знакомство сводить. Мещанин, город Ямбург, Михайло Машистов... Жибандой кличут. — И он виновато развел руками, как бы показывая, что неповинен в своем прозвище.

— А я из Москвы приехала. Меня Настя зовут,— уклонилась от прямого ответа Настя, надеясь на догадливость этого размашистого человека.

Мишка ответил не сразу, а сперва как-то покривил плечом.

— Из Москвы? Гниль в сравнении с Петербургом! То есть, одним словом, ездить плохо... улицы кривые! Француз в двенадцатом годе за то и жег, что улицы кривые. Не выжег... Москву нельзя выжечь!

— А вы чем занимались? — не поняла Настя Мишкина подхода к Москве.

— Мы-то-с? Мы — лихачи. Только мы больше по Питеру ездили. В Питере народ крученый, а в Москве тягучий: нам Питер больше подходит. Да-с, поезжено было! — сказал Жибанда, хлопнул себя по коленкам и встал. — Городской жизни вполне хватили!

Неожиданно для самой себя поднялась и Настя, взволновавшись глупостью, мелькнувшей в голове. Она глядела на Жибанду и знала, что Жибанда старше Семена, но если Жибанде двадцать восемь, Семену по виду не меньше сорока.. У Семена усы и борода растут как попало, у Жибанды остались от усов узенькие дорожки. Она смутилась своих неожиданных выводов, когда пришел Семен, принесший небольшой ворох одежды. Начавшиеся вслед за тем сборы к уходу в лес заслонили от Семенова внимания и странный блеск Настиных глаз, и ее внезапный румянец, и еле уловимую замедленность Жибандиных слов, когда он говорил при Насте.

— Ребята за брыкинской баней собрались,— сказал Жибанда, приглаживая волосы.

— Да я почти готов. Вот только ее переоденем! — Семен коротко заглянул в Мишкины глаза: знает ли?

Мишка знал, отвел глаза в сторону.

— С нами барышня пойдет? — приподнял бровь Мишка, не глядя на Семена.

— С нами, да. — И Семен пожевал усы. — Я тебя попросить хочу, Миша. Пускай она за твоего брата слывет, а?

— Для ребят, что ли? — спросил Жибанда, косясь на боковую каморку, где переодевалась Настя. — Так ведь не поверят, разномастные мы.

— От разных отцов,— наспех придумал Семен.

— Все едино не поверят... в разговоре не выдержать,— неизвестно почему упрямился Жибанда.

— А почему бы и не поверить? — сказал сзади них Настин голос.

Оба обернулись. В дверях каморки стоял статный паренек лет двадцати, Настиного обличья, как бы младший брат ее. Мальчишеское, озорное пересилило женственность ее

лица. Широкая Семенова гимнастерка, ловко перехваченная уздечным ремешком, скрывала женские отличья. Фуражка сидела глубоко на голове, из-под козырька смеялись глаза. Она вышла и подхватила Жибанду под руку.

— Хорош? — кивнула она Семену.

Жибанда с неловкостью выдернул свою руку из-под Настиной руки.

— Лапотки-т не по тебе, товарищ,— сказал он, оглядывая Настю. — Ну да Фрол и воробьиные сплетет. Одним словом — не робей, Гурей.

— Гурей! — повторила Настя, прислушиваясь к новому, не слыханному ею имени. — Не робей, Гурей,— сказала она еще раз, и усмешка брызнула с ее губ.

...Через полчаса и летучие и воровские уходили в лес. Песня не ладилась, гармони не играли; подпрятовскую украли в ночь разгула, барыковскую облили квасом в ту же ночь, и она осипла, как и человек с перепоя, у брыкинской стали западать лады. Шли и без того бодро, таща в мешках бабьи подарки: разную сносившуюся одежду и кучи немудреной, но сытной деревенской съедобы. Из открытых окон глядели с тоской затихшие бабы и девки.

Когда уходившие скрылись под горою, разом захлопнулись окошки, и безмолвие водворилось в Ворах. Даже, кажется, и петушиного пенья стало меньше.

Шел среди остальных и Гурей, Мишкин брат; понравился летучим этот новоявленный, робкий и безусый мальчишка. Через Курью проходили, сорвало ветром на мосту картуз с Гурея и бросило в воду. Ветер же раздул черные обстриженные Гуреевы волосы.

— Черт! — сказал Гурей, Мишкин брат.

— Волосы-то отпустил, в монахи, что ль, готовишься? — пошутил Юда, шедший сбоку.

— В бабы! — досадливо фыркнул Гурей.

— Что ж, переодеть тебя, так вполне за бабу сойдешь! — одобрительно сказал сзади Васька Рублев.

Юду сразу же странным образом повлекло к женственному юнцу Гурею.

— Лапти великоньки у тебя. Хочешь, давай вот меняться, у меня новехоньки,— предложил он, показывая Насте щегольской, в сравнении с лапотным, носок своего женского ботинка. — Только каблуки вот я отбил... И придачу возьму самую незначительную!

— А какую? — спросил Гурей.

— Там увидим! Не купец, торговаться не буду...

Через десять минут совсем освоилась Настя с положением Мишкина брата. Она догнала Семена, шедшего впереди всех, рядом с Жибандой.

— А вот и поверили! — посмеялась она.

Только тут увидел Настю без фуражки Семен.

— Волосы-то где же твои? — почти испуганно спросил он.

— А обрезала. Давеча еще обрезала. А тебе что, жаль? — Настя резко засмеялась.

— Пожалуй, и жаль... — протянул он; в глубине же души он одобрял Настин поступок.

III. СЕРГЕЙ ОСТИФЕИЧ ОРУДУЕТ

Подбегают к самым Ворам с той стороны, куда солнце западает на ночь, глухие дикообразные леса. Никогда Воры закатной тихостью не любовались, потому что вечный в них порыв, мрак, спор. Лес наступал и воевал в этом месте с человеком. Его и рубили прадеды нонешних с гневной неистовостью. Он и горел не однажды, а все стоит, а раны пожогов и порубей восполнялись шустрым молоднячком. Ни разу не видали Воры, что там, в западной стороне.

Набегал молоднячок на непаханые поля, на покосы, как бы дразня, что-де нас не перерубить! Впереди бежала березка, а за ней поспешала ель. Так не пропадали ни зола, ни щепа: из праха выбивала жизнь. Лес шагал на Воры. Возле самого колодца, что напротив супоневского палисадника, начала веселенькая березка лезть. Как ни теребили ее бабы на веники, истово кудрявилась каждую весну и не думала, что за дерзость порубит ее какой-нибудь топором.

Выйти за околицу — с трех сторон протянулась густая полоса лесов. На версту шел каемкой веселый лес, белоствольный, с голосистой птицей и быстрым зверем. А за каймой берез становились неприметнее тропы, непроходнее чащи, — с самого корня ели в сук шли. Запирал проходы человеку тут угрюмый сторож, темно-синий можжевел. «Какой у нас лес! Сидяга, цапыга-лес», — со злобой говаривал дядя Лаврен, черным словом припечатывая свои сужденья, и казал след от пули, прошедшей на вершок выше щиколотки. В давней

молодости, сглупа, вздумал от рекрутчины укрываться в этих лесах Лаврен.

Зверь в этих дебрях водился угрюмый, одинокий, робкий. На дедовской памяти оставалось, как наезжал стрелять лосей в этот лес молодой Свинулин с приятелями. Зимами за Дуплею выл волк. Веснами пропадали коровы, отбившиеся от стада,— думали на медведя мужики. А попузинские мальчишки, ближние к лесу, каждогодно притаскивали целые выводки лисенят и другую тощую молодь. Лисенятам обрезали уши и меченых отпускали назад, остальных силились приручить, но дохли звери и птицы, повядая от тоски по лесу.

...За Дуплей пошел взводистый лес, темный и замшелый. В нем песчаные холмы чередуются с оврагами; изрыты они темными хитрыми ходами, заселены ночным зверем, барсуком. Тут солнце редко,— барсучья держава тут. И о чем шумят вершины ночного леса, ведомо только им.

Люди по-барсучьему устроили свою жизнь. Те же земляные норы, только просторнее, отделаны не барсучьей неразумной лапой, а заступом и топором. Окруженное с двух сторон топями, было это место самым безопасным в том краю. Сюда и пришли люди, выходцы из Воров. Было их не больше сотни, но число их скоро увеличилось вследствие обстоятельства, непредвиденного и потому скорбного для уезда.

В уезде знали уже о происшествии в подробностях, рассказанных Васяткой Лызловым. А Васятке Лызлову, самому еле ушедшему от смерти, с гору представлялась и муха, сидевшая на щеке убитого отца. По его словам выходило, что весь почти юго-западный край уезда встал на дыбы и кажет медвежьи когти городу, что у мятежников и пушки и пулеметы, что даже и дети и бабы свирепствуют, идя в тесном строю с мужиками, скрипя зубами и неся смерть. Невидимые уста разносили невозможные слухи и про десять тысяч вооруженного мужичья, и про широкие их планы. Даже являлся в них сам пугачевец Кривонос, якобы воскресший ради такого случая покуролесить среди живых.

Были вывешены соответствующие объявления, а в губернию послано подробнейшее донесение о происшествиях в воровской округе. Перетрусивший товарищ Брозин, составлявший донесение, сам испортил все дело. В телеграфное донесение ради образности слога вставил он нечто о русской Вандее и о мужицком Бонапарте. Также указывалось, что

дальнейшее молчание губернии будет несмываемым пятном на их совместной работе.

В губернии же посмотрели косо. Председатель губисполкома, сам мужик, при намеке на Бонапарта покачал головой, на Вандею — пожал плечами, а при упоминанье о пятне даже и засмеялся, вспомнив, что в прежние времена был пятновыводчиком Брозин. В секретном ответе предлагалось справляться собственными средствами, если уже не сумели ладить с мужиками.

Как раз в эту смутную пору, через три дня после прихода Васятки Лызлова, камнем свалился в уезд Сергей Остифеич Половинкин. Спокойный и хмурый, он явился на заседание уездных властей. Там, минуя свою собственную историю и ставя после каждого слова точку, сообщил он, что не о тысячах идет тут речь, а всего о какой-нибудь сотне. Далее товарищ Половинкин предложил дать ему полуроту хотя бы из тех красноармейцев, которые несут гарнизонную службу в уезде. С помощью их надеется он прекратить пожар в самом начале, который, по его словам, не имея за собой никакой политической подоплеки, являет собою только некоторым образом месть за отнятый у села Воры Зинкин луг: так говорилось в протоколе того чрезвычайного заседания. Но в протоколе не упоминалось про один очень такой хлесткий вопрос, заданный товарищем Брозиным в конце заседания: каким образом удалось товарищу Половинкину уйти из подобных неприятностей в живом виде, если все остальные товарищи честно погибли на месте своего долга? Сергей Остифеич вопрос понял и, подойдя к улыбавшемуся Брозину в упор, рывком раздернул на груди гимнастерку. Одна из отлетевших пуговиц ударила Брозина в щеку, и только тут понял Брозин, отчего, рассказывая, Половинкин дышал так тяжело и как-то странно вихлялся телом. Вся грудь Сергея Остифеича, от подбородка до пупка, представляла собой одну взбухшую синюю рану, расцарапанную какой-то неистовою пятернею в кровь. После этого Брозин уже помалкивал.

В самом деле: бывали на памяти у Половинкина жуткие ночи из прошлой войны, когда был фельдфебелем, — ночи, напоенные ужасом, когда рвала, кричала и кусала все кругом одушевленная человеческим безумством сталь. Но страшней сотни их была одна эта, в которой тихо звенели комары, и невнятная зудящая боль подползала к голове, бесила разум. Острей вошло в память, как стоял он голый, привязан к де-

реву, и косил глаза на собственный нос, на котором медленно, перебирая лапками, набухал комар. Весь мир со всем, что есть в нем, был заслонен тогда от Половинкина красным комариным пузом. Потом, когда его освободили, он бежал, стеная и прискакивая, голый, к Мочиловке, на ходу стирая с себя комаров, облепивших его гладко, как сукно. Тогда еще зарницы совсем опутали небо в горящую порывистую паутину... Знаменитому здоровью Сергея Остифеича был положен предел в ту ночь.

Полуроту Половинкину дали, а Брозин остался наедине со своими неутешительными думами. Количество его объявлений на стенах и заборах сильно сократилось, а оставшиеся размокали в дожде. Уезд погрузился во мрак, безмолвие и трепетное ожидание какого-то последнего удара.

Тем временем Половинкин вел свою полуроту скорым маршем в моросящую даль. Погода переменилась. Дожди разъели дорогу. Обувь половинкинского отряда — лапти, разношенные сапоги и даже разномастные женские ботинки,— годная только для стояния в карауле, пришла в совершенную негодность и только обременяла усталые ноги красноармейцев. Возле Бедряги, тотчас же после перехода железной дороги, начался ропот. От Бедряги до Сускии, восемнадцать верст, шел безмолвный поединок взглядов между людьми и Половинкиным, ехавшим верхом. У Сускии дело разрешилось бескровно и просто.

Суския окружилась рогатками, а на жерди у картофельного поля трепалась в мокром ветре черная тряпка — знак бунта, чумы и всякой иной беды. Прежде славилась богатая Суския огромными конскими торгами, баранками и скобяным товаром, теперь одно лишь осталось от прежней славы: на пригорье Суския стоит. В щелях плетней и по-за углами Сергей Остифеич увидел выглядывавших мужиков и понял, что и до Сускии, примкнувшей к воровскому делу, докатился людской пожар. Это сулило непредвиденные трудности; Сергей Остифеич подергал ус и, приказав отдохнуть и закурить, у кого есть, отошел в сторонку.

Дождь остановился. День закатывался позади села, и видно было из-под горы всему половинкинскому отряду черное тяжкое пятно сусаковского храма. По низу облачного лилово-розового, с золотцем, неба шли каемкой растяпистые ивы, повыше торчали березы со скворечнями. Превыше всего

владычила длинная, тощая колокольня, похожая на Василья Щербу, кто его знал, стоящего как бы в удивлении.

Большинство в отряде было родом как раз из Сускии, все из богатеньких; они мрачно приглядывались к селу, на которое через полчаса предстояло двинуться цепью.

Один покачал головой, сказав:

— Слиняем мы тута.

Другой прищурился, пыхнул дымком, приложил руку к глазам козырьком и вдруг открыл:

— Братцы, а ведь на колокольне-то у них пушка!

В самом деле, на колокольне чернело прямое и длинное, направленное, как показалось открывшему это, прямо в их сторону. Поднялось обсуждение назначения длинного предмета, и потому, что всем им хотелось поспеть домой к празднику, на пироги, было вынесено, без всякого голосования даже, решение, обратившее в бесславную неудачу весь половинкинский поход.

Сергей Остифеич, стоявший поодаль, пробовал стрелять поверх бегущих с поднятыми руками к селу. Но наган запутался в ременном шнурке, а рука тряслась... Кроме того, две осечки, третья пуля покачнула желтый кустик дикой рябины, четвертая разбрызгала лужу, остальные были выпущены еще прежним владельцем нагана.

Закусив усы, Половинкин побежал назад, к ложбинке, где оставил красноармейца с конем. Тот, молоденький и черноусый татарчонок, все еще держал под уздцы половинкинскую лошадь, прядавшую ушами. В бегающих глазах татарчонка светилась блудливая виноватость.

— Небось и ты туда хочешь?.. — проскрипел Половинкин, подскакивая к коноводу.

— Стреляй! — сказал татарчонок и распахнул ватную куртку, надетую прямо на голое тело. — Стреляй, товарищ комиссар,— повторил татарчонок, и в лице его промелькнула как бы тень табуна невзнузданных коней. — Моя село Саруй на та сторона... — и честно кивнул на Сускию.

Половинкин отвернулся. Размокшее картофельное поле душно пахло картофельной же ботвой. Сергей Остифеич сорвал пупавку и растер ее в пальцах.

— Беги, дьявол!.. — сказал он, не глядя на татарчонка, и пихнул его в плечо.

Тот вздрогнул, огляделся и побежал вон из ложбинки, спотыкаясь о гряды и крича что-то на своем языке. Тошня-

щее, обидное чувство, граничащее со слезами, захватило Сергея Остифеича. Грудь болела, и спина болела, и все болело,— руки отказывались держать поводья. Он так бил коня, точно хотел ускакать от боли, и жалел со всей силой мужицкого размаха, что не осталось ни патрона в железной игрушке, болтавшейся на правом боку.

...А перебежчикам тащила родня творог, сметану, душистые ржаные лепешки. Какая-то древняя и беззубая старушоночка подарила гармонь, оставшуюся от сына, убитого в царскую войну. На ней-то, после двухсуточной гульбы, и играли перебежчики всю дорогу, шестнадцать верст до Воров, вливаясь пополненьем в Семеново войско.

А непонятный предмет на колокольне оказался лестницей, по которой лазил отбивать вечерние благовесты сусаковский пономаренок.

IV. ПЕРВАЯ НОЧЬ У КОСТРА

На том месте, где прозвенел Семенов топор, обрубивший с ленивого маху сухую ветвину, постояли люди с опущенными головами. Чудесно шумело в вершинах, скупо окрашенных закатом, очень далеко кричала кукушка; люди слушали. И у каждого тоскливо сжалось сердце, когда поняли, что только один отсюда оставался выход.

Тут же принялись за дело с таким усердием, как не работала нигде никогда никакая артель.

Пугало мшистую тишину бора громкоголосое топориное пенье, и уходила в дальние глуби из этого места тишина. Стремительно врывались люди в барсучьи норы, укрепляя ходы деревянными распорами. Скрипела супесь на заступах, весело брызгалась сырая пахучая щепа. Скоро провалами и ямами глядели лесные пески. Два барсука попались в них. Первый ускользнул прямо между ног у Федора Чигунова. Второго зашиб заступом Егор Брыкин и, присев на корточки, долго глядел в глаза подыхавшему зверю. Даже напал за это на Брыкина черный Гарасим:

— Брось, Брыкин! Налюбовался, и хватит...

Да Егору Брыкину и самому прискучило глядеть. Не было в барсучьих глазах ничего, кроме непонимания, зачем понадобились тихие и тесные, угрюмые норы этим сильным, не любящим тишины.

Уже веяла мокрым холодом приближавшаяся ночь, все еще шла работа. Но с первым же туманом, истекавшим, казалось, от ближних справа белых березовых стволов, затрещала в кострах береста, и обильный дым обволок расчищенную полянку. Над костром повесили варить общественную кашу в котле, вывороченном из бани Пантелея Чмелева.

О планах на будущее пробовал заговорить Жибанда, его слушали вяло. Сидя вокруг костра, люди глядели на огонь, перепархивавший по сухой можжевеловой и сосновой хвое. Глядя в огонь, все думали об одном и том же. Об этом и завелся разговор, вопреки стремлению Мишки Жибанды удержать его в плоскости бодрости и надежд.

— Умирать легко,— сказал Прохор Стафеев. — Легко и не горько. Нет в смерти вкуса — ни горько, ни сладко.

Чужаки из летучих с недоуменьем повернули головы к старику. Юда даже пошутил вполслуха, но так, чтобы услышал Прохор:

— Это дедушка тинтиль-винтиль завирается...

Прохор же тронул прямой ладонью белую свою с прожелтью старости бороду и пояснил негромко и внятно:

— Человек — что цветок. Как родился — помирать начал. Он всю жизнь и помирает, отбавляет от себя цвет день за днем. Он затем и родится, чтоб помереть! — И Прохор тихо посмеялся на раскрытый рот одного из летучих, слушавшего с внимательным удивлением. — Человек — что цветок! И когда притомятся евошние глаза светлый свет видеть, сами они, тинтиль-винтиль, темного света захотят. Иному даже и любопытно, как это бывает! А прыгать ему тут не приходится.

— Ну, про это ты врешь, дядя Прохор,— сказал Юда, прикуривая от дымящейся головни, и губы его враз утончились. — У меня случай был, так что и совсем наоборот!

Ночь сулила длинною быть, а каша еще не закипала. Назначенный общим мнением в кухари первой ночи Ефим Супонев, чертыхаясь от жары, мешал веселкой в котле. Уговаривать Юду не приходилось. Подергивая кавказский свой ремешок, сам начал он свой рассказ

ПРО РУКУ В ОКНЕ

— Сибирное время было!..

Гнали нас поездами цельными от моря к морю. По прошлому году случилось. Приходит комиссар раз: «Кончай, говорит, расчеты с бабами, у кого есть. Завтра с вологодских

хлебов долой!» Там, вишь, у моря, еще какой-то пупырь царский завелся, его и кончать...

Наша батарея моментальная. С утра — орудия на передки, марш-марш на станцию, по морозцу. Нам теплушка досталась еще цельная: в передней половине — кони, в задней — мы, четыре человека ездовых. Народ как на подбор: в отношении баб аль там выпивки — очень проникновенный. На станции всего двое суток и простояли, а там поплыли по снегам.

Осьмнадцатого декабря, как сейчас помню. Весело ехали, у нас-то и печка и огонек, а за стеной — снега, снега. Дни ветреные — ночами так, кажется, прямо скрипел воздух в поле. Ну, конечно, и бабы красили солдатские ночки. Пристанет иная: «Возьмите да возьмите, просит, к мужу али за хлебом там едем...» Ну, известное дело, солдатишко, сказать по-нашему — свободных взглядов человек.

Раз подъехали к станции, морозный вечер. Снег падал как по мерке: упадет и нет, упадет и нет. Паровозище воду пошел забирать, двое наших дрова воровать отправились. Проснулся, выхожу. «Какая станция?» — спрашиваю. Отвечают, что-то вроде «Бултыхай», не разобрал спросонья. Тут подтянули нас поближе, стала нас всякая гольтепа осаждать. Какой-то старик, здоровый, черт, чуть не в драку на нас лез: «Пустите,— кричит и клюкой в дверь грохочет,— хочу умереть на теплых лугах. Я-де право имею, я отечество спасал...» А как глухому объяснишь, что прежние заслуги не дают права на проезд в салон-вагонах вроде нашего! Аристарх у нас был — вот пересмешник! Он подходит да и говорит: «Отойди, папаша, а не то я тебя съем!» Старик тут вирть-вирть бородой: «Меня, кричит, нельзя есть! Три медали имею и крест!» Аристарх в ответ ему: «До медали это нам не касаемо, а крест, коли серебряный, можешь продать, как устарелую вещь, и выпей за наше здоровье!»

Старушоночки тут еще к нам тыркались. Мы и старушоночек тем же аллюром в два креста! Какой со старушонок навар? Вдруг подходят к нам две бабы, вот как бы жидовочки. У матери — усики чуть-чуть, но еще ничего себе. А дочка — барышня, черноватенькая, очень приятная, как пружинка. Опять же носик с игрой. Тут луна взошла, очень я их разглядел обеих. И ничего, главное, при них, кроме как узелок у матери да футлярчик этакой при дочке.

«Не пустите ли, говорят, нас до следующей станции доехать?» — и опять какой-то такой город назвали. Я-то стою вот так же, почесываю за пазухой. Аристарху ж, видно, молоденькая-т по вкусу пришлась. «Влезайте, влезайте,— говорит. — Только вот у нас конем пахнет, да зато наш салон без останову пойдет, и тепло!» Дверь распахнул пошире, все тепло упустил. Я к нему подхожу: «Что ж ты, говорю, без спросу дела вырешаешь? Ты коллективно постановляй!» Аристарх мигает мне: «Останетесь довольны! Не прекословь». Сам же он и втянул их в теплушку: дочку-то понежней, а мать ка-ак саданет за руку, так она, бедная, и растянулась... Шутник был Аристарх!

Только мы их забрали, подбегает гимназист в светлой шинели, ученик, одним словом. Годков шестнадцати паренек, за спиной мешочек. Всунул руку в дверную щель, не дает закрыть. За хлебом, вишь, едет. Мать у него там помирала с голода, сестра ли, забыл вот. Дрожмя дрожит весь, ровно битая баба. «Пусти-ите...» Ну, посмеялись мы, такой прыткий!

Не успели мы и печи растопить, тронулся поезд. В поле непогода, снег, свист и луна к тому же, а у нас форменная теплынь. Нигде для меня во всю жизнь так домовито не было, как в теплушке этой: и как-то мутит на душе, и сладко! Подошел я к окошку: «Лунишка-то, говорю, ишь выкруглилась. И чего она, дурища, торчит!» И тут вижу: в окошке рука видна без варежки, в сером рукаве, гимназистова. Я и догадался: не стерпел паренек, ногу поставил на дверной полоз и висит. У нас теплушка такая, «крымского образца» — ребята шутили. Ну, нам что ж! Пускай висит, да и согнать его неоткуда.

Я стал шашкой дрова рубить... Аристарх тотчас мамаше свою койку уступил, сам подсел к дочке на поленья, скручивает ножку, заводит разговор: «Каких родов, каких городов, трыки-брыки... как величать... что у вас там в футлярчике, какой предмет, одним словом?» Барышня-то сперва все на мать косилась, а потом доверилась. Расстегнула футлярчик, у ей там скрипка, на самое ее и похожа, худенькая такая и с носиком, тоненькая. «Наигрываете, значит? — говорит Аристарх, а сам жмурится, ровно кот. — Очень хорошо-с, романец, например. Вон у нас Петров на балалайке тринькает, а выходит, одним словом, серость наша!» — «Зачем же серость-то? — смеется барышня. — Теперь все хорошо будет:

одним словом, всеобщее обучение!» — «Да пет уж,— Аристарх говорит,— вы там книжки читаете, а мы огурцы едим!» Барышня со скрипочкой только смеется, платочком носик трет.

Поговорив с ней этак-то, по душам, пошел Аристарх в темноту, к лошадиным кормухам, нас туда же кличет. «Давайте, говорит, на спичках тянуть, кому начинать первому». Мы четыре спички в шапку покидали, за Петруху Иван вынáл.

А Петруха тем часом к барышне подсажен был, чтоб не заскучала. К разговору, конечно, был малоспособен Петруха, он и упросил, чтоб на скрипочке поиграла. И только мы спички повынали — мне еще первому досталось! — слышим: звук идет. Я выскочил и оторопел: играет барышня на скрипке и глазами в печурку глядит, на красный уголь. А звук простой и нежный, так и схватывает. Присел я тут на поленце. «Подожду, думаю, пока кончит». К терпенью-то сызмальства приучены.

Чего тут не было! То, понимай, розаны в глазах цветут, то еще что-то такое, приятное и круглое, то есть. Усатая-то уж и храпит, а эта все порхает, порх да порх. Весь я прямо, как облупленное яйцо, сидел, не смею рукой двинуть, совестно. И скрипочка-то — пальцем раздавить, хрусткая, а такой звук! Обидно мне вдруг стало, вот-вот зареву. Сорвался с места, сунулся к Аристарху, а тот стоит с белым лицом, ну ровно вот пузырек встряхнули и осадок всплыл. Тут мы по мосту проезжали, грохочет мост. «Это она про меня играет...» — шепчет мне Аристарх, а я его не слышу: у самого все лицо уж наизнанку вывернуто. Вдруг дернуло меня к окошку. Подошел — вижу, железная перекладина тут, а руки-то и нету...

Так весь перегон и проиграла нам. Мне-то, конечно, всех обидней было... А ветер снаружи действительно очень сильный был. Прямо сквозь щели обжигал...

— Это она из хитрости играла,— сказал Андрюшка Подпрятов.

— Укорить хотела,— прибавил от себя Юда.

— Зряшная бабенка, а мужику рев! — выругался Супонев, выливая топленое сало в кашу.

— Паренек-то соскочил, что ли? — не сразу спросил Прохор Стафеев.

— Да... видно, сам темного свету захотел! — огрызнулся Юда, и желваки насмешки запрыгали у него на щеках.

В кустах, на опушке, кричала ночная птица. Было в птичьих криках такое, что заставляло теснее сдвинуть брови и глядеть пристальней в самую пустячную точку, попавшуюся на глаза.

— Каша поспела! — возгласил кухарь, облизывая дымящуюся вкусным паром веселку.

V. ВТОРАЯ НОЧЬ У КОСТРА

Насте таким и нужен был Семен.

Там, в Зарядье, днем и ночью думала о том, что обрушилось каменным дождем на благополучие секретовского дома. Когда вспоминала отца, осунувшегося от напрасных хлопот, над которым издевались, и Секретов молча принимал поношения, — душила Настю горечь, туманилось и ненавистью темнело сознание, как бы слепнула тогда... но сил для большого размаха мести не было. Настина душа тлела чадно и впустую.

Тогда пришло письмо от Семена, посланное им тотчас же по приходе в Воры. «Если больно голодно живешь, приезжай, хлеб-то уж каждый день едим!» Она вспомнила его, полузабытого среди постоянных хлопот о куске насущного хлеба, и вдруг приобрела смысл их юношеская игра в любовь. Город все глубже уходил во мглу. Когда, после смерти отца, для Насти открылась возможность покинуть Зарядье, она не рассуждала долго; ехала к Семену, как в полусне. Память бережно хранила его колючие, полные угроз, речи о городе; она не забыла также его ярости в скандальный вечер помолвки... Издали Семен представлялся ей кудрявым лапотным богатырем с лубочной картинки, разрушающим, подобно Самсону, подпорки советского неба. Там, среди васильковых просторов, пусть потемнеют его глаза от любви к Насте, и чем темней станут, тем злее его сила, тем сытней душе... Словом, ехала оплодотворить Семена на подвиг ненависти, чтоб взорвался, губя все кругом.

На деле это выглядело иначе.

Правда, в лаптях был, но пахли лапти совсем не так, как предопределялось мечтами. Его стриженая голова удивила и охладила ее в первую же минуту. Зато слова, которые говорил он, жгли Настю сильнее тех, которые придумала для него, стоя в теплушке и глядя под откос. Семен угадал все сразу и холодок свой к Насте сохранил до самого конца.

Да и те пространства, на которых рисовались Настину воображению пламенные, испепеляющие волны мужицкого пожара, совсем не соответствовали действительности. Небо было дичей, чем в мечте, а у мужиков были свои глаза на происходившие события. Мужику было так: Гусаки отняли Зинкин луг. Гусаки — советские. Одна половина города схватила другую за горло. Мужик выжидал, не рассыплется ли город от всей той сокрушительной штуки в окончательную пыль. Тогда оставшееся пустить огоньком,— то-то дружно крапивы примутся пожженные места обрастать! Прищуренным оком мерил мужик близость того дня, когда, пусть через огонь и кровь, Зинкин луг возвратится в руки законного владельца.

Настя пробовала рассказывать, как ходил Петр Филиппыч продавать последнее, что оставалось в доме,— Настину шубку. А Семен с необыкновенной яркостью вспоминал другой страшный трехцветный день: белый снег, синие околыши казаков, багрово-красную спину своего отца. Явь никогда не подражает снам,— Настю обманули ее надежды.

Тогда своим немного косящим взглядом Настя заметила Мишку Жибанду. Семен стал скрытен и подозрителен; прозвище Барсука, данное ему впоследствии, как нельзя более подходило к нему. Жибанда был устроен по-иному: душа его имела как бы стеклянную крышку, и Настя видела в нем все, что ей было нужно. Втайне она желала, чтоб именно Семен стал как Жибанда, и с Жибанды она почти не сводила задумчивого взгляда во все продолжение дня.

А весь второй день не умолкали топоры. Началось с самого рассвета. Дятел вверху увидел солнце и ударил клювом. Снизу ему отвечал таким же стуком топор. И опять люди рыли землю, углублялись в дебрь. К вечеру уже были введены два сруба в землю из тридцати намеченных и устроен разведывательный тайничок в дупле горелого дуба.

И снова ночь проводили люди у большого костра. В кухари второй ночи единодушно наметили Луку Бегунова. Он поморгал прищуренным веком и вдруг объявил, что варить будет похлебку, а не кашу: к каше-де у него навыка нет. Бегуновскому намеренью не противились. Разговор с баб перекинулся на город. Мишка Жибанда обтесывал колышек в стороне. При одном из восклицаний он воткнул топор в поваленную ель и, подойдя ближе, стал сказывать

— ...В лихачах в Питере живал, веселое время! У отца заведенье было, богатый был. Лошадей в две смены пускал— ставить некуда. Разную гниль и возили, но денежную: по полсотне в один конец плачивали! Я у отца один был, меня отец жалел. Я и вырос вот экий, на дармовых-то хлебах. Столярить начал, одолела лень. Все не мог куска к куску подогнать. Ну, ясно дело, погуливал на сторонке... Бабы-то меня ангелочком звали, за волосы. Это правда, я волосы люблю, волос украшает человека!

Только по двадцать четвертому году стал ангелочек-то запивать. Тут у нас летом Кирьяк рассчитался, старший лихач. Пятнадцать лет у отца на козлах просидел... Как сейчас передо мной тот вечер стоит. Папаша перед киотом молится, а я вечерком из маскарада шел, выряжен красным чертом, пьян. Отец-то про мои дела мало знал. Пришла в голову блажь: к отцу в таком виде в окно влезть. Я пальто под окошечком тут скинул, на дворе, окно растворил потихоньку, ноги вовпутрь свесил и рычу. Папаша последний поклон положил, подходит ко мне. Я еще пуще зарычал, а он меня цап вот сюда, откуда усы растут. Очень неудачная получилась история, а я думал, что смеяться до родимчика буду. Красную кожу, чертову, он с меня содрал и хотел даже приняться за мою собственную... Очень неудачная история, прямо сказать!

На другой день повел он меня на конюшню. Думаю: «Учить хочет»; взял гирьку в карман, это на папашу-то! А он говорит: «Будешь теперь лихачом, привози мне пятерку в день, остальные твои». Я ему в ноги, по обычаю: «Благодарствуйте, тятенька. Я уж, концы с концов, хотел ведь и руки на себя наложить. Заело меня ничтожество!» Сунул мне на это дурака Иван Исаич, засмеялся. Хороший был старичок, с двумя питерскими архиереями в больших дружбах состоял. «Выбирай коня!» — говорит. Я и выбрал себе Кирьякова Кудеяра. Чубарый жеребец, и хвост курчав, и грива курчава, на переборку в высшей степени чисто ходил. Генерал Елизаров фотографию снял с Кудеяровых ног, потом повесил у себя на стенке. Всего только год и поездил на Кудеяре Кирьяк...

Конек был! Ни воды, ни огня не боялся! У иного шлея в ходу на четверть отскакивает, на моем — как пришитая. Зато уж щекотлив был — руки не положить. Да ведь что,

без кнута лошадей водили! На таком-то я и выехал, по старым местам сперва, где и Кирьяк возил. Какого-то доктора возил с Сергиевской, пятьдесят девятый дом. Потом еще баронессу Киль возил. В спине не гнулась, ведьма, а головка малюсенькая — наперсток положить, а уж иголке и тесно станет. Трух да трух, бывало, кости боялась рассыпать. Концы с концов, тошно мне с ними стало. Доктор-то тоже любил по версте в час ездить. Едет и все раскланивается, шику пускает. А килька эта... И сам-то с ними осволочился весь! Перешел я в ночную смену.

Надо сказать, одевался я очень чисто — при манишке и так далее, часы, конечно, персидский кушак, потому что лихачу, что и цыгану, кушак — первое дело. В холод манишки, конечно, и не видать, а уж чин требует. В пище я себе не отказывал — получше тех иной раз ел, которых возил. Ну, конечно, от хорошей жизни душе как-то прытко делается, весело. Кстати, под Кудеяра и коляска у нас замечательная была: из Вены, первый сорт, пятьсот рублей, лакированный верх, металлические кольца... Красота глядеть!

...Раз ночью стою возле Петергова — ресторана. Вдруг выходят двое. Он-то — щенок совсем, гниль, и пьянехонький. Шляпенка на нос слезла, а рожа... Ровно просидел вот хоть Тешка на роже-то у него цельный вечер. А она — барышня маленькая, шустрая такая, огоньковая,— етуаль, по-ихнему. «Можешь, спрашивает, ехать?» Я отвечаю, что-де и лететь могу. Она говорит: «Лети, Микулай, на острова!» Почему Микулай, когда Михайлой крестили, не знаю. Да ведь обидчивости лихачу не полагается. Втащила она щенка своего под руку. «Трогай!» Я только вожжой подшевельнул — наши машистовские кони славились, машистые, одним словом!

Донес их Кудеяр пустячком. Понравилось барышне. Она, должно, немочка была. «Хорошо, говорит, Микулай, ездишь!» А я даже и обиделся: «Что ж, говорю, рази в нас души нет, коли бессловесная наша должность?! Слава те, Столыпину подавали!..» Тут она достает мне карточку. «На, говорит, тебе карточку. Будешь мой»,— и ушла. Карточку я заложил за пазуху, там ее и забыл. Ладно, мол, нечего глядеть. Знамо, и твое дело подневольное, собственного имени не имеешь, а только так себе, господская подстилка.

Познакомился я таким манером с ней. И впрямь немочка, Дуней звали. Жила с сестрой, обувала-одевала ее. Та —

не то чтоб дурочка, сестра-то, а просто ума на жизнь не хватало. Бедно жили,— гостиница Минтекарлово. Только у них и имущества всего было — гардероб большой да беленькая собачка. А дружелюбно жили с сестрой-то!

Разов семь, по субботам больше, я ее со щенком катал. Щенок-то — домовладелов сын, с Кирочной улицы. Папаша булавками торговал, а домище экое закатил, туча тучей. Концы с концов, быстрехонько она его выветрила. Один я по пятьдесят за конец брал.

Прельстился тут Дуней дровяник один, Веденеев,— сурьезный, дьявол. Небольшого росту, в золотых пенснях. Баржи дровяные гонял, хорошей езды требовал, зато и деньги платил. Дуне — одна ночка, а ему — почитай четыре баржи дров. Тут и я с боку припека пользовался.

А уж тут стала меня Дуня за сердце забирать. Тоскую, днем спать не могу, тычусь по квартире,— совсем ошалел. Кудеяра раз отстегал шлеей, за что — и сам не помню. Все горевал я, зачем нечестная. А каб честная была, так и, сам знаю, не влекло бы меня к ней. Кудеяра я как брата родного любил. Хоть прощенья на конюшню к нему просить впору идти было.

Ой, за год-то сколько я их перекатал! И в санях, и в коляске. За дровяником верзила пришел. Кокусом заведовал, на фабрики кокус поставлял. Очень причудливый господин — одних волос на нем фунта два. После него офицеришко приспел,— платил бедно, по красненькой. Ради души только и возил его, авось на том свете зачтется! Дуне, знаю, совестно было глядеть на меня. Выйдет, бывало, с ним и отвернется, будто голубей рассматривает. Только на три раза и хватило офицеришки...

Тут война началась. Стала Дуня милосердной сестрицей одеваться, больше шла. А мне она уж совсем как родная стала. Должно, любил — вовнутрь головы не просунешь, у сердца не спросишь! Стою у ворот ночью, весь дрожу, бывало, и все насквозь вижу. Как она за штырмочкой у себя раздевается, а он ждет и папироску курит. Один только Кудеяр мои муки знал, да и тот — жеребец, неразговорчивый!..

Тогда-то и сошлась Дуня с лицеистом одним. Возил я лицеистов, знаю: высокие ребята, в косой фуражке, бравые. Сядет — ровно тыкву везешь. А этот какой-то юбочный, ходит — будто его ячменем окормили,— гниль! А со стеклышком в глазу. Уж очень, сказать, обидно мне стало из-за этого

вот стеклышка — гляжу, и коленки дрожат. И тут же сразу по Дуниной тихости увидел: влипла девка. Весь ее огонек любовь к лицеисту этому поела. Махонька жила да слабенька, жила — думала, что уж и нет слабже ее на свете. А как встренулся еще жалчей, так и затрепетала! Тут я и затрещал — пить начал по-крупному, играть еще того крупней. Все, что сберег, в три недели на дно спустил.

Только я приглядываюсь — везде она платит, а он вид делает, будто бумажник дома забыл. А шикарит, гниль! На островах ресторан стоял — корабль на воду поставлен. Названье Бельву, кругом — вода. Там легкачей одних за ночьто поболе сотни стаивало, и всем хлеб был. Вижу — завертелся лицеист. Из Бельву выходит — кричит на нее, пальцем мне в плечо тычет. Я, бывало, дрожу весь, а Дуня мне шепчет на ухо: «Молчи, Микулай... Ничего, Микулай...» И ведь до чего она меня довела — смирней мерина я стал. Только глазами хлопаю да Кудеяра втихомолку на конюшне истязаю...

Три месяца вот так. Раз везу, а сам слушаю. Кругом поле, луна — ровно бы под вуалькой... завлекательно! Лицеист, спьяну-то, говорит: «Не живи, одним словом, ни с кем, а жди меня». Она очень тихо ему, чтоб я не услышал: «Если ты, Миша, о деньгах, что я тебе давала, беспокоишься, то не беспокойся! У меня денег, пока молода, завсегда свежий приток будет». Он тогда голос переменил и ровно б честь Дуне делает: «Ты, говорит, что теперь из себя являешь?.. А то будешь честная... моя жена будешь! Губернатором стану, будут тебе чиновники ручку целовать и букетами, одним словом, одаривать». И, главное, все только так, для бреху! Дуня еще тише и упористей, а голос дрожит: «Не хочу я за тебя, Миша. Не пара я тебе. А лучше будем так любиться, какие уж есть...» Я Кудеяра попридержал, сам уши навострил. Лицеист тогда и говорит, громко так, даже меня ему не стыдно: «А не хочешь замуж, так получай назад свои деньги!» — и притворился, будто деньги достает. А она, слышу, плачет и пальчиком мне в спину показывает: «Мишечка! Ведь он все слышит!» До сей поры чувствую я на спине тот холодный Дунин пальчик. Тут лицеист озлился, коляску остановил. «Чувствуй, говорит, ты, дрянь, будешь ехать. А я, дворянин... — моя тетка за итальянским послом! — а я за тобой пешком пойду, по грязи. Вот тебе в наказанье!» И что ж, слез и пошел ведь!

Ровно в ней струнка дрогнула и порвалась. Как крикнет она мне: «Гони, Микулай!» Кудеяр мой ровно ждал,— полетели мы вдвоем, куда Кудеяровы глаза глядят. Верст семь этак-то мчались, уж руки у меня осоломели держать, все по шоссе. Она в себя пришла, велела остановиться. «Вот, говорит, Микулай, какие дела бывают!..» Я обернулся к ней, молчу. Она на сиденье боком сидит и пальчик грызет, в перчатке. Сидим и дрожим оба. А ночка осенняя, сводница... Вдруг она мне говорит: «Целуй меня, Микулай!» А я понимаю, молчу. «Целуй, говорит, Микулай! Никто не увидит, что с дрянью!»

Я-то к ней бросился, утешать сперва хотел... И что тут было! Скажи она: сожги Петербург, Микулай... Кудеяра убей... себя убей!.. — все бы сделал! Она меня в ту ночь все Мишечкой называла, твердила в темноте, а мне и невдомек, что она своего лицеиста треснутым сердцем кликала. Ведь и меня Михайлой зовут, уж я понял потом-то. Так мы до рассвета и ездили. Все сосало во мне, что завладел я ею не прямым путем.

А лицеиста я поймал все-таки. Подкатил я раз к Петергову, а он и выходит с мадамкой; приятненькая, и на шляпе пумпон напереди. По ночному времени садятся они ко мне, не глядя. «Бельву,— он-то говорит,— и быстро!»

Уж я его мчал! Подступило во мне к самому рту. Ровно Дуню перед собой в тот раз видел, будто Дуня бежит впереди. «Дуня, думаю, махонькая ты моя барышня, Дуня!» А сам кнут из-под сиденья достал, привстал да Кудеяра-то все меж ушей, меж ушей, щекотливого-то! Ровно хотелось мне Дуню впереди себя догнать. Еще покуда деревянная мостовая шла, резины с задних колес у меня сорвало. Прямо колеса с осей вывертывались, как змея Кудеяр летел. А уж как за город выехали, тут и сравнить не с чем. Шляпа с меня слетела, сзади кричат: «Раздавили... держи!» А мы уж за две версты...

Мадамка лицеистова так и култыхается, слышу, потому что ни дороги, ни поля, ничего я тут не видел. Как стало коляску-то подкидывать, тут и лицеист мой отрезвел, голосом закричал: «Стой... ты меня убьешь!..» Обернулся я к нему: «Действительно, говорю, дорога хромая. Губернатором будешь — вели починить!» Вцепились они в кушак мне, только кряхтят.

Концы с концов, в ужасном я их виде предоставил. «Сколько тебе?» — лицеист спрашивает, а я ему со зла: «Две сотни!» — отвечаю. Он засмеялся и стеклышко стал себе в

глаз вправлять. «Дурак, говорит, мало просишь... На!» — да и протягивает мне три сотенных. Тут уж не вытерпел я. «Сам дурак,— говорю. — Ты Миша, я — Миша, так вот тебе, получай!» Да хлобысь его кнутом по глазам, по глазам, и раз, и два, и три, поколе стеклышка не выхлестал. Ух, много тогда шуму было!..

Мишка Жибанда еще с минуту глядел в костер, усмехаясь. Потом стало охлаждаться разгоряченное его лицо, блеск пропал, черты загрубились. Трое пошли за хворостом в лес.

— Вот так барин! До чего довел себя... до мужицкого кнута! — сказал Прохор Стафеев, стоя поблизости Насти.

Настя молчала, щеки ее разрумянились; она спросила,— голос выдавал ее с головой:

— ...и долго ты с ней валандался, с Дунькой своей? И рад небось, что барышня приголубила!..

— Ай да братень! — непонятливо захохотал Петька Ад и беспричинно вскинул ногами; ноги у Петьки жили сами собой и по-своему выражали каждое хозяиново ощущение. — Под самые жаберы братень поддел!

— Недолго, нет,— спокойно отвечал Жибанда. — Она потом-то жить со мной стала... — Жибанда помолчал и с зевком перевел глаза на Настю. — Удрал я от нее, концы с концов. Весь у ней огонек пропал, пить стала. Я с бабами несчастливый. Оставил сотню на столе и удрал! Через окно я от нее удрал, по водосточному желобу...

Первым после наступившего молчанья заговорил Герасим-черный.

— Конька, значит, спортил в последнюю-то езду? — спросил он хмуро у Жибанды.

— Татарину на другой день отдали... — нехотя бросил Мишка и полез отпробовать бегуновского варева.

Зашуршала лесная темнота. Трое возвращались с хворостом.

VI. ТРЕТЬЯ НОЧЬ У КОСТРА

Шумлив и хлопотлив был следующий день. На целых две недели растянулось устройство барсуковских землянок, но именно к ночи третьего дня было готово все основное. На уже выведенные срубы накатывали кругляк, а сверху укрывали землей и дерном. По Семеновой сметке лес был вырублен не сплошь — оставляли отдельные деревья. Подходы к зем-

лянкам завалили хворостом — он первым подаст весть о приходе чужих гостей. По краям же вдоволь было нарыто волчьих ям.

Барсуками назвали воровских выходцев сусаковские мужики, пришедшие укрываться в лесах же. И уже облетело это прозванье весь уезд, наравне с известиями о завоевательных намерениях Семена Барсука. Но сами барсуки и не помышляли выходить покуда из своих нор. Хлеба было достаточно: бабьи приношения не оскудевали. Однако вскоре было решено из военных соображений не допускать баб дальше осинового молодняка, где сторожевой блиндаж.

Самая большая землянка имела две комнаты — так рассказывали мужики по осени другого года. Там у них происходили и собранья, а порой и картеж и пьянство. Там коротали длинные зимние ночи,— называлась зимницей. Сюда поставили остатки мебели со свинулинского пепелища, в том числе — диванчик нарядный, крытый атласом, а по атласу пунцовые линялые завитки. Он долго не хотел входить в узкий и грязный проход зимницы, и уже собирался Лука Бегунов пилой смирить дворянскую спесь дивана, да Федор Чигунов спас. Ножки, по его совету, откололи, и потом диван поставили в зимнице на чурбаках.

Сторожевую срубили там, где луг вдавался клином в лес; и потому что не нашлось охотников селиться в одиночку, отдали сторожевую Насте.

— Мы тебя, Гурей, навещать будем! — хлопал Настю по спине Юда и дружественно подмигивал.

Третью ночь все еще проводили у костра под небом. Поднялся разговор о буянстве города против разных величественных вещей, бога в том числе. Склонялись к тому, что попусту головой в стенку биться: только в смертный час узнаешь, есть ли какая вышняя погонялка всему или только так — тень человека.

— Закон природы! Его не переступишь,— сказал бородач из Отпетова, откидывая голову назад и глядя в точку перед собой.

— На законе-то твоем поезда ходят,— подзадорил Жибанда, стругая ножичком какой-то деревянный пустячок. — На всякий закон наука есть.

— Природа науку одолит,— сказал Прохор Стафеев. — Вот и будет неученому-т горе, а ученому, тинтиль-винтиль, два!..

— Пожалуй, одолит природа... — нерешительно протянул Петька Ад, косясь на Жибанду.

— Одолит! — выступил вперед Евграф Подпрятов. — Сыну супротив матери не выстоять.

— Все одно... Мать уж сына не обидит, хоть и на шею он к ней сядет! — усмехнулся Жибанда.

— Это как сказать,— возражал Подпрятов.

Все уже видели, что не спуста ведет свою линию Евграф. А Евграф присел на краешек бревна и стал смотреть в огонь. Стояла полная тишь, и в сердце ее горел костер, а по сторонам его затихли люди. Вдруг тихо засмеялся Евграф Подпрятов, точно вспомнил веселый конец невеселому началу. Речь свою пересыпал он смешками, так что лукаво выходило у него —

ПРО НЕИСТОВОГО КАЛАФАТА

— Дед от прадеда слышал, а прадеду старовер по книге читал.

Древние-т времена — просторные, и воздухи были чище! Поля да птицы, леса да лисицы, а по овражкам ключи бьют. Державы сидели огромадные, никаких годов не хватит державу обойти. Цари рожались нелюдимые, один другого дичей. Выйдет с утра на башню и глядит поверх лесов,— очень вид хорош открывался: облака бегут, леса шумят, реки катятся. Заест царя скукота, он и заорет с башни: «Все мое! И реки, и леса, и болота, и овраги, и мужики, и медведи, и земля, и поднебесныё!..» Мужик и не обижался, хоть и слышал. И петух с жердины про свое хозяйство кричит, а его еще за то и муравьиными яйцами кормят. Шутки-дело, так и сидел царь заместо петуха. Без обиды люди жили...

Посередь тех времен родился у одного такого петуха сыночек. И стал он расти и разумом возвышаться. И по девятому году пришел сынок к папаше: «Ты, говорит, папаша, нескладно живешь. Все твое царство вразброд! А ну, ответь мне, сколько травин в твоем поле, сколько лесин в лесу? Рыб в реках, звезд в небе? Каждой травине счет нужен. Ага, не знаешь!»

Почесался папаша. «Да ведь вот, отвечает, двадцать колен так жили. Ели невпроворот, спали крепко, очень замечательно жили». — «Неправильно,— отвечает сын. — А вот есть наука еометрия, тебе по ней нужно жить. На каждую рыбину поставим номер, тоже и на звезду, тоже и на каждую травину,

холостую и цветущую. Вот я ухожу в горы. Там буду еометрию изучать...»

Шутки-дело: взвалил избу на плечи и пошел в горы.

Одиннадцать годков в избе просидел. Другой землицы сколько бы напахал, а этому далась одна еометрия. Одним словом, и доучился до точки. По двадцатому году пришел сын к отцу. «Здравствуй, говорит, папаша, как здоровье?» Напугался отец: «Вырос ты, говорит, очень». А тот и действительно вырос: бывало, выйдет в грозу, помашет шапкой в небе и разгонит тучи. «Вот,— говорит сын,— теперь я тебя отставляю, а буду сам дело вершить. Ныне имя мне будет — Калафат! (По-ихнему значит — «до всего доберусь».) Я теперь знаю, чем мне мир удивить!» Папаша и говорит: «Вы, умные, пойте, а мы, дураки, послушаем!»

Тут папашу он отстранил и стал трудиться в поте лица. На рыб поставил клейма, птицам выдал пачпорта, каждую травину записал в книгу... И все кругом погрустнело. Шутки-дело: полнейший ералаш в природе. Медведь и тот чахнет, не знает, человек он али зверь, раз пачпорт ему на руки выдаден. А уж Калафат задумал башню строить до небес. «Посмотрю, сказал, какой оттуда вид открывается. Кстати, и звезды поклеймим!» Отсюда, как задумал, так и пошел конец земному шару.

Шутки-дело, зачинаются Калафатовы дни. Мужиков со своей державы собрал, пошел воевать. Семь глухих стран покорил, да две ему так сдались, с голосу. Оттудова шарахнул Калафат к морю. Там народишку прихватил. Все эти военнопленные и должны были башню ему воздвигать.

Только когда с народами-те шел домой, и сустрелся ему лесной старичок, на нем шляпа деревянной коры, в руке лукошко. «Не противься,—говорит старичок. — Распусти всю армию, не делай зла себе, живи в тихости, сапоги шей!» — «Нет, отвечает, буду башню строить». — «Так ведь туда и другие дороги есть!» — старичок говорит. «Вырасти хочу!» — отвечает Калафат. «Так ведь уж и так велик. Сказывали, будто воробей у тебя до десяти фунтов распух?..» — «Это еще что! — Калафат похвалился. — У меня вошь и та до пяти фунтов дошла!» Старичок засмеялся: «Зачем же тебе расти, коли и вошь рядом с тобой растет? Ты — с гору, а вошь — с полгоры. Еще боле будет она тебя глодать!» Отвернулся Калафат от старичка — еометрии-де не знает.

И вот тогда все пухнуть стало! Люди пухли силой да яростью, дерево — гордыней, что земное, ночь вдвое против дня распухла; растет Калафатова башня, под самые небеса ушла. Двадцать годов строил! Ему — двадцать годов, нам — двадцать веков. Год нужен ее кругом обойти. Тучи об нее бьются и ручьями вниз по стенке бегут. Тут раз приходит старший каменщик: «Некуда больше, говорит, уперлись. Дальше невмочь... уж больно солнцем макушку жжет... Жулики уж пытаются первыми взлезть!» А это и верно, пока строил башню, уйма жулья развелась, на каждый кирпич по жулику.

Тут по весне раз и собрался Калафат нá небо. Семерых жуликов, какие почестнее, выбрал с собой, зашел в башню, все затворы защелкнул, чтобы никто из простонародья, скажем, не мог за ним идти. Тут начинается Калафатово вознесение, шуточки...

Пять годов подымался Калафат, пятеро из жуликов уж и померли: поднебесной жары не вынесли. Все взлезает и взлезает. Под конец пятого года заяснилось небо вверху. Наддал Калафат жару в ноги и выскочил на самый верх. Огляделся и завыл. Старовер-те сказывал,— ни одна собака травленая так не выла, как царь этот выл. Вся еометрия насмарку пошла.

Покуда подымался царь по башне, не выносила башня Калафатовой тяжести, все уходила в землю. Ни на вершок не поднялся: он — шаг вверх, а башня — шаг вниз, в землю. А вокруг сызнóв леса шумят, а в лесах — лисицы. Благоуханно поля цветут, а в полях — птицы. Поскидала с себя природа Калафатовы пачпорта. Так ни к чему и не прикончилось.

...Евграф кончил и опять посмеялся огню.

— Каб ее бетоном сперва залить, землю-те вокруг. Может, и польза б вышла! — сказал Тешка-пензяк.

— Во-во! Может, там, на небе-то, сено растет... Так и не возить, скидывай его прямо сверху,— поддразнил Семен.

— А старичок-те любопытен... — заметил Стафеев. — Добра желал!

— А вот Пантелей Чмелев говорил, будто в звездах всего вдоволь имеется, чего человеку на потребу нужно... Неужто правда это?.. — вспомнил старый Барыков.

Ему никто не ответил. Упоминание о Чмелеве разом повернуло в обратную сторону настроение всех. Пантелей — восторженный и преклоняющийся перед неведомой ему на-

укой, захлебывающийся словами и бессильный объяснить толком — встал у всех перед глазами.

Вдруг Брыкин сказал:

— Гусакам оружье привезли. Будет дело...

— Ты откуда знаешь? — спросил Семен, переглядываясь с Жибандой.

— А вот уж знаю! — хвастливо отвечал Брыкин и, видимо, уже сожалел о своем нечаянном хвастовстве.

VII. ОСЕНЬ

Укоренившись в лесном приволье, как бы в затвор ушли от мира барсуки. Дальше терялась нить жизни их от чужого любопытного взгляда.

В Ворах безвластно стало, бабьим криком вершились дела. Оставшиеся мужики затихли. В молчании возили ржаные крестцы с полей, в молчании же складывали их по ригам. Уверенности в завтрашнем дне не было, работы лениво шли. В отогнание духа смятенья и тревоги посемейно и в складчину варили самогон. Хмель еще больше бередил мужиковскую рану. С нетерпеньем и жаждой ждали любого конца.

Все же однажды утром, когда надоело ждать, застучали гудливые цепы по звонким гумнам, но не дружен был их стук. Хороший умолот не радовал. Дни укорачивались, поздняя осень вступала в права. Среднее поле щетинилось пегим, омертвелым жнивьем. В несжатых полосах Пантелея Чмелева с шуршаньем рыскали галки, и неслышно точила их полевая мышь. В заводях на Курье зачернели созрелые стебли болотного тростника. Их клонил вечерний ветер, шумел ими, ломал их, сводя ни к чему работу летнего солнца.

Полыни сереют, а собаки злеют, ожесточаются людские сердца. Герасим, отпросившийся на жнитво домой, стал бить жену. Так бывало у него каждую осень, и крики Герасимовой жены уже не будоражили соседей.

— Никак, третью в гроб вколачиваешь? — закричал через всю улицу старый Фрол Попов Герасиму, вышедшему поотдохнуть на крыльцо.

— Наше,— сказал Герасим. — Мы и бьем, мы и милуем.

— Опосля кнута — завсегда милость,— отвечал Фрол Попов.

— А ты, старый хрен, помалкивай! — ругнулся Герасим, и Фрол Попов не обиделся.

...Дергали коноплю у свинулинской межи и копали картофель за Мавриным овином. Больше руготни было, чем работы.

Все обильней наползало туч со всех сторон. От приходящих холодов пятилось обессилевшее солнце в Скорпионов знак.

Потом стало поливать все это дождем.

Опустели поля от черных и серых птиц. Глина на дорогах стала злее и прилипчивей. Некуда ехать. Воображение создавало в каждом углу враждебные заставы. Да и незачем ехать: сусаковские ярмарки, где и конь, бывало, и пряник, и серп, и рукомойник, и ситец, и дуга,— приурочивались к Покрову. А в этот Покров выйти за околицу — один ветер мечется, обжигаясь о крапивы, не в меру расщетинившиеся по осени.

Опять настала пустословная пора. Тот же репей слух — цепок к любому разуму. Обронил мимоезжий мужик, будто гусаки всем миром записались в солдаты, воров искоренять. Да еще говорил, будто принес весть Фрол Попов, ходивший наниматься на лето в Сускию,— но сам Фрол Попов отрекался,— предлагали уездные власти выгоду бедрягинским мужикам:

— Предоставьте нам самого главного, Семена Барсука. А мы вам земли прирежем.

Бедрягинцы в таких случаях единогласны:

— Дак он вас однех зудит, вы и чешитесь! А нас он не трогает!..

А пастухов подпасок и не такое принес. Месяц назад объявился неизвестного дела человек в штиблетках. Пришел в Каламаево, что то же и Рогозино, потому что рогожи ткут, и заказал бабам лапти плесть, длиной в один аршин, да еще с прибавком на обертку. На вопрос одной бабы, кому ж такие надобны, было якобы отвечено, что-де для собственных его братьев во Христе.

— Да уж что, батько, больно ногасты твои-те... уж не черти ли, грехом? — не доверилась баба.

— Нет,— якобы отвечал в штиблетках, давая каждой бабе по серебряной николаевской полтине. — Через два месяца вернусь, выплачу всем вам золотом пятьдесят шестой пробы. Все заберу, что наплетете. Жарьте, одним словом!

Потом скрылся из виду. А бабы горы лаптей наплели. Уж четвертый месяц шел, не являлся заказчик. А трудно было отстать от начатого дела. Все липы в округе извели. И хоть издевалась над каламаевками вся волостная округа, все плели каламаевки, как безумные, свои несосветимые лапти.

Из того слуха целый выводок слушонков повелся. Егоровна доподлинно узнала, что лапотную выдумку нарочно подстроила Советская власть, чтоб не постились, не молились мужики, а жили бы девки с мужиками по Адамову правилу, нагишом. Другие прибавляли, что это сам барин Свинулин ходит под видом бездельного человека в штиблетках и высматривает, кто из мужиков отстроился из господского леса.

Даже спор был по этому поводу, как быть. Собрать ли выкуп барину по пуду с души, чтоб ушел подалее, не морочил бы мужиковских душ, или же решить дело по-иному, поручить подходящему удальцу прикончить этого Свинулина, буде явится за лаптями, а в уплату за службу выдать удальцу вышеуказанные штиблетки; деньги же, если найдутся, отдать на благолепие храма, что во имя Пресвятой троицы в селе Воры.

Такие слухи ходили по всему уезду, не миновали и Гусаков. Захожий в Гусаки нищий солдат, кривой и молодой, но знающий, пояснил, поедая милостынную похлебку в доме у Василия Щербы, что лапти заказаны для войска, отправленного откуда-то в подкрепленье барсукам.

— Тот лапоть одевается прямо на валенец заместо лыжи... — размеренно говорил он, усердно работая ложкой. — В лыже-то по снегам ускользать не в пример способней. Зверь, ему разума не дадено, он потому и гибнет, что без лыж. Он в сугробе тонет! Экось, Шебякин-те Василий — может, слыхивал? — четырех лис этак вон зафрахтовал...

Томленые, вкусные щи, а вслед за ними и каша быстро исчезали в нищем солдате, а рассказу его все еще не предвиделось конца. Щерба, отец нынешнего гусаковского председателя, уже отужинав, сидел прямой, как кол, презрительно угадывая наперед все закоулки, по которым потечет христарадная нищенская выдумка. Впрочем, были у Щербы тяжкие думы. Утром того дня нашли наклеенную на исполкоме записку: «Никто не работай. Нынче ночью придем. Барсуки». Записке этой не особенно поверил Щерба, но все же не мог выгнать тревогу из сердца.

— Вот ты везде ходишь. Вопрос тебе: а барсука главного не встречал ли? — спросил Щерба у нищего как бы ненароком.

А нищему было только до каши:

— Да как... Сам видишь, левой-то мой глаз каков... Много ли на кривой-те глаз зрения!

Словно отвечая на свой незаданный вопрос, сказал Щерба:

— Ну да ничего! Вот она, в уголку. Она выстророжит! — Он уверенно кивнул на винтовку, прислоненную у стены между койкой и печью.

— Много, сказывают, привезено вам таких-то? — спросил и нищий, припрятывая оставшийся кус хлеба за пазуху.

— Чего это? — вскинулся на нищего Щерба.

— Да этих вон, из чего стреляют-те...

— На воров хватит! — со злостью похвастался Щерба и тряхнул бородой.

Ночевать остался нищий у Щербы.

...Слух о подкреплении барсукам оброс множеством несуразиц. Обнищали парнями деревни; было девкам о чем судачить на посиделках в мокрые осенние вечера. Безнадежно и безвыходно сидели девки в избе, визгливо голосили весь вечер песни, но звучали похоронно и самые развеселые. Все гармони в леса ушли. Перестали невесты того года надеяться на замужество.

— Всех женихов-то перекокошат, шуты зеленые!.. — ворчала Домна, крупная телом, самая красивая и злая в Ворах. — Вот достанется тебе, Праскутка, муж-те без ног. Качай да покачивай культяпки его!..

А Праскутка тянулась змеиным своим телом, заламывая руки над головою, точно звала... Лень было ей и лучину новую в светец заправить, и косу перевить, тугую, русую, выросшую ни для кого... Шумел за окном мелкий, бесконечный дождь.

Вдруг Васенка зашикала на поющих девок:

— Постойте... ребята идут! Ой, девушки, к нам идут! — закричала она, обливаясь холодком радости. — Ой, да с ружьями!

— К нам ли? — лениво привстала Домна.

Они выискивающе приникли к оконцу, стараясь разобраться в лицах людей, шедших вдоль улицы. В потемках было не разобрать, двадцать их или сорок.

— Далеко ль, товарищи, гуляете? — закричала бойкая Васенка, распахнув окно и выставляясь на дрянную сентябрьскую моросьбу. — Заходите потанцевать. Мы по вас соскучились...

И уже грянули было девки самую развеселую из всех:

Девки тише, тише, тише,
к нам молодчики идут!

Да несогласный был им ответ с хлюпающей улицы:

— Уж без нас танцуйте, красавицы! По делам идем...

— А чьё вы? — не унималась Васенка, перегибаясь, как кошка, в тугой пояснице.

— Мы заморскиё! — насмешливо отвечали с улицы.

— Барсуки куда-те пошли... — сказала Васенка, с досадой захлопывая окно. Она достала из кармашка на переднике завалявшийся леденец и сгрызла его со злым, неумолимым хрустом. — Гоняешься, гоняешься за ними... А и достанется пьянчужка какая-нибудь, винное подметало!

— Дьяволы! — звучно сказала Домна и, зевнув, положила голову Васенке на колени — искаться.

Остальные, менее бойкие, грустно смотрели на этих двух, самых красивых. Дождь шумел. Опять сновали осовелые мухи. Злей вы, мухи осенние, самых злых вековух!..

VIII. ПЕРВОЕ СОБЫТИЕ ОСЕННЕЙ НОЧИ

Среди явившихся из ночи и в ночь же ушедших по хлюпким грязям был и Семен, и Гурей, названный брат Жибанды, и еще двадцать шесть молодцов, понадвинувших картузы да шапки так, что торчали только глаза да усы. Шли без разговоров, мимо девичьей посиделки шли — насупились. Прошли — и ночь за ними следы примела.

Идти недолго было. Поравнявшись с новехонькой избицей, остановил весь отряд Семен:

— Здесь...

Один из летучих постучал в раму окна прикладом. Ответа не было. Несколько барсуков взошли на крыльцо и сюда же втащили от дождя что-то небольшое и грузное. Передний ударил сапогом в тяжелую рубленую дверь. Бабий голос из-за двери тихо и не сразу опросил, зачем и кто.

— Гарасима буди! — сказал в дверь Барыков. — Это я, Митрий.

— Встает Гарасим,— ответствовала баба.

Вслед за тем послышался грохот болтов и задвижек.

Гарасим-шорник жил, как в крепости, окруженный высоким тыном. Будучи человеком большой силы и крепкого сна, он смеялся над дневной бедой, ночной же беды, расплошной, побаивался. Войдя в сени, Васька Рублев зажег спичку. Стало видно: каждая тесина, каждое бревно здесь свидетельствовали наглядно о склонности Гарасима к вещам прочным и

неколебимым. Поражал своими размерами ушат, перегородивший сени. По стенке удивляло не менее того обилие старой конской упряжи. Жирно пахло дегтем. Больше не дала разглядывать Гарасимова жена.

— Чего вам?.. — спросила она, протирая рукой подбитый глаз и понемногу вытесняя чужих из сеней.

— Скажи Гарасиму, чтоб запрягал,— сказал Семен и хотел еще что-то добавить, но дверь перед ним внезапно запахнулась и загромыхали разнозвучные засовы. Семен только головой покачал.

Барсуки, рассевшись на ступеньках крыльца, ждали. Уже тлели по темноте угольные светлячки самокруток. Неизвестность ночи возбуждала людей, разговоров не заводили. И уже докурились самокрутки, а Гарасима все не было. Время было дорого, минута по цене равнялась часу.

— Разоспался, черт... — сказал Семен. — Брыкин, а ну, стукни еще, повразумительней!

Брыкин не успел стукнуть и разу. Беззатейные, рубленые же Гарасимовы ворота распахнулись, и, дребезжа железными шинами на выщебенной подворотне, выехал Гарасим. Он соскочил с подводы и одернул яркий свой, длиной до подколенок, дубленый кожан, на котором плоско чернел широкий клин бороды.

— Там еще двух возьмите. Ступай кто-нибудь!..

— Мы уже думали, дядя Гарасим, с бабой завозился ты... — льстиво подсмеялся Егор Брыкин.

— Помолчи, раздолбай,— оборвал того Гарасим, оправляя что-то в подводе.

На трех подводах они выезжали за околицу. Село уже спало. Только в избе, где млели девушки в безмужнем одиночестве, светились окна тусклым желтым светом. Ни одна собака не пролаяла вослед уезжавшим, не встретился ни один живой.

...За околицей их тотчас же охватила непогода. Неистовы осенью ночные поля. Ветер нес скопище водяной пыли. Люди в подводах затеснились друг к другу, все, за исключением Гарасима, вообще мало склонного к какой бы то ни было общительности. Гарасим сидел на краешке, степенно и твердо. Ведя свою подводу переднею, он не махнул кнутом ни разу, не орал на лошадь, он только цокал еле слышно, по-своему, не то подражая цоканью копыт, не то цыганскому говору.

Мало-помалу обвыкли глаза по темноте, но все еще чудился куст человеком и пугал. Когда въехали в лес, еще больше сгустилась тьма. Мокрые вихры нижних ветвей посыпали проезжающих крупным, холодным дождем. Только непутному променять на такое теплую, сухую печку. Чавкала и брызгалась глина в колеях, но не издала Гарасимова телега ни единого скрипа за весь путь. Гарасим даже и от сапога требовал долгой, беспорочной службы. Под стать пудовому Гарасимову сапогу была и телега, которую, хоть с горы роняй, не брала никакая случайность. Под стать телеге был и конь. Коня Гарасим понимал, работы ждал втрое, был с ним ласковей, чем с человеком. Под стать коню был и сам Гарасим. Сколотила его жизнь таким, что пронес тройную тяготу мужиковского существования не сутулясь. Гарасим жил и не старел. Нестареющий, он напоминал собою дуб. Стоят такие, отбившиеся от всего лесного стада, на опушках и в одиночку сносят и беду, и борьбу, и солнечную радость.

Сидя рядом с ним, вспоминал Семен, как двенадцать лет назад по той же дороге увозил его Егор Иваныч в жизнь. В том лишь разница, что тогда с перекрестия отпетовской дороги свернули они влево, а теперь едут прямо. Со сжатыми губами Семен следил за скользящим мимо, сощурив глаза. Ветла в стороне мнилась ему бабой, стоящей в задумчивости, кустки — затаившимся, безыменным, но живым, еле приметно перебегающим поле. Все повторяется: тот же Егор Брыкин жмется к нему сзади и уже не ропщет на тесноту, на неуважительность лаптя к лакированному сапожку. И вот Семену неудобна стала брыкинская спина.

— Держись прямей, Егор... — приказывает он с раздражением,— всю спину ты мне протрешь!

— Да ведь некуда, Семен Савельич! — Брыкин угождающе суетится всем телом.

Но опять едут, и опять налегает Егорова спина.

— Подогнать бы кубаря твоего,— говорит Семен Гарасиму, но тот глядит прямо и молчит, как неживой. — Онемел, что ли? — вспыхивает Семен и машет на мерина длинным рукавом полусермяги.

— Не серчай, Семен Савельич... — пугливо вскидывается задремавший было Брыкин. — Приснул маленько...

Мерин пускается вскачь, а Гарасим отводит Семенову руку в сторону.

— Я тебя вон энтаким за уши трепал,— внятно шепчет Гарасим, не отводя глаз от лошадиной спины, и Семен не знает, укор ли это за дерзость, обещанье ли вспомнить давно прошедшие времена.

Постепенно и Семеном овладевает дремота.

«...и сила, а ответить нет силы, эх! — в сонливом безмолвии думает Семен. Он теряет вожжи от мыслей, и те бегут как придется. — Барсуки, зверье... ума нет. Дерево рубят, а корень оставляют на аршин торчать. На корень — воли не хватает. Город, мужики. У себя там картинки вешают, в театры ходят... а мужику что? Школы нужны, книги нужны! А книги... из города?..» — так напрасно барахтается в тине полусонных мыслей Семен.

Бессилье родит злобу. Был бессилен Семен выпутаться из собственной тины.

«...собрать мильон, да с косами, с кольем... Мы, мол, есть! Может, думаете, что нет нас? А мы есть! Мы даем хлеб, кровь, опору... забыли? Евграф на досуге подсчитывал по календарю: нас если по десять тысяч в сутки крошить да и приплод всякий воспретить кстати, так поболе тридцати годов понадобится, чтобы всех извести. Забыли?.. Мильоном скрипучих сох запашем городское место. Пусть хлебушко на нем колосится и девки глупые свои песни поют».

«...а город не спит, тысячи глаз, на длинных нитках, висят. Вот и рядом — глаз. Не любит пота нашего, не знает, не понимает души нашей, чужая...» — уже про Настю, сидящую рядом, думает Семен.

Точно ощутив течение Семеновых мыслей, зашевелилась Настя.

— Сеня!.. — почему-то с виноватостью спрашивает она. — Там, на взгорье, не Гусаки ли?..

— Ну... а что тебе?

— Да нет, я только так спросила,— шепчет она и отворачивается.

Теперь ехали уже Голиковой пустошью,— высокое место и ветреное, на правом мочиловском берегу. Дорога поднималась. В белесости левого края неба еле-еле выявились очертанья изб и приземистого храма. Все это искусно пряталось в круглых купах деревьев, в темной пене непогодного неба. То и были Гусаки, крохотная крепость новой власти среди необозримых воровских равнин.

— Гусаки,— вздохнул протяжно Васька Рублев и пошевелился.

Ехали еще три минуты, умножались кусты. Вдруг круглый куст направо от дороги сказал: «Стой!» Из-за куста вышел человек и подошел к остановившейся подводе.

— Юда? — тихо спросил Семен, прищуриваясь в темень. — Ну, как?

— Он самый и есть! — деланно отвечал тот. — Оружье у них сложено в подвале у старой попадьи. Они нарочно туда запрятали, чтобы и не подумать... Против исполкома живет.

— А Мишка? — спросил Семен. — Ты видался с ним?

— Он у Щербы ночует...

— Чего ж смеешься-то?

— Да смешно! Он утром на исполкоме листок наклеил, что придем.

— Зачем? — нахмурился Семен.

— Так, для страху... — Юда удивился, что Семену непонятен такой вид удальства.

Люди слезли с подвод и собирались вокруг Семена. Тот давал последние указания:

— Ты, Митрий, сядешь с пулеметом к концу улицы...

— Дай я сяду... — просительно сказал Гурей, брат Жибанды.

— Ладно... ты садись,— мельком согласился Семен, но вдруг с неопределенной опаской взглянул на Настю. Глаз ее не было видно. Он взял ее за руку и крепко сдавил, силясь выдавить крик. Рука хрустнула, но Настя промолчала. Оба были почти ненавистны друг другу в ту минуту. Семен отбросил ее руку. — Сигнал, когда уходить, дам зажигалкой. Главное, помните, чтоб напугом взять! Стрелять только вверх... Ну, еще что? — он полез за зажигалкой и жестом выразил досаду. — Черт, все карманы дырявые. Ладно, по свистку тогда. Расходись!

Люди с лихорадочной поспешностью побежали в сторону села. Очевидно, имелся у них обдуманный план ночного нападения. Только один кто-то, неосторожный, щелкнул затвором винтовки.

Скоро около лошадей, привязанных к пониклой ивке, не осталось никого. Лошади грызли подброшенное сено, быстро увлажняемое тонкой изморосью. Вдруг они вздыбили уши

и перестали жевать. В мокрое посвистывание ветра влился, подобный острому буравчику, настойчивый и тихий свист. Он повторился еще раз, более коротко и глухо.

IX. ВТОРОЕ СОБЫТИЕ ОСЕННЕЙ НОЧИ

В непогоду крепче спится. Только двое в Гусаках и слышали свист посреди ночи: пегий щенок тимофеевского дома и сам старый Василий Щерба. Первый был непонятлив, молод и глуп, знал одно: на чужой звук — лаять, на хозяйский — подлизаться, подвильнуть хвостом. Огорчившись своим незнаньем, пегий подвыл.

Щерба же быстро, не по-старчески, свесил ноги с печки и протянул руку в угол, где под кульком стояла винтовка. Рука нашарила пустое место. Не теряя духа, Щерба пошарил по печке. Ничего там не было, кроме пары его старых мокрых сапог. Это он сделал вовремя. Нищий, ночевавший на лавке, пошевелился, и вот мрак тесной избы раздался по сторонам. Чиркнула спичка, и свет ее замерцал желтым слепящим кружком. Старик еще не знал, что нищий и есть Жибанда. За кружком света вместо нищего сидел на лавке коренастый молодой мужик, и кривой его глаз искал чего-то по стенам не хуже любого зрячего. Винтовка Васильева сына, гусаковского председателя, ночевавшего в ту ночь в исполкоме, лежала возле нищего на лавке.

Все, что происходило потом, происходило решительно и смело. Василий пригнулся и метнул сапог в мерцающий желтый круг. Тот мгновенно померк. Сапог, видимо, попал в цель: нищий охнул и вслед за тем чихнул. Одновременно на улице прозвучал первый выстрел, не гулкий, словно доской хлопнули по воде. Щерба, замахнувшийся вторым сапогом, ждал шорохов впотьмах, и вдруг кто-то тихим шарящим движеньем коснулся босой Васильевой ноги. Щерба вскрикнул и ударил сапогом по темноте. И опять удар не пропал, еще раз охнул Жибанда, но Щерба был стар, а Жибанда только притворялся немощным.

— Ну-ка, старый... давай сюда сапоги! Всю харю обил. Еще убьешь невзначай! — говорил Жибанда, стаскивая с койки, подминая под себя Василья и тут же скручивая ему руки назад.

— Не больно крути,— кряхтел Щерба. — Все кости выломаешь, дьявол!..

— А ты не ворчи, папаша, не буянь, не кричи. Твое дело старое, молчаливое. А то и кляп вставлю,— уговаривал Мишка, оставляя связанного на полу и забирая с лавки винтовку.

— Приехали-те зачем? — Щерба напрасно двигал плечами: неодолимы были крепкие Жибандины узлы. — Барсуки, что ли?

— Барсуки, папаша, барсуки... и волки. Исполком поверять приехали,— утвердительно отвечал Жибанда, щупая подбитый нос. — Кстати уж и пушки ваши заберем... Ишь нос-то распух как! Черт тебя угораздил... — Сказав так, Жибанда зажег спичку, рванул на себя дверь и вышел на крыльцо.

Теперь ночь наполнилась криками и руготней. Кто-то проскакал вдоль улицы, таща за собою на коротких обротях четырех, а может быть, и больше, лошадей. Лошади теснились и фыркали, задирая шеи. В немногих окнах горел свет. Окна исполкома были темны. Все смешалось. Вдалеке слышалась редкая и одиночная стрельба. Нельзя было понять, кто нападал. Хлестала изморось по черноте. Мимо пробежала ватага людей, кажется, пятеро. Чвакала под ними грязная растоптанная трава. Они бежали молча, но один из них упирался,— его тащили под руки, и задний тузил упиравшегося в спину.

— Кто? — окликнули они Жибанду, задерживаясь на минуту.

— Тащите кого? — вместо ответа спросил Жибанда, узнав по голосам своих.

— Плённого взяли в заложники,— взбудораженно объяснил голос Андрея Подпрятова. — Председатель ихний. Прямо с койки взяли, тепленький!

— Туда, к подводам... — приказал Жибанда, рывком опуская руку.

— Слушаю-с! — И Барыков подпихнул коленом пленного.

Все четверо молча побежали вниз, и нельзя было подумать, что средний не по своей воле так резво бежит.

Вдруг кто-то налетел на Мишку из темноты.

— ...Щерба тута? — полоумно спросил этот.

— А зачем тебе Щерба?.. — Не уверенный в том, что узнал Брыкина, Жибанда шагнул вперед, но тот уже исчез.

Тотчас же забыв про это, все еще потирая подбитый нос, Мишка двинулся вверх по селу. У дома попадьи грузили подводу, вкруг нее копошились барсуки.

— Семен?.. — спросил Жибанда.

— Там Семен,— отвечали из темноты,— в подвале... А мы грузим вот...

В выломанные окна поповского дома подавали винтовки, а трое укладывали их в подводу, поверх патронных ящиков. Жибанда пришел к самому концу погрузки. Скоро он различил Семена, всего в поту, вытиравшего пот рукавом рубахи. Сермяга его валялась теперь поверх подводы.

— Взмок... — сказал Семен. — Вот спешка была! Тридцать две винтовки зато. Теперь ехать...

— Сейчас встретил, председателя протащили... пленный! — засмеялся Жибанда, но вдруг насторожился.

С верхнего, правого края села донесся топот многих бегущих.

— Мужики бегут! Это с выселок прослышали! — вслух догадался Семен и вскочил в подводу, где уже сидели остальные.

— Дело гниль,— сообразил Жибанда, уже на ходу взбираясь в подводу. — Проскочить-то успеем мимо них?

Ему не ответили. Лошадь рвала, и телега бултыхалась на неровностях сельской поляны. Семен свистел, давая знак отступления. Они уже миновали значительную часть села, но бег мужиков становился громче. Тут стала видна боковая улица, широкий ее рукав.

Мужики приближались молча, пыхтя и сопя, полуодетые. Передний бежал с банкой горящей смолы, подвязанной на палку; огненная гривка шумела на ветру. Видимо, они вооружились тем, что первым попалось под руку в минуту тревоги. Бежавший сбоку держал высоко над головой поблескивающую косу. А какой-то шустрый старичонок, с большой бородой и беспоясый, несся почти впереди всех, прискакивая на буграх, и махал кнутом, свистом разрезая темноту.

Именно к нему приковался взгляд Семена,— старикову кнуту, которым надеялся отбиться от цепких барсуковских лап. Жалость к старику, несущему смерть на ребячьем кнутике, охватила Семена... И именно в эту минуту по мужикам прострекотал пулемет. Это было недолго: как если бы палку вставить в спицы развертевшегося колеса. Семен, уже соскакивая с подводы, видел, как, взмахнув в последний раз кнутом, рухнул прямо в грязь старичонок, как кувыркнулся со всего разбегу и тот, который нес на палке слепительный вихор огня. Горящая смола огненными струпьями растекалась по дороге; грязь сопротивлялась им с шипеньем, огонь стал

страшней. Точно боясь перескочить через огневую лужу, мужики остановились. И тогда вторично застучал пулемет, уже не останавливаясь, как в первый раз, уже смертоносней.

— ...Настька, сволочь! — надрывно и хрипло кричал Семен и бежал к пулемету, размахивая половинкинским наганом, который держал за ствол. — Не стреляй, зарежу...

Не было иного ответа, кроме как отстукиванье пулемета. Подвода с оружием унеслась вниз, а Семен все бежал, задыхаясь криком и сквернословием, спотыкаясь в грязи, ошалелый от убийства. Распаленные глаза его одного искали: ненавистного Настина лица, по которому ударить.

Вдруг пулемет замолчал. Несколько мгновений, съежившаяся и настороженная, стояла тишина над поверженными во прах Гусаками. И уже приближался Семен к Насте, чтобы совершить свое правосудие, когда настиг его негаданный удар. Щерба, освобожденный невесткой, с колом в руках, тоже бежал к Насте. Когда он услышал бегущего в темени барсука, он поднял кол и ждал. Щерба метил в голову, но мокрый кол свернулся в руке, и удар пришелся в плечо. Оно хрустнуло, а рука с наганом обвисла. Семену показалось, что плоскость, по которой он бежал, встала дыбом, отвесной стеной. Удержаться он не мог, попробовал схватиться за воздух обессилевшей рукой, но ущемила жестокая боль, и он упал.

Последнее, что видел Семен уже из черноты обморока, была красная лужа смоляного огня.

X. ТРЕТЬЕ СОБЫТИЕ ТОЙ ЖЕ НОЧИ

...Вторым соскочил с подводы Жибанда. Он вспомнил про Настю и ринулся назад, где она оставалась. Места он в точности не знал и бежал вслепую. Ветер приносил издалека возбужденный говор, но искажал и смысл и силу приносимых слов.

Мишка почти споткнулся о Настю. Она сидела на корточках у пулемета, свесив и голову и руки. Казалось, она замерла, но в руках ее, как разглядел Мишка, была новая пулеметная лента. Мишка тронул ее за плечо.

— Вставай, бежим скорее...

Она как будто не слышала. Ее зубы мелко стучали, а губы шептали что-то маловнятное.

— Да вставай же,— настойчиво приказал Жибанда, взваливая пулемет на плечо.

В следующую минуту он бросился вниз из села, таща полуживую Настю за руку. Она не сопротивлялась, утеряв всякое соображение и волю, но бежала так легко, словно утеряла вместе с волей и вес. Они миновали сажен тридцать, когда Настя упала руками и лицом в грязь перед собою.

— Сеня... — в задышке зашептала она. — Не могу больше! — Голос ее был низок до неузнаваемости; казалось, что кто-то другой говорит из Насти, не женщина. — Беги один, я отдохну...

Тут только вспомнил Мишка про Семена. Он не встретил его, когда бежал вверх, и, может быть, Семена постигла неудача? С сомкнутыми зубами, как бы в припадке неумолимой, скрежещущей боли, оставив Настю в грязи, Мишка шагом вернулся в село. И опять цеплялась к ногам черная грязь, опять человеческим голосом стонала непогода. На чем-то круглом Мишка поскользнулся и упал: то был кол, которым ударил Щерба. Поднявшись, Мишка шел дальше. Из-под сапог брызгалось. «Здесь!» — сказал он сам себе, весь потный. Он медленно прошел по растоптанной лужайке взад и вперед. Ничего не было, только радужные круги переутомленья обильно заплавали в глазах. Он нагнулся и прощупал что-то, на что наступил ногой. То была старая лента из пулемета. Время уходило впустую. Он стиснул зубы и остановился в нерешительности.

И снова ухо уловило недружный, множественный топот. Теперь можно было различить, что мчались и на лошадях. Мишка пустился вниз. По дороге он схватил Настю за руку и бешено повлек ее за собой. Часто останавливаясь, потому что шла без огня, погоня дала возможность этим двум выбежать из села и добраться до кустов, где, Мишка знал, должны были стоять Герасимовы кони. Подвод на месте не было. Настя как бы сломалась, указать место встречи она не могла. «Вероятно, там, за поворотом...» — сообразил Мишка и ринулся по прямой сквозь мокрые кусты, с утроенной силой стиснув Настину руку. Кустам, казалось, не было конца.

— Га-ра-си-им! — закричал Мишка и свистнул, вложив пальцы в рот.

Кто-то выстрелил наугад на Мишкин голос, но промахнулся. Непогода откликнулась воем и грохотом. Шум погони приблизился. Отчетливо различимы стали фырканье лошадей и заливчатый лай дворняжки. «Вон там...» — соображал Мишка, протискиваясь в кустах, обсыпавших их обоих целыми

пригоршнями воды. Он раздвинул последнюю купу кустов и выскочил на круглую поляну, сажень в длину. Назад бежать было уже нельзя; впереди, в двух шагах, чернел речной обрыв. Ветер подвывал в нем, как щенок.

— Уехали, черти,— полным голосом сказал Мишка, подтаскивая Настю на край обрыва.

— Собаки... — через силу прошептала Настя.

Совсем рядом — а одна даже высунув морду из кустов — заливались лаем собаки. Выхода не стало.

— Прыгай, Настя... прыгай, ничего! — нежно и властно шепнул Мишка, прижимая Настю к себе. — Там вода, ничего. Это не страшно...

— Боюсь... — прошелестели, может быть, Настины волосы, развеваемые ветром.

— Прыгай! — крикнул Мишка, взмахнув рукой, и голос его прозвучал, как дикое ругательство.

Уже шуршали раздвигаемые и ломаемые лошадьми кусты... Настя, судорожно вздохнув, метнулась вперед. Протяжно и больно свистнул воздух в ее ушах. Дыхание замкнулось, а тело оцепенело, на мгновение повиснув в воздухе. Следом за ней прыгнул и Мишка...

Мочиловка, даже разбухшая и шумливая в осенние дожди, как нынче, все же мелка для таких прыжков. Зато изобиловали подобрывные места ямами, крутоярами и баклушами — в них водилась щука и крутилась вода.

Настя упала ногами как раз в такую баклушу. Черная вода сомкнулась, все стихло. Второго выстрела сверху Настя не слышала. Ее, выброшенную водой наверх, подхватил Мишка.

На берегу, лишенная сознания и страха опасности, она с немым удивлением глядела на черный гусаковский обрыв. А Мишка уже отфыркивался и был весел, отряхиваясь от воды: в темноте белели его зубы.

— Побежим теперь, чтобы согреться... ну!

— Ты тише,— отвечала Настя, приходя в себя. — Стрелять будут...

— А ну их, не достанут,— встряхнулся Мишка. — Беги!

— Куда?

— Да куда б ни было, пока ноги танцуют!

Бежать в намокшей одежде было нелегко. Трудно повиновались застывшие от холода ноги. Вместе с тем Зинкин луг,

по которому бежали, был ровен, как нитка,— ни кочки на нем, ни выбоины.

— Не могу больше... — жалко сказала Настя.

— Еще немножко надо... — твердо сказал Мишка. Он решительно и быстро просунул руку к ней за ворот, к спине; Настино тело было влажно и холодно. — До поту беги... Я вон, ровно в бане, запарился весь!

— Не могу больше... не бежится уж,— задыхаясь, сказала Настя и бессильно осела на траву. — Ты ступай, а я тут останусь...

Версты полторы, по его предположениям, отделяло их теперь от обрыва и погони. Все еще шел луг,— казалось, что и конца ему нет.

— Постой... Сено!

То был зарод старого сена — огромная копна, обветшалая снаружи, а внутри обещавшая пыльные, сухие, душистые слои, куда не проникает непогода. Жибанда с колен принялся разгребать сено руками. Настя догадалась о Мишкиной затее и помогала. Огрубелые травинки кололи и жгли ей руки. Очень медленно выходило в зароде подобие норы. Она влезла туда первой, а Жибанда уже изнутри заложил проход в нору сеном. Было здесь очень сухо, даже тепло, но мелкая сенная пыль разъедала глаза.

— Грейся, грейся... — шептал Жибанда, взволнованный ее близостью. — Ты грейся, грейся теперь... — бормотал он, не смея шевельнуться и лежа, как пласт.

— Я... на пощупай, вся мокрая! — дрожа, жаловалась Настя. — Что делать-то?

Она чуть не плакала.

— Ты об меня грейся, ничего... — повторил Жибанда. — Вали об меня, у меня кровь горячая! До войны в проруби купывался... Вот каб спички не замокли, можно и костерок бы там, на воле...

— Не надо спичек,— чужим голосом сказала Настя.

Он лежал по-прежнему неподвижно, уставясь глазами в черный пахучий свод. Пыль еще держалась, зудила глаза и нос. Снаружи забушевал ветер. В сенной норе было тихо и спокойно. Вдруг Мишка сильно втянул воздух и чихнул.

— Ты разденься! — настойчиво и с раздражением сказала Настя. — Я застыла вся, пальцы на ногах совсем ничего не чувствуют...

— Дак ведь... я ведь не женщина! — грубо конфузился Мишка. — Неудобно мне.

— Все равно... темно, мне не стыдно.

— Дак ведь... как же так?

— Я умру, Мишка... — и всхлипнула.

— Ничего, не умрешь, жива будешь! — сам не зная чему, захохотал тот, зараженный Настиной лихорадкой.

...И уже передавало его горячее тело свой нестерпимый зной Насте, и уже бурно загорелись Настины щеки и вся вслед за тем. Два сердца начинали биться все согласней.

— Вот вы в городу... все такие,— сказал Мишка, горя необычностью минуты.

— А какие?

— Крови в вас нет, холодные. Вот и Дунька тоже была...

— А-а... — протянула Настя и отодвинулась.

— Чего же ты?.. Грейся!

— Немку-то свою... все помнишь?

— Жалею Дуньку,— просто и твердо сказал Мишка.

— А меня?

— Тебя жалеть нечего... Ты сама по себе. — И вдруг прорвался: — Хорошечка моя! Ты мне, ну, вот... ровно бы холостая папороть. И цвету в тебе нет, а душу с первого взгляда повлекло.

— Я злая стала! — вдруг с большой искренностью сказала Настя. — Я всех злей, вот какая... — и опять заплакала. — Но, смотри, я себя жалеть не дам, я так скручу, что...

— А ты не пугай меня,— говорил Мишка, гладя Настино лицо и прислушиваясь. — Дождь-то, слышишь? — Он нащупал на щеке ее, в ровной горячей коже, крохотную выбоинку. — Что это?.. — мельком спросил он.

— Это от кори осталось... давно. Ты знаешь, я сегодня... не сегодня, а вчера уж... на рассвете журавлей видела. Улетают... — Слезы ее стали спокойнее, то были слезы переутомленья.

Так они и проспали до рассвета в обнимку, как муж и жена. Непогода пела им песни унывные, не венчальные. Сон их был крепок и сытен.

XI. ГУСАКИ ПОВЕРЖЕНЫ ВО ПРАХ

Так зарождаются слухи про всякие небывалые были. Клялась молодка Мавра и пречистую в поруки призывала, что собственными глазами видела нечистого и нечистую его жену.

Когда подъехали к зароду, что оставался у них от прошлого года на Зинкином лугу, увидали: разметано сено, будто носом рылся кто. Мавра и скажи свекровке: матушка, мол, а у нас воры были!

Свекровка спорлива была:

— Не воры, девушка, а ветром накидало... Ночь-те шумлива!

— Ой, бабы, воры! — не верила невестка.

— Ветер, я тебе сказываю! — ладила свекровь.

Но едва она успела произнести последнее слово, распахнулся весь зарод на четыре половинки, а из середки и выскочил сам нечистый, покрупнее лесного, зеленого, зато без волос, вроде мужика. Тут же за ним и баба его...

— ...И не успела я, бабоньки,— сказывала Мавра в кругу баб, обливаясь мурашками воспоминаний,— не успела ахнуть, ка-ак он меня, бабоньки, щипане-ет! Так я и села, на чем стояла...

В подтверждение слов своих казала Мавра родимое пятно пониже правой груди, величиной в двугривенный.

— Скажи-и... — дивилась одна, брюхатая, заправляя волосы под повойник. — Меня б щипанул, тут бы мне и разрешенье.

Тут еще пуще захлебывалась Мавра, вырастая на голову во мненье баб:

— ...ка-ак щипане-ет! Я-то присела, а свекровушка мертвенькой прикинулась, чтоб не затронул. А руки назади крестом выставила... Так и угнали подводу! — В этом месте Мавра начинала плакать.

Гусаковские мужики хмуро чесали бороды и дивились длине бабьего языка: больше их заботило Маврино пятно, чем четверо убитых ночью, не считая пропавшего председателя и семерых раненых. Один только Василий Щерба, крепко скрывая в сердце боль по сыне, в сотый раз спрашивал всех:

— Уползти он не мог. Как я его колом двинул, индо земля захрустела под ним. Вопрос: куда же ему сокрыться, сучьему сыну?..

— Свои и унесли. Ведь темень, дядя Вася. Ты как ударил, вперед побежал, они его тут и захватили... — успокаивал Щербу бровастый племянник. — По темени ты и не видал!..

— Темень, темень... — сердился старик. — Что ж глаза-те свои в бороде твоей посеял я, что ли?.. И убежал-то я нена-

долечко, а его уж и нету. Уползти он не мог. Вопрос: где ж он?..

Но никому из гусаков не всходило на ум посмеяться над глупой Маврой, заспорить неудачливого Щербу. Слишком велики были ночные потери и в людях, и в лошадях, и в ином добре... На похороны приехал товарищ Брозин с двумя гусаковцами, занимавшими в уезде большие места. Все трое, сидя за церковной оградой, чинно прокурили то время, пока в сослужении тестя отпевал убитых поповский зять. Когда зарыли, Брозин сказал речь. Говорил он долго и складно, возбуждаясь воем и причитаньями вдов. Но гусаки, как ни велика была их преданность новой власти и ненависть к барсукам, не одобрили брозинской речи.

— Кака там международная гидра! — презрительно усмехнулся тот же Щерба. — Тут наше дело, кровное, земля! За Зинкин луг злобятся. Гидра-а! Она небось и до ветру в щиблетках, а мы и на свадьбу в лапотках.

Впрочем, уехал Брозин с сознанием выполненного долга, увозя в кармане гусаковскую резолюцию о смытии барсуковского пятна с общемужицкого дела.

Потом потекли очередные дни... Доходили новости задним числом: фельдшер чекмасовский пропал. Вскорости за тем кто-то выкрал сапожника из Бедряги. Пропадали самых расхожих ремесл люди, как камешки, скинутые в воду небрежной рукой; только булькали слухи по ним... Вдруг пятеро печников исчезли с инструментом среди белого дня! Догадывались гусаки: враг обзаводится хозяйством... но крепились, выжидая своего времени. Иной, без хмеля во хмелю, подойдя к обрыву, долго и угрюмо глядел в сизую даль, за Зинкин луг, где скитальничали мутные предзимние облака. Длинные ночи пропитались страхом и тоской. Бородатые воспретили девкам петь. Спать ложились рано. Света не зажигали.

...А Мишка с Настей весь тот день проплутали на украденной подводе. Под конец дня очутились в Попузине. Мишку, как и брата его, щедро накормили попузинцы и оставили ночевать, но не прежде, чем сказались те за барсуков.

Попузино кругом в лесах. Попузинцы печи топят жарко, Настя обрадовалась кислой, домовитой духоте избы. Тотчас же после ужина заснули они на полатях, и Насте снилось, что венчается с Семеном. Будто Семен самой жизнью дан ей в мужья, нельзя отказаться. Он прям и строг, не глядит в глаза невесте. Она еле побарывает свой страх перед ним.

Когда целует, холодны его губы, как черная вода прошлой ночи. Вдруг кто-то говорит со стороны: «Так ведь он убит». Настины глаза красны от сна, она выглядывает с полатей. К хозяевам зашла соседка, рассказывает о ком-то, но не о Семене. Настя все еще не понимает и дрожит.

— Миша... Мишка! Проснись,— в тоске будит она Жибанду, сопящего на высоких нотах.

Тот долго бормочет сонливую неразбериху, прежде чем открыть глаза.

— А?.. что?.. приехали? — и трет слипающиеся глаза.

Но Настя уже не хочет говорить.

— Ты спишь?.. — неловко спрашивает она.

— Да-а, сплю,— потягивается Мишка. — А чего тебе?

— Нет, ничего. Спи...

И так всю ночь.

Светало поздно. На рассвете отъезжала их подвода от двора гостеприимного попузинца. Утро пало солнечное. Тучи раздвинулись, обнажая трепетную зеленцу осеннего неба, и стояли в полном безветрии; это только по утрам баловалась осень солнышком. Из лесов попахивало прелостью, а черные птицы над полями кричали о зиме... Зато воздух — густой, горький, не без солонцы — был терпок и приятен, как острый огуречный рассол.

На стоянку барсуков приехали близ обеда, и тотчас обступили их расспросами, словно не видались полгода. Ночной поход, кончившийся как будто удачей, воодушевил барсуков.

— Надо к Семену пойти,— сказал Мишка Насте. — Сказали, в большой землянке лежит.

— Не пойду... — решительно и глухо заявила Настя. — Я тебя тут подожду.

— Пойдем! Ты со мной пойдешь. Не бойся, я тебя заслоню.

— Один ступай...

Мишка вместе с другими спустился в землянку.

XII. РАЗГОВОР С СЕМЕНОМ

Жир пылал в плошке, и пламя его стояло прямо, как часовой. В душном воздухе плавала обильная копоть... Когда вошли, пламя заколебалось в нерешительности, но дверь закрыли — и снова замерло, бросая по сторонам огромные тени людей.

В правом углу, на поленьях, находилось соломенное ложе Семена. Из-под шинели торчали неподвижные ноги в сапогах, носками врозь, как у мертвого. Возле, положив лицо на руки, дремал чекмасовский фельдшер Шебякин. Самым громким в землянке был фитиль в светильнике. Время от времени, как бы наскучив стоять, он яростно кидался трескучими брызгами огня.

— Здорово, Сеня... — бодрым голосом окликнул Мишка.

— Спит,— остерегающе откликнулся Шебякин, поднимая лицо. Фельдшер был рябой, игра света делала его круглое лицо похожим на луну. — Спит,— повторил фельдшер,— а всю ночь плохо было. Под утро о женщине спрашивал...

— Он, может, про меня спрашивал? — настоятельно сказал Жибанда. — Какая же у него?.. Ведь нету!

— А тебя как? Вас ведь, ровно собак, по кличкам... — Шебякин посмеялся, но мигом перестал, едва взглянул в каменное лицо Жибанды. Тот назвал себя. — Да-да, и тебя поминал, и Мишку... — заторопился Шебякин.

— Так бы сразу и говорил, а то баба... — резко произнес Жибанда и присел на атласный диванчик, уже грязный и провалившийся посредине.

Остальные стояли, хотя и были места сесть: широкие, струганые лавки шли по стене зимницы.

— Долго вы тут меня продержите? — опять опуская лицо на руки, спросил Шебякин. Мишке не нравилось плутоватое выщипанное лицо Шебякина, и он не ответил. — А все-таки, неделю или две?.. — снова зашевелился фельдшер и стал подтыкать выбившуюся из-под Семена солому.

— Про что это он? — спросил кто-то из стоявших полукругом.

— Домой желает... блудовать! — насмешливо отвечал другой.

— Год продержим,— сказал третий.

— Да вы сами здесь и полгода не продержитесь! — огрызнулся, быстро обернувшись, Шебякин.

— А ты потише, а то зашибу! — с досадой сказал Петька Ад. Сгибаясь в спине, потому что неоднократно уже задевал головой о низкий бревенчатый потолок зимницы, Петька подошел на цыпочках к столу и поубавил огня в плошке. — Копотно,— пояснил он, двигая белесыми бровями.

Вдоволь помучив Шебякина молчанием, Жибанда заговорил:

— Ты вот что. Нам этот парень нужен. — Он кивнул на Семена. — Ты его нам непременно выправь. Не то чтоб вылечить, он и без тебя встанет... А нам скорее нужно. Скоро подымешь, мы тебе патент выдадим — придворного медика.

— ...проворного? — прикинулся дурачком Шебякин.

— Ты погоди смеяться. А скоренько не вылечишь, сам знаешь, — у нас законы лесные, неписаные. Чик — и нет фершала!

— Отмочил, нечего сказать! — дребезжаще залился Шебякин. — Да я тебе в отцы...

— И молчи, когда уедешь. Держи собаку на цепи, а язык на семи! — вразумлял неспешно Жибанда. — Спросят, что видел? Отвечай, что глаза-де мои старые. Может, и видели что, да не видели.

Совершенно неожиданно в углу раздался громкий чих. Чихнул Петька Ад и сам испуганно зашикал, пучась по сторонам.

— Это от копоти... — пугливо оправдался он.

Как раз в это время здоровая рука Семена шевельнулась. Шебякин приоткрыл Семеново лицо и возвестил, с видом оскорбленного достоинства взирая на Жибанду:

— Проснулся. Разговаривать с опаской...

Семен сразу же, как открыл глаза, стал глядеть в какую-то несуществующую точку с такой пристальностью, что Петька Ад, и без того очень взволнованный близостью раненого товарища, суеверно оглянулся. Барсуки сдвинулись ближе. Семеново осунувшееся лицо не выражало ничего. Губы были плотно сжаты, как бы ссохлись одна с другой.

— Больно небось?.. — осторожно начал Мишка.

— Не-ет, прошло... — без выражения, нараспев ответил Семен и глядел ему в лоб, словно припоминал что-то. Мишке сразу стало неловко, и краска нахлынула на его обветренное лицо, но не отвел глаз. «Догадываешься, что ли? — думал он. — Так прямо говори. Ну, говори!» Через полминуты ему стало особенно беспокойно.

— А мы искупались тогда, ночью-то! — сказал Мишка и осекся.

Семен перевел взгляд со лба на Мишкины зашевелившиеся губы.

— Сколько ходило нас? — спросил вдруг Семен, оставляя в стороне Мишкино сообщение.

— Двадцать восемь,— доложил, вылупливая глаза, Петька Ад; он вытянулся так, как не тянулся ни перед одним капитаном в старую войну. Происходило это от усердия, а усердие — от жалости: сердце в Петьке билось доброе.

— ...вернулось? — с неподвижным же лицом допрашивал Семен.

— Двадцать семь воротилось,— еще жалобней доложил Петька.

— А... — сказал Семен и закрыл глаза. Можно бы было принять его за спящего, если бы не двигались пальцы левой, здоровой руки. Пальцы поочередно прижимались к ладони, ведя какой-то свой счет. — Привезли ее? — спросил Семен.

— Так ведь это Васька Рублев убит... — заспешил объяснить Жибанда, делая Семену намекающие глаза.

— Я про него и спрашиваю... привезли? — не сразу догадался Семен, и едва приметное подобие румянца окрасило его выдавшиеся скулы.

— Ваську? Не-ет... — залопотал Петька Ад. Может быть, потому, что был ростом выше всех, почел он именно себя обязанным давать ответы. — Не до Васьки было, товарищи! Все места заняты и для живых-то!.. Гарасим под хлеб подводы занял... Да и куда ж мертвого везти!.. — Петька запинался и потел.

— Это я уж по своему уму решил,— тихо и холодно вступил Гарасим, ударяя себя по бедру высоким картузом. — Хлеба пятьдесят пудов взял, да три коня, два с подводами. Овсеца я еще прихватил, на лошадок. Лошадка, она любит овсеца...

Лицо Семена меркло по мере того, как высчитывал Гарасим военную добычу. И уже видели барсуки: быть неминуемо грозе. Люди зашептались, заколебалось пламя, быстрей задвигались тени по стене.

— Ты уйди покеда... подыши чистым воздухом! — шепнул Жибанда Шебякину, который притворялся, что дремал.

— Чужое ухо песком засыпать!.. — неожиданно сказал татарчонок из двадцать третьей землянки; только этим и выявил он свое присутствие в зимнице.

— ...конешно, можно и сосновую кору жрать... и другую разную подлятину! — продолжал Гарасим повышенным голосом, когда Шебякин вышел. — На то и барсуки мы... А только, как я поставлен у вас за каптера, так должен я вас, сто семьдесят ртов, кормить. Да ты меня глазами-то не стращай! Царь

каторгой, поп адом... куда же мне, серому, и деваться тогда? Даве, каб не лошади, как бы мы тебе фершала доставили?

Гарасим, очевидно, ждал возражений, но Семен молчал. Так они и глядели друг на друга при молчании остальных. Жибанда, подобрав щепочку с пола, расщеплял ее на мелочь и откидывал в сторону.

— Не серчал бы ты, Семен... — снова заговорил Гарасим, опуская глаза, и обмахнул рукой увлажнившийся лоб. — Воры мы, воры и есть... Не могу против лошадок устоять, страсть моя! — Но уже через минуту после невольного раскаянья мужик спрятался, остался цыган. Снова в глазных впадинах чуждо и непонятно замерцали темные глаза. — Что взядено, то взядено! — крикнул он.

Семен опять закрыл глаза, лоб его наморщился.

— Может, тебе водицы дать? — предложил Жибанда.

— Нет, прошло,— и открыл глаза. — А пленные? — через силу спросил он.

— Так ведь какие же пленные?.. — потерянно заулыбался Петька Ад, водя пальцем по растопыренной ладони. — Один-то сбежал, а другой... Уж больно сквернословил он. Не то чтоб матершинил, а все разные такие предсказания... Юда и рассердился.

— Ну? — и опять закрыл глаза. — Варева-то хоть дали ему?

— А мы его пожгли!.. — просто объявил Дмитрий Барыков; видно, Барыкову надоело молчать, потому и сказал.

Неистово брызгался огненной слюной светильник, а фитиль набух толстым нагаром. Семен лежал неподвижно и совсем безжизненно.

— Уходите, ребята, от греха... Беды наживешь с вами! — замахал руками Жибанда, скося глаза на Семенову руку, продолжавшую свой непонятный счет.

Те и сами заторопились из зимницы, понурые и уже не радуясь военной удаче. Тяжелая дверца, повешенная чуть наискось, шумно захлопнулась за последним.

— Сеня... — внятно позвал Мишка, плачевно поднимая брови. — Ты смирись, облегчи сердце! Известно, всяко яблочко с кислиной, а в запале не чует себя человек. Ведь этот, председатель-то ихний... ему все равно теперь, не воротишь. А народишка хватит в Расее!

— Молчи,— сквозь зубы сказал Семен,— куда тебе до Расеи, холуй! Еще на простор из волости не вышли, а уж разбоем занялись. Встану, за все с тебя спрошу. — И, прежде чем Мишка удержать его успел, Семен круто приподнялся и с маху уронил себя на сломанное плечо; лишь глухой Семенов хрип свидетельствовал о боли.

Жибанда не выбежал, а в прыжок выскочил из зимницы. При выходе наткнулся на Шебякина и такое пообещал ему глазами, что тот сразу ощутил непрочность своей жизни и метнулся в землянку. Жибанда бежал по лесу, мимо землянок, цепляясь ногами за выпученные корневища, за дрова, валявшиеся всюду. Сам не зная, зачем,— он искал Настю; он нашел ее.

Она, разрумяненная и взволнованная, стояла в кругу барсуков, весело скаливших зубы. Против нее, как в поединке, стоял Юда и хитровато гладил себе шею, не сводя с Насти смеющихся глаз. Мишка подбежал в ту минуту, когда Настя длинно и скверно выругалась в ответ на какой-то столь же замысловатый выпад Юды.

— Это что! Это все мелко, а ты покруче загни! — задорил Юда.

— Как это загнуть?.. — как затравленная, озиралась Настя.

— Ругнись то есть... Покрупней ругнись! — И Юда подмигивал своими длинными ресницами.

Тогда Настя выругалась еще страстней, грубым мужским ругательством. Опять громко захохотали обступившие их барсуки,— радостные всякому смеху, откуда бы он ни происходил.

— А знаешь что, Гурей? — улыбался Юда, когда утих взрыв смеха и только Тешкин низкий медленный хохот гудел. — Хочешь, я такое тебе загну, что и завянешь?

— А ну... загни! Сморчковат загибать-то... — храбрилась Настя, но красные пятна на щеках предавали ее.

— А вот и загну... Только на ухо тебе, ладно? — подступал Юда.

— Ну, ну, вали... — И Настя подставляла маленькое ушко, горевшее пожаром стыда.

Юда потер руки, подмигнул барсукам и нарочито грузно налег на Настино плечо.

— А ведь ты баба, я знаю! — шепнул он ей с жарким восхищением похоти.

XIII. ЕГОР ИВАНЫЧ ТЕРЯЕТ НИТЬ ЖИЗНИ

В первое же воскресенье после Покрова отпросился Брыкин домой съездить. Однако кривую и опасную дорогу выбрал себе Брыкин. Видно, по пути ему было заехать и в Бедрягу, к дядьке. А из Бедряги заезжал на станцию, хоть и не было к тому особых причин. Со станции только пустился в Воры, домой.

Впрочем, как было не быть причинам: нужно было проехаться, пообдуть себя ветерком. Выпала на брыкинскую долю полная чаша огорчений, и большая часть их шла от жены. После давнего случая, когда в суматохе души проглотил головастика, побил он жену. Тогда сидела в нем уверенность, что наложением рук на повинную голову как бы прощает он Анну и отпускает ей многие ее грехи. Анна приняла побои молча, лежала так, словно не хотела видеть возле себя суетившегося чуть не до обморока мужа. После того ушел Егор Иваныч в лесные берлоги, там жил, там и копошился.

Вдруг узнал: Анна вернулась к матери, в девичий дом. Егор Иваныч попыхтел, попрямился,— все больше сутулилась его спина, словно не в силах была носить тяжелую от дум брыкинскую голову. Жену попытался забыть, а не забызалась. Любовь свою, если б была возможна для нищей его души, давно растоптал бы и надсмеялся. Анна не любовью была; она служила наглядным свидетельством брыкинских успехов и достижений, плодов кропотливой и трезвой жизни.

Когда из барсуков выдвинулись люди, захватившие власть по праву силы и воли, Егор, оскорбленный и потрясенный, остался в тени. Для верховодов был он не более того гвоздика, на который вешал свой картуз Жибанда, приходя домой в совместную с Юдой землянку. Егор злился, его точила дума, что Семен обокрал его, воспользовался его добром, его трудом. И когда носил воду на кухню, приставленный Гарасимом к поваренным делам, сколько раз мечтал он об отраве — до зудящей тупоты в висках, до синих кругов под глазами и до унизительных, необлегчающих слез. Потому-то и ездил по кривым и окольным, что боялся прямых. В тех кривых и заключалось разрешение Егоровой злобы.

На возобновление совместной жизни с Аннушкой глядел он как на первое, с чего следовало начинать восстановление потоптанной людьми славы. Едучи в этот раз в Воры, уже имел в голове готовый план Егор: «Как приеду, так разом на

бабинцовский двор. — А где тут законная моя, Анна Григорьевна Брыкина? — Да на гумне. — Ну, мы и на гумно!.. Здравствуйте, жена моя. Пришел получить дареные вещи! Ноне самому нужны. — Тут же и перечислить: шаль ковровая желткового цвета, посреди черных цветов огненный розан, да еще полушалок шерстяной — серая бахромка, розовые огоньки, да еще хромовые полсапожки на высоком каблуку — восемнадцать рублей, да еще платье темное, шерстяное, на полоске — бусинка, да еще три цветных, шерстяных же, радостных тонов, да еще семь рублей с двумя царями в память трехсотлетия, да еще туфли с самоцветами, да еще...» И уже знал Егор Иваныч, что, не дослушав всего списка до конца, забьется в судороге покаянного плача Аннушка. А он наклонится к ней и простит ее по завету доброты, и обнимет, и великодушием своим омоет падшую Аннушкину душу.

Тут кружилась даже голова у Егора Иваныча,— закрывал глаза и кусал губы, видя перед собой как наяву полное, приятное Аннушкино лицо с наливным румянцем упругих щек. И готов был в те минуты голышом на край света идти Егор Иваныч — за бирюзовым колечком, если б вдруг понадобилось Аннушке. Может быть, тут только ощутила убогая Егорова душа неутолимую потребность чьей-нибудь любви.

Распалив себя подобными мечтаньями, в три кнута гнал Брыкин коня, направляясь к Ворам. Помолодевшим соскакивал он с подводы и мать обнимал с небывалой почтительностью. Душу свою ощущал новенькой, как после баньки. Но после обеда подсказало ему благоразумие поглядеть, прежде чем идти к Бабинцовым, впрямь ли истрепала Аннушка все мужнины подарки. Он дождался, пока мать вышла, и, отдернув ситцевую оборку, с колен заглянул под кровать. Предостерегающе сжалось сердце: Аннина укладка с жестяными крашеными ремнями стояла на обычном месте. Он выдвинул ее и в торопливости уже не помнил себя. Засунул косарь в расщелину замка, забил его поленом, потом надавил. Затейный замок звонко хрустнул, а крышка сама подскочила вверх. В щелку вылетела молевая бабочка,— ее полет проследил жалкими глазами Брыкин. Он даже потрогал рукой, не доверяя глазу, даже раскрыл рот. Все было на своем месте. Сверху лежала та, ковровая, рисунком вверх, а в изъеденном розане, в самом огне его, заметно елозили молевые червячки. И потом еще бегала по ткани в суматохе какая-то быстрая, юркая, серебряного цвета дрянь. Молевые дырки проходили сквозь

все Егоровы подарки,— длинные проходы Егоровой беды. Он поворачивал обесцененные тряпки, но горечь обнищания уже померкла перед созерцанием собственной жалкости. Когда вошла мать, Егор сидел за столом как-то боком, к матери спиной. Ел неохотно, но к концу обеда почувствовал голод и возместил пропущенное гречневой размазней. От размазни у него даже покраснели уши, серое же лицо чуть-чуть припухло.

...Он подстерег Аннушку только к вечеру, на бабинцовском гумне, где просидел целых два часа под изморосью. Аннушка прошла мимо него, спрятанного за ометом соломы, в сенной сарай, с корзиной за плечом. Ее не посмел остановить Егор Иваныч, удивленный Аннушкиной переменой: постаревшая, в сереньком, шла, глядя в землю. Она вышла из сарая и заложила ворота засовом.

— Аннушка-а... — сказал он, дрожа от сырости и волнения, не смея заступить ей дорогу.

— Не беспокой меня, Егора,— сказала та спокойно, глядя поверх его головы. — Устала я от тебя...

— С чего ж устать-то... с полюбовников рази? — не сдержался Брыкин, забегая вперед, но она ускорила шаг. — Аннушка!.. — закричал истошным голосом вослед Брыкин. — Аннушка, я тебе подарочек принес... Оглянись!..

Вот оттого-то, возвращаясь по кривой дороге к барсукам, мотался пьяный в телеге, весь в глине и стыде, шумел песню. Налетел ветер, даже и от него клонился Егор Иваныч на сторону. По тому, как тосковало все его тело, угадывал, что близится последняя смертельная точка всей его бессмысленной суете. От того душевного зуда и пелась песня, а смысл ее был тот, что обделила его матушка на братнем пиру. Находило как бы отрезвление порой, и тогда с каким-то ярым безнадежьем впивался взором в проползающий мимо кусок поля с пересохшим репьем, со щетиной жнивья.

— Эх-ха... все вы одинаки! — вздохнул Брыкин и такую рожу скривил, точно хотел напугать птицу, с распластанными крыльями поднимавшуюся по ветру.

Потом опять охватило хмелевое оцепенение, и заныла опустошенная душа,— так гудит пустая бутылка, поставленная на ветру. Чем ближе подъезжал к барсукам, тем горластей орал нескладную свою, тут же в телеге выдуманную песню. Когда проезжал мимо сторожевой землянки, увидел Жибанду, выходившего от Насти. Беспоясый, с расстегнутым воротом, рассерженный, тот напугал бы хоть кого, но не пьяного Егора.

— Чего разорался?.. аль дорогу кажешь кому? — крикнул Жибанда, замирая, как в столбпяке. — Да куда правишь-то! Все колеса, чертило, раздрябаешь...

— Виноват, извиняюсь, господин пыдполковник, ваше благородие... — И Брыкин высунул Мишке язык. Мишка глядел с ненавистью, и Брыкин убавил пыла. — Нечего там попрекать, на одной веревке мотаться...

— Ты где напился? — подшагнул Жибанда.

— Где пито, там нас больше нет! — уклонился Егорка и хлестнул по коню.

— Нет, ты погоди, парень... — с пехорошим холодком сказал Мишка, попридержав коня под уздцы. Брыкин бил лошадь, та лишь вздрагивала мокрой спиной. — От меня не скоро убежишь!

— Отпусти... — отрезвляясь, сказал тихо Брыкин. — У меня секретец есть! — А Жибанде показалось, что Егор кивнул на Настину землянку.

— Ты про этот секрет молчи, Брыкин,— сказал Мишка. — И знай про это только один... А то я из тебя гниль сделаю.

— Нашим добром пользуетесь, да еще и молчать? — взвизгнул Брыкин и плюнул так ловко, что пролетело на вершок выше Мишкиного лба.

— Будешь молчать? — спросил Мишка, приближая свое лицо к оскаленному Егорову.

— Вре-ешь, не буду... — прохрипел, не помня себя, Егор. — Вот постреляют вас, чертей...

— Так получи в задаток! — сказал Жибанда и толкнул кулаком в брыкинское лицо.

Брыкин дико вскрикнул, лошадь рванула, и телега понеслась к землянке, колотясь о пни.

— Товарищи!..— с ходу закричал Егор Иваныч толпившимся барсукам. — Что ж это такое, товарищи? Кому ж я теперь жалиться буду... раз он меня сам по физиономии, ровно дрянь какую? Меня нельзя бить. Ведь это я первый-то... — Из углов брыкинского рта брызгала слюна.

— А что бы это ты такое мог первым сделать? — спросил Прохор Стафеев, клепавший поблизости дымоходную трубу.

— Я? — Егор осекся, обкусывая, почти обрывая ногти. Он съежился, сидя в телеге, поджал голову в колени и зарыдал. Горе его было бесконечно и отталкивающе. Разрешить его выдачей своего секрета он не мог.

— Ну, что же... договаривай! — приказал Стафеев, откладывая в сторонку молоток.

— Э-эх... — в бессильной злобе проскрипел Брыкин и, надкусив краешек ногтя, с маху рванул руку в сторону.

XIV. МИШКИНА ЛЮБОВЬ И ВСЯКОЕ ДРУГОЕ

Были причины Мишке ходить как буря. Каждую ночь приходил Мишка к Насте, садился за стол и с самым неопределенным чувством глядел в ее пепельно-смуглое лицо, на котором еще ярче, чем прежде, тлели губы. Видел одно: горела холостая папороть и звала к себе доверчивое сердце Мишки, и он шел к ней, не зная колдовского слова, и каждую ночь сгорал в ее огне... а утром возникал из пепла; отдавался целиком и, ничего не получая взамен, тосковал над непонятным ему.

— О чем ты молчишь? — неоднократно спрашивал Мишка, когда досказаны были все любовные слова того вечера. — Ну, о чем ты?..

— А ты спроси, я отвечу,— оборонялась Настя.

— Не моя ты... — неуспокоенно ворочался Мишка, готовый и задушить.

— Да уж чего же тебе больше! — намекающе, с холодком смеялась та и глядела, как в печке суетится огонь.

— Клад в тебе лежит. Отдай...

— Бери...

А Мишка не знал, что бывает еще больше того, чем уже владел. В поисках клада торопливыми губами обрывал он огненные цветки Настиной папороти, обжигаясь и обманываясь. А Настя не гнала Мишку, потому что ей нужна была Мишкина сила. Чувство к Семену и было Настиным кладом; образ его, созданный самой Настей, наполнял ее ночи,— его одного хотела.

Так каждый вечер по еле приметной тропе ходил Жибанда в сторожевую землянку и в следах своих не видел Юды. А Юда был ловок и юрок; в Мишкину любовь вплетал он свою поганую игру. Не простое и понятное томление по чужой и красивой, прикрывшейся именем Гурея, не страсть точила Юду и заставляла ежевечерне прослеживать Жибанду,— толкало непреоборимое стремление одолеть его в поединке. В желаниях своих был настойчив и неумолим он, как ребенок. Когда

Жибанда входил в землянку и брякал запираемый засов, садился Юда на откос землянки и посиживал там, безобидно и терпеливо. Табак весь вышел у барсуков, а был бы табак у Юды, и совсем неплохи были бы ему его вечера, напитанные глухим шелестом непогоды и томительным плачем сов.

Однажды Мишка забыл запереть дверь. Юда вышел из ивняка и посидел немножко на ступеньках, грызя корку полусырого, барсуковской выпечки, хлеба. Месяцу было время, и Юда, пожевывая, глядел, как сочились его мертвенные лучи сквозь густую еловую хвою, раскачиваемую дуновениями непогоды. Потом Юда откусил еще и растворил дверь в землянку. Было в ней жарко до духоты. Не горела ни лучина, ни коптилка, зато ярко, цветисто и минутно играли на сосновых стенах отблески печного огня. Войдя, Юда откусил еще от корки и стоял, присматриваясь.

— ...Чего тебе? — окликнул его Мишка, второпях выскакивая откуда-то из угла.

— Мне-то? Мне ничего... — кротко улыбался Юда. — Шел мимо... Уж больно из трубы у вас выбивает. Пожара б, думаю, не наделали.

Мишка стоял перед Юдой полуодетый и нахмуренный, уставясь в пол.

— Ну, ладно, не наделаем. Ступай,— решил он и коротко махнул рукой.

— Гостя вон гонишь,— добродушно ответил Юда.

— Я тебя не гоню,— сдержанно сказал Мишка,— и ссориться нам нечего. Иди теперь!

— Да уж и пойду, коль нелюбен пришелся,— сказал Юда, а сам все стоял на том же месте, изредка поглядывая на волосатую Мишкину грудь, черневшую в расстегнутом вороте. — А ссориться нам нечего, правда. Мы друзья с тобой, тесные,— грубо притворялся пьяным Юда, но так, чтоб Мишка видел его притворство. — Мы с тобой хоть и шар земной без шума поделим! Бери, скажу, Миша, праву сторону, а я себя по левой расположу. Ведь человек-то я, ты сам знаешь, сговорчивый, необидчивый...

Жибанда продолжал молчать, а уже становилось ему нестерпимо гадко и унизительно.

— Ступай, ступай... мы с тобой опосле насчет земного шара обсудим! — попробовал пошутить он. — Ведь не пьян же ты, Юда..., понимаешь.

— Да я уйду, уж и поговорить не даешь! Ну-к и ласковой ночи вам! — подмигнул Юда, но у двери задержался. — А мне... можно, потом? — спросил он, стоя к Мишке боком и глядя куда-то в сторону.

Мишка ринулся на Юду и, обхватив, махом поднял вверх. Юда ударился головой в низкий накат потолка, покряхтел и промолчал. Но Мишка не кинул его в дверь, как сначала подсказал ему гнев. Он распахнул дверь ногой и легонько вытолкнул Юду в моросящую темноту: осенняя погода переменчива. Юда ушел без лишнего шума, а Мишка, прислушивавшийся у полуотворенной двери, слышал, как посвистывал тот среди мокрых кустов.

— Э, пускай его... — ответил он на вопросительный взор Насти. — Гнилой парень!

Настины ночи только усиливали его тоску, и Мишка стал уезжать со своим небольшим отрядом в озорованье по волостям: нужно было доставать провиант на всю летучую ораву. Об этом скрывали от Семена, который по-прежнему противился всяким поборам с мужиков.

Едва он уехал, Настя пошла к Семену. Она точно ждала Мишкиного отъезда,— то, что скопилось в ней, неудержимо искало выхода. Было время ужина. Дежурный барсук, татарчонок из двадцать третьей, пропустил ее, почему-то покачав головой,— она почти вбежала. Шебякин отсутствовал,— ужин он получал из общего котла. В зимнице никого не было. Стены без людских теней выглядели голо и пусто. Настя, пришедшая сюда впервые после мочиловского обрыва, проворными глазами обежала землянку. Не в правом углу, на соломе, как рассказывал Жибанда, а в левом, на свинулинском диванчике, полулежал Семен.

— Вот... навестить тебя пришла! — несмело, срывающимся голосом сказала она.

Семен поднял колени под шинелью, молчал. Мерцал свет, блестели глаза, смотревшие в накат потолка.

— Сеня... — шепотом позвала Настя и стояла в нерешимости. — Сеня, прости меня. — Она быстро перешла зимницу, ища сесть, и, не найдя, опустилась на колени возле самого диванчика. — Сразу прости меня, без объяснений... ладно? — и дотронулась до его колена, выдавшегося из-под шинели, словно хотела пробиться сквозь его молчание. — Мне так нехорошо без тебя... — И отвернулась в сторону.

— Сядь вон туда. Вон, на лавку, сядь! — сказал Семен.

Она с покорным лицом отодвинулась и осталась на коленях.

— В плече-то болит все? — спросила она тихо.

— Да нет... вот рука плохо,— сказал и пошевелил коленями.

— Сеня,— помолчав, заговорила Настя,— ты знаешь, ведь меня Мишка спас. Жутко было... Он меня два раза спасал!

— Что теперь, утро или ночь? — с прежней жестокостью в лице спросил он. — Я спал тут...

— Вечер. И ты еще не знаешь всего. Ведь я с Мишкой живу... Вот уж месяц скоро! — Был жалостен и хрупок ее голос, и каждое слово звучало вопросом. — А ведь я одного тебя хотела... — искренне и тихо прибавила она. — Наверно, так всегда в жизни бывает: тянешься к вину, а пьешь воду!

— Я все знаю... — сказал Семен и усмехнулся.

— Откуда знаешь? — дрогнула Настя и придвинулась на коленях. — Юда сказал? Юда — дрянь... Как ему жить не стыдно! Ты ему не верь, не надо!

— Да нет... сам Мишка и рассказал.

Она закусила губы от боли и обиды.

— А ты ему что на это ответил?

— Ты б ушла, Настя. Сама видишь, какой я... — сказал он, приподымаясь на здоровом локте.

— Не уйду. И я знаю, чтó ты ему сказал,— мельком бросила она. — А ведь я одного тебя хотела! Ты теперь такой, на тебя все смотрят!.. Ты даже и сам себя не знаешь. Тебя описать, так не поверят!.. Я тебя даже в мыслях понять не могу... И ты, если захочешь, ты все можешь! Вот ты убил этого... Грохотова, мне Мишка про него рассказывал. И ты еще можешь, я верю в твою силу, у тебя лицо такое... И мне все в тебе дорого!

— Уйди, прошу тебя... — с темным, непонятным чувством прервал Семен торопливую Настину речь. — Ты когда говоришь, мне вот тут спирает... — И с досадой показал себе на больное плечо. — Уйди!

Настя не уходила и не отвечала. Опустив голову, она чертила пальцем по деревянному наслеженному настилу пола резкий угольчатый узор. В углу висел глиняный рукомойник, из него капало в бадью.

— Ты помнишь... — странным голосом начала она, ломая пальцы. — Ты тогда на крыше стоял, а я подглядывала за тобой из-за занавески. Ужасно боялась, что упадешь... Я ведь

тогда не знала тебя, а боялась. Вот и теперь сердце замирает, глазам больно глядеть на тебя... Ты Катушина помнишь? Он к маме ходил, чуть не всю жизнь ходил, ты знал про это? Придет, сядет у кровати и сидит. Я вот таких не понимаю, и Мишку не понимаю — как воск делается от одного слова! По-моему, любовь — это когда жутко. Вот точно птица в клюве твоего любимого несет... а вдруг уронит? — Казалось, она бредила наяву. — Вот и ты не упади смотри!.. Слушай, ты когда убивал, было тебе страшно? Было или нет, говори! Как ты его убил?..

— Не я его убил, другой,— раздельно и полупрезрительно, чтоб навсегда запомнилось, заговорил Семен. — Все бывает в драке, но и разбойник до гроба помнит павших от его кистеня. А ты... сколько ты в ту ночь, в Гусаках, зря положила... и вот, каешься в измене, на которую мне наплевать, слышишь?.. а ни словом не обмолвилась о тех. Нет, мало нас, нельзя мне с Мишкой ссориться, а то бы... — И кулак его добела сжался у Насти на глазах. — Пустая ты, для забавы, вроде Катьки... Когда-нибудь они меня повесят, но из них любой мне ближе тебя, понятно? Кровь между нами, уходи...

Она неслышно поднялась с колен.

— Так сколько же лет прошло с тех пор, Сеня, как мы с тобой венчались тогда, у Катушина? — И посчитала в уме, улыбаясь своей ошибке. — Не много... А я-то думала, что это на всю жизнь!

К ночи ей показалось вдруг, что все это было сказано им от ревности, от затянувшейся болезни, от невеселых раздумий о будущем; уж вовсе не верила в возможность открытого разговора о ней между Семеном и Жибандой. В последующие дни она еще приходила не раз — прибрать землянку, принести обед,— присаживалась на шебякинский чурбачок близ входа. Семен не замечал ее. Оставалось ждать возвращения Жибанды, чтоб удостовериться в разрыве...

Это и случилось в один из вечеров, в конце поздней осени. К Семену, в зимницу, собрались барсуки. Жир в черепке пылал ярче и трескучей, чем обычно. Жарко натопленная печь разливала расслабляющую духоту, насыщенную сверх того запахом вчерашней еды, мокрых шинелей и острыми испареньями усталых ног. Весь день прошел в работе: во исполнение Семенова плана усложняли доступы к барсуковскому месту новыми сетями западней и ям. И потому, что пищей у них были лишь капуста, хлеб да вода, употребляв-

шиеся в изобилии и во всяких смесях, ныне хмуро мечтали они о мирном житии, о махорке, о женской ласке, о жирных щах. Дмитрий Барыков, босой и нечесаный, лениво растягивал гармонь, но сипела та, как в простуде, и не удавалась песня.

— Брось ты... нехорошо у тебя выходит,— осадил его Гарасим, дожигая накаленным шомполом самодельную трубку. Он сидел на корточках возле печки, шипящие струйки дыма шли от его рук.

Барыков пугливо и тупо скосил на него белесые глаза и сунул гармонь под лавку. Опять заступила место тишина, земляная, самая тихая.

— Эха, бычатинки бы,— вздохнул Петька Ад, сидевший с вытянутыми ногами на полу, и коротко зевнул. — Пострелять бы... долгоухого видал даве.

— Из пальца не выстрелишь... — осадил и этого Гарасим,— а патронов я тебе не дам.

Опять текли минуты скучного, зевотного молчания. Только шипел в древесине Гарасимов шомпол да стучал в стене домовитый древоед. Внезапно — говор и шум за дверью. Люди прислушались. Петька Ад сонно уставился на дверь... Они вошли чуть не все двадцать два сразу, свежие от морозца, отряд Жибанды,— щурились на пламя. Остававшиеся встретили вернувшихся восклицаньями и расспросами. Первым вошел Юда в папахе, заломленной назад.

— Почтение друзьям! — сказал размашисто он, увидел Настю возле Семена и вздохнул во всю грудь, опуская глаза. — Как попрыгиваешь, дядя Винтиль?

— Попрыгаешь тут... утопа, а не жизнь,— отвечал с ворчаньем Прохор Стафеев. — Курева-то привез хоть, черт табашный?

— Курево, папаша, вредно. С него грудь трескается... — Он больно похлопал Прохора по плечу. — Не плакуй, папаша, привез, привез! И мясца захватил кстати...

— От, истинно табашный черт... — умилился Прохор Юде.

— И спиридончик есть! — подхватил Брыкин, но сообщению его как-то никто не внял.

— Бедрягинцы пожертвовали... — отвечал Юда на вопросительный взгляд Семена и малыми горстями, точно дразнил, стал высыпать на стол махорку из карманов, из какой-то тряпки — отовсюду, где есть место. — Доброта крестьянского сердца!..

— То-то, тебе пожертвуешь! — понятливо засмеялся Гарасим, двигая бородкой. — Мясо-те вели на кухню отнести.

А уж втаскивали и развязывали укутанные в мягкий хлам бутылки с самогоном. Петька Ад сыпал прибаутками. Через минуту, когда вошел Жибанда, не узнать было зимницы. Колебались тяжкие слои махорочного дыма, даже мешали глазу видеть. Не торопясь ни с мясом, ни с вином — плодами мечтаний мучительно долгих недель,— барсуки наслаждались крепкими затяжками едкого, крупнозернистого самосада. Гул голосов стал глуше и походил на удовлетворенное урчанье. Всякий из новоприбывших ухитрился найти себе место. Брыкин сидел на вытянутых ногах Петьки Ада, который, лежа прямо на полу, с видом истинного блаженства сосал из огромной, по росту ему самому, самокрутки. И чем обильней валил дым и вспыхивала огнем бумага, тем больше соловели золотушные Петькины глаза.

— Ишь, прямо броненосец себе свернул,— сказал Юда, сидевший на чурбаке над самым Петькой, и толкнул Петьку ногой в бок. Но тот не услышал, вытягиваясь в одну прямую вместе со струйкой дыма. — Всю махорку один выкурит! — И опять толкнул.

— Зашелся,— одобрительно откликнулся Гарасим, ссыпая махорку в мешок. Подобие усмешки расправило ему ненадолго жесткие складки, бежавшие от тонкого носа к широкому рту.

Тем временем Жибанда подошел к Насте.

— Что это ты там за белье у себя развесила? — полушутливо и слышно для Семена спросил он, крепко пожимая Семенову руку. — Зашел, а там ровно занавески висят, не пройти...

— Да я тут белье постирала. Сушится,— сухо ответила Настя, и брови, точно под холодным ветерком, набежали одна на другую. Она неумело скручивала самокрутку себе, и пальцы у нее дрожали.

— Так ведь ты недавно мне стирала,— не догадался Мишка, глядя ей на руки.

— Это я ему вот стирала,— небрежно мотнула головой на Семена Настя и отвернулась прикурить к Тешке-летучему. Тешка сидел неподалеку и, дрыгая ногами, хохотал над очередной выходкой Юды.

— А-а... — спокойно протянул Жибанда, разом уясняя смысл всех прежних Настиных недоговоренностей; понял и

о кладе, которого с такой жадной мукой добивался. — Ну-ну, пускай его сушится! Юда,— крикнул он назад,— отвари мясца на закуску... распечатывай угощенье-то!

— Накрали-то много? — жестко пошутил Семен.

— А жрать что станешь, коли не красть, как ты говоришь?.. — отшутился Мишка, укрощая в себе внезапную вспышку. — В десяти местах просил — не дают. А стукнул раз, ну и потащили всякого добра... Ты свои рассужденья брось, не время теперь! Про отца слышал?

— Нет, а что отец? — Заблестевшими глазами Семен окинул гомонивших барсуков, мешавших слушать.

— Как же, под боком у тебя, а не знаешь? — закуривая, говорил Жибанда. — В гору Савель Петрович попер. Правда ли, а только будто председателем он нонче в Ворах, сказывают. Не знаю, как уж и верить... больно уж врунист бедрягинец тот, что сказывал. Орудует, говорит, наш Савелий...

— Орудует,— покачал головой Семен. — Надоело, значит, в мужиках-то сидеть? А ты не врешь? — прищурился он вдруг и усмехнулся, показывая, что готов принять и за безвредную шутку нешуточное Мишкино сообщение.

— Вру, как и мне врали... — уклонился Мишка. — Юда, друг, передай огоньку... опять затухла! И не в том еще дело,— продолжал Жибанда,— вот, видишь... — Он протянул Семену свою трепаную папаху.

— Ну что ж, вижу. Шапка твоя... старая шапка,— с непонятной враждебностью сказал Семен.

— Шапка-то старая, да дело-то новое. Дырку видишь? Значит, сзади было стреляно, свои стреляли... Я головой учуял.

— Сзади,— повторил Семен,—думаешь на кого? — и приподнялся на здоровой руке.

— Ты лежи, лежи... — сделала встревоженное лицо Настя.

— Э, ничего ему теперь не будет... — отстранил ее за плечо в сторону Мишка. — Не лезь уж!..

— Ты сам не лезь! — вспыхнула Настя и вдруг поймала острый, наблюдающий сквозь махорочную завесу взгляд Юды. — Смотри!.. — покривилась она и сильно затянулась из папироски.

— Он, что ль, стрелял? — тихо намекнул Семен.

— Да нет, ему не из чего... На Брыкина мне думается. На вершок и промазал-то! Юда без промаха бьет...

— А Воры-то взяты, что ли, были?

— Взяты ли, сами ли сдались... Какая тебе разница?

Тяжко облокотясь на колено, Мишка дымил теперь не меньше Петьки Ада. Волосы на лбу его разлохматились, и слежавшаяся под шапкой прядь с видом обидчивым и детским спадáла на бровь. Настя зорко следила за сменой выражений лица у Семена.

— Слушай, Миша... — сказал вдруг Семен очень тихо и очень внятно. — Ты живи с ней, если... Я вам не разлучник!..

Настя выслушала Семеново признание с каменным лицом; потом встала и пошла к выходу, высоко неся обострившиеся плечи.

— Разве можно такие вещи говорить!.. — взволнованно упрекнул Мишка Семена и пошел вслед из землянки.

— Гурей, а Гурей! — захохотал вслед Насте Брыкин, с глазами, уже обожженными самогонным паром. — Выпила бы с нами за всех пленных, военных и обиженных, а? — И, не смущаясь строгим взглядом Семена, шепнул что-то на ухо Юде.

Тот отпихнул его, но не прежде, чем улыбнулся, презрительно соглашаясь.

Взбудораженные щедрыми пробами самогона, барсуки шумели, а на печке уже закипали котелки с мясом. Потехи ради и во удовлетворение расходившейся погани своей Юда послал Брыкина за татарчонком из двадцать третьей. Тот, поднятый со сна, прибежал весь встрепанный и напуганно оглядывал полупьяных верховодов.

— Эй, Махметка, садись вот сюда. Налить ему! Брыкин, отрежь мясца Махметке! — командовал Юда. — А ну, Махметка, рассказывай вали про Адама, ну, про это вот, как ему бог жену дал! — велел Юда, весело кривясь в пояснице, где бежал кавказский поясок. Как-то подслушал Юда: татарчонок, споря о преимуществах богов, рассказывал бородачам-отпетовцам историю Адамова грехопаденья. И теперь тормошил его Юда, сам весь дрожа, на пьяный посмех барсукам. — Ну, пей сперва, а потом вали... ну!

— Не буду пить, не буду говорить... — отчаянно защищался татарчонок. — Зачем зубы скалишь? Твоя вера, моя вера, однáя дорога!..

— Не гоже, не гоже! — подтвердил и Евграф Подпрятов заплетающимся языком. — Зачем тебе на чужого бога лезть?

Ты уж ковыряй своего, как ты своему-то полный хозяин, а в языке у тебя зуд.

— Я жду, Махметка,— пригрозил Юда, меняясь в лице; зрачки у него стали круглы и малы. — Я ведь тарабанить не буду с тобой! — И опять ломался Юда в пояснице, точно выскочить хотел из кавказского ремешка.

И татарчонок, повинуясь Юдиным глазам,— а за глазами Юды и всей ораве верховодов,— стал рассказывать, запинаясь и покрываясь пятнами жгучего стыда, словно преступал величайший наказ отца:

— ...вот. Адама была не ваша... Адама была наша. Адама татарин был! Бог говорит: «Адамка, Адамка, ты хороший мужик... вина, свинины не хочешь... Сен-ии-улан! Я тебе бабу дам, все тебе делать будет. Сама,— и татарчонок почмокал с вылупленными от натуги глазами,— сама слаще арбуза!» Вот...

— Ба-абу-у?.. Их-хх... — завалив голову на колени к Андрюхе Подпрятову, затрепетал в беззвучном, оскорбительном смехе Тешка. А вслед за ним пошли хохотом и все остальные. Со стороны казалось: не смех, а что-то гудит, скрипит, сопит и рвётся, раздираемое ногами. Смеялся и Евграф Подпрятов, осудительно покачивая головой, округлилась смешком и Гарасимова бурная борода, вытирал слезы смеха Прохор Стафеев, счастливо обнажал крупные, вкось поставленные зубы Петька Ад. Не смеялся только сам Юда.

— А теперь ступай,— сказал он досказавшему все до конца татарчонку, полузакрывая глаза. — Ступай, я тебе сказал!

— Да-ай! — сказал татарчонок, робко кивая на стол.

— Чего тебе дать? — низал его презрительным взглядом Юда.

— Вино дай...

Оцепенев от обиды, дергал себя за мягкий молодой ус татарчонок и глядел поочередно на всех, жалуясь. В его смуглой, нежной глазнице, казавшейся пушистою под изогнутой, как лук, бровью, повисла слеза. Потом она скатилась на алое пятно стыда, тлевшее на щеке.

— Над чем вы это тут? — спросил вошедший в ту минуту Жибанда. — А-а... — Он увидел татарчонка и сам долго, зло хохотал, разливая из бутыли.

XV. ПРИХОДИТ ЗИМА

Воры сами сдались, по примеру остальных восставших. Уже в этом таилось предсказание скорого конца, но все волновался в уезде товарищ Брозин, глядя на карту, где красным карандашом была обведена воровская округа.

Над волостями, примкнувшими к барсукам, реяли тревожные предчувствия. Сперва-то и сжились с ними; спали с чутким ухом, не загадывая про завтрашнее. Каждый день, не отмеченный выстрелом, считался напрасной оттяжкой немилостивого срока. Догадывались о первом снеге: по первопутку прискрипят сани из уезда,— памятен будет на долгие годы мужикам первопуток того года. На барсуков смотрели уже с жалостью, а не с доверием, хоть и видели в них свое, сильное, неразумное и по одному тому уже обреченное. Да и мало просачивалось известий о барсуках в затворенные наглухо от страха мужиковские избы.

От попузинцев вышел вкруговую слух, будто принялись барсуки уголь обжигать, названье им отсюда не барсуки, а жоголи. В Сусаковской волости оброс слух как бы бородкой: уголь — в город на продажу возить, набрать уйму денег хотят и уехать в теплые места от скорого советского суда. Семь недель гостевал тот слух по волостям, а все еще не возвращался домой, к досужему попузинцу. Наконец воротился, и не признал в нем неразумного своего детища досужий: жжется уголь для отвода глаз. Мы-де, жоголи, уголь жгем. Мы-де, угольная артель, из пропитанья трудимся. А убивали и разные непотребства творили мужики, воры, их и крошить расправе... Вернулся слух таким после того, как приходил Жибанда выжимать мирскую лепту на барсуковское кормление.

Тут один даже убеждать порешился, что уж нет вовсе барсуков на прежнем месте: ушли из нор, а взамен того стоят снега, а в снегах елки.

— Проехал я, любезненькие, цельных два разка вдоль Бабашихи-т. Скажи, хоть бы следок зайчиный.

— Пуля! Ведь они на лыже в одну тропочку ездиют. Там стоит елиночка, я видал... Она неспроста стоит! — и поднимал указательный перст к носу.

— Дак тропочка-те где ж, мякинная ты голова? Тропочки-те ведь нету!

— А тропочку метелкой заворошило!..

Шли такие разговоры вполслуха. Где-то в окрестностях, по цельным снегам, бродил Половинкин с отрядом добровольцев — мужиков же Гусаковской волости,— народ бородатый, обозленный и потому настойчивый. Первоначально не обретали смысла в его гулянье по снегам даже и присяжные догадчицы:

— Вот ходит, вот ходит... Боже милостивый, и чего он ходит? Чего ему в снегах?..

Вдруг явились смыслы: в Суским снова утвердилась Советская власть. Сказывано, будто сами сусаки в уезд ходоков спосылали. «Дичаем-де от безвластья. Приходите ворочать нами. Утолите невозможную нашу тоску...» Да и как было не обитать в тревоге: Суския не крепость, не железные дома, не каменные души, мягкие! Половинкин, в метельном поле блуждавшего по бездорожью сусака встретив, настрого ему приказал: «Баловать перестаньте. А иное дело — огнем пущу!» Через неделю, в день приезда уездных комиссий, с видом облегченья вздохнула Суския, тем самым отчеркиваясь от барсуков.

За сусаками пало Отпетово, а за Отпетовом рухнулись на колени Гончары. Призрачно было их покаянье: все сильное и молодое имело свое обитание в лесах. Потому приходил ночами Половинкин, искал виновных и судил их быстро, степень виновности прикидывая на глазок. Или назначал общественное порицание, в знак чего уводил корову с лошадью, или не брал ничего, а выводил бунтовщика за околицу, к овражку, где буйней гудела снежная метелка, и там оканчивал глупую повесть о его бедовых днях. Люди Половинкина были ему самому под стать, крепкие и выдержанные. Перенимает охотник обычай зверя, на которого ходит. Те же барсучьи навыки перенял на себя и Сергей Остифеич. Как и Жибанда, промышлявший хлеб скрытно, удалью и ночным напугом, являлся Половинкин неслышно, барсучьей ступью, по барсучьим же следам.

Так они и бродили, подобные ночным ветрам, не имеющим ни гнезда, ни милосердной угревы. А однажды встретились обе стороны в глухом углу двух лесов. Рассветно алел снег, его разбрызгивали кой-где редкие пули ленивой перестрелки. Нарочно ли в снег стреляли, но ни одна пуля не достигла цели. Похоже, будто встретились два враждебных зверя, обнюхались, тихонько поурчали и разошлись вспять. Все же видел в то утро весь половинкинский отряд самого атамана Жибанду, как он сиплым голосом приказывал перебежку, и

Гурея, как он бежал к пулемету по колено в снегу. Таким и представлялся Гурей мужиковскому воображению: красивый, как девка, весь обмотанный пулеметными лентами. Здесь и был источник неиссякаемых сказок в последующее время: «Прозеленятся по весне снежные равнины. По первой зелени и прискачет в подкрепление барсукам Гуреево войско: белые кони, вострые сабли, отчаянные головы...»

Из десяти поднявшихся волостей семь уже примкнули к Половинкину — огонек за огоньком вспыхивал в ночи. Гусаки правили всем уездом со всевозможной мужиковской истовостью. Знать, недаром пророчил как-то впьяне слепой дед Шафран на завалинке: «Вознесутся превыше облак Гусаки и будут землю попирать красными плюснами». Не избежали Шафранова пророчества и Воры: сами сдались.

А уже надвинулась зима. Постепенно удлинялись ночи, заострялись холода. Уже лиховали морозы на бору, и все обильней по утрам валил дым из барсуковских землянок. Восемнадцатого октября, в первый день по ущербе месяца, выпал толстым покровом снег и остался лежать. К обеду потеплело, подтаяли кочки чуть-чуть, тропинками осквернилась девичья белизна снега. Лес стал безрадостный, мокрый. Но уже через две недели, когда впервые вышел Семен из зимницы, был густ воздух того предвечерья, как мороженая вода. Прямо по снегу Семен прошел к опушке. Пока шел, снова стал падать снег. Стоял пенек на опушке, на него и сел Семен. Снежные хлопья падали безветренно на поляну Курьего луга. Казалось, что самые хлопья стоят неподвижно, а все вокруг — и затихший лес со стаями легких синичек, и каждая почернелая травина, просунувшаяся сквозь снег,— все это подымается вверх, в сизую, пестрящую глубину неба.

Все время, пока лежал на соломенном ложе болезни, напряженно думал о начатом Семен. А теперь, когда увидел лес, поле, снеговые пространства, с изнеможением ощутил непрочность всего того, о чем надумалось под душным потолком его зимницы. Он вздохнул глубже, и тотчас же резнул жесткий воздух в верхнем, правом углу груди, куда пришелся удар Щербы: «Все не так, а все проще. Вот снег идет, и стоит дерево, Гусаки отняли покосы, а Воры не хотят. А вот на снегу — тетеревиных крыл след, а по нему четкий след лисы: лиса шла за тетеревом, как рассказывает снег... Просто». Все, порожденное горячностью усталого ума, все это рвалось теперь, как бумажное кружево на ветру. Семен снял шапку и

сидел так. Снег рябил в глазах. «Где и думать об удачах! Егоры Брыкины да Гарасимы, Юда да Петька Ад! А Жибанда — вихрь, бесплодный и неосмысленный, как гроза, как боровик,— вырос на дороге и не знает, который растопчет его сапог. А зародится Пантелей Чмелев,— коли не убьют его раньше времени, вытянет город к себе. Заумнеет чмелевский сын, познает толк черному и белому,— в ученой спеси своей забудет нищих и темных родичей. Будет чмелевский сын искать короткую дорогу к звездам, а родичи — ковырять кривыми сохами нищую землю, а в пустопорожнее время — варить тугую пьяную отраву да каторжные песни петь. Эх, то лишь к нам и проберется, что с топором!» — так думала за Семена его болезнь и усталость.

Синички прыгали над самой Семеновой головой, осыпали снег с ветвей. Он пошел домой. Клейкий снег валил хлопьями, облеплял сапоги, утяжелял шаг. Вечерело. А в голове шумело, как с похмелья.

XVI. НАВЕЩАНЬЕ МАТЕРИ

Все тянуло Семена в Воры, да не пускал обжившийся Шебякин, грозил бедой.

— Что ж ты меня, ровно дворовую, на привязи держишь? — хмуро шутил Семен.

— Ничего, товарищ,— заслонялся ручкой Шебякин. — Меня приятель твой застращал, что жизни решит, коли я тебя не выправлю... А у меня полна изба писклят, да отец еще жив... одиннадцать ртов! Не пущу. Кусай меня, куды хочешь, а не пущу. Дай суставу срастись,— добавлял строго.

А дни шли. В тот же день, когда повез татарчонок фельдшера в Чекмасово, порешил Семен идти.

— Не ходил бы,— намекал сумрачно Жибанда. — Рано... желтый весь.

Семен не отвечал, собирался: пробовал затвор винтовки, надевал лапти, клал в карман ту самую гранату, что висела когда-то на поясе у Половинкина, брал половинкинский же наган. Отемнело сизое небо, когда вышел Семен в путь, видом своим походя на обычного для тех времен воина-лапотника: драная шинель, шитая наспех и на смех, винтовка без штыка, облезлая папаха,— и шел с голодной ленцой. Воры объявились ему не сразу. Затаясь в потемках, они, казалось, сотнями зорких глаз следили со снежного бугра за каждым его шагом.

Даже как будто шептали: «А-а, ты перешагнул жердину, упавшую от барыковской остожины... А-а, ты перешел мосток!.. А-а, ты смотришь в нас!»

Прислонясь к оснеженным перилам мостка, Семен испытующе глядел в село. Вот так же поглядывал когда-то отсюда же и Половинкин. Снежная улица была пуста, как вымершая. Баба прошла за водой. Колодезная жердь с вороной, сидевшей на верху ее, четко чернела на сизом небе. Рычаг наклонился и заскрипел, ворона слетела, направляясь вдоль села. Мальчик тащил вверх, на село, каталку-решето, обмазанное навозом и политое водой. У горелого исполкомского места он сел в каталку и, гулко вертясь, покатился вниз, и никто из других мальчиков не мешал ему в этом. Мальчик вскрикивал от удовольствия: и деревья, и избы, и снег, и воздух — все со свистом кружилось вокруг него одного. На подкате к мосту он увидел солдата над собой, пугливо выскочил из решета и собрался удрать.

— Ты не беги, оголец,— сказал солдат, беря его за плечо. — Я тебя не съем. Ты здешний?

— Здешний,— осторожно ответил тот, глядя то на конец винтовки, торчавший из-за солдатова плеча, то на отдувшийся карман солдатской шинели.

— Кто у вас председателем-то теперь? — допрашивал солдат.

— Папанька! — ответил мальчик и своенравно подергал решето за веревку. — А ты кто?

— Из Гусаков вот иду, с приказом. Тебя как звать-то?

— Из Гусаков, так не с той стороны,— подозрительно сообразил мальчик и показал на другой конец села.

— Да я плутал тут, дорога-т малоизвестна.

— У нас чай пить будешь? Папанька гостя ждет... Ты приходи.

— Приду, приду... — вглядывался в сумерки села Семен.

— А коньки умеешь делать? — не отставал мальчик и шел за солдатом. — А что у тебя в кармане, покажи!

Пришлось идти задворками, чтоб отвязаться от мальца. Никто Семену не встретился, только какая-то девочка в опорках прошлепала мимо него к соседке за огоньком. Сильней защемило в плече от ускоренного дыхания, когда всходил на крыльцо. Снег лежал на лавках, и по нему — явственные следы птичьих ног. В сенях постоял и прислушался. В ушах звенело, а показалось — будто слышит Савельев смех.

Вдруг у соседей закричал петух, и был отраден Семену его сильный, настойчивый крик. Семен вошел. Мать сидела на лавке с видом нудного, безучастного ожидания кого-то, ужасающе неряшливая, но было чисто прибрано все в избе. На сына, отряхивавшего снег с лаптей, Анисья взглянула равнодушно и опять тупо уставилась в выметенный пол.

— Что же ты грязная какая... — удивился Семен и глядел, пораженный чернотой нечесаных материнских волос: в них не было ни сединки. Никогда до того не видел матери без повойника или платка. Уже снимая с плеча винтовку и приставляя к столу, все перебирал в уме, не к празднику ли готовилась, но вот устала и села отдохнуть. Праздников не выходило. Тут он опять поймал туповато наблюдающий взгляд матери.

— Отец-то вышел, что ли? — спросил Семен, борясь со смутной тревогой.

— К вечному блаженству, говорю, отошел отец... — заученно сказала мать, точно за минуту перед тем говорила кому-нибудь об этом же. Она поднялась, переставила с места на место две пустые махотки на шестке и опять села, сурово поджимая губы.

— Ждешь, что ли, кого? — спросил Семен и тут заметил, что стал соображать гораздо медленней.

— Обещал и за мной прислать гусак-те,— сказала мать. — Неделю цельную и сижу вот.

— Та-ак,— протянул Семен и понял, что ждет она уже гораздо больше недели. — Что ж, и коровенку забрали? — меняясь в голосе и лице, спросил он.

— Взяли. Просила: хоть жеребеночка-то оставьте. Сиди, сиди, говорит, скоро и за тобой пришлю...

— А, вот какой оборот! — слушал Семен и тер заболевшую шею. Он старался не глядеть на мать, не плачущую, зачерствевшую от недельного ожиданья. А воля злобилась, и бессмысленнейшие сочетанья с дневной яркостью представали Семенову воображенью.

Семен ел черный хлеб, предложенный матерью, и запивал водой, догадываясь с насильственной внутренней усмешкой, что это и есть помины по его нескладном отце. После еды Семен прилег на лавку и лежал, вытянув ноги, запрокинув голову на доски. К нему подсела мать.

— Я-то местечко во ржи припасла... хлебца там спрятала. Они придут, а я и убегу. Рожь-те шуми-ит!.. — Она говорила

тихо-тихо, не видя устрашенных глаз сына. — Все лежал твой-те, мухи его ели! — сказывала Анисья.

— Ты, мать, заговариваться стала! — грубо вскричал Семен и вскочил с лавки, как ударенный. — Какие же мухи зимой? Где ж это рожь в декабре шумит? Что ты забалтываешься!..

Крик Семена отрезвил мать. Теперь она плакала, без слез, с открытыми неподвижными глазами, и, рассказывая, глядела в окно, затянутое сумерками. Даже пробовала оправить разметавшиеся черные космы непослушной рукой. А Семен глядел, не отрываясь, на ее корявые, неразгибающиеся пальцы. И вот как рассказывала о последних минутах отца, постепенно бессилея от воспоминаний, так и заснула, положив голову на стол. Семен бережно, чтоб не потревожить нечаянного сна, перенес ее на койку, а сам, не решаясь именно теперь покинуть мать, запер двери и прилег на лавку. Винтовку он приставил к столу.

Как ни закрывал глаза, не удавался сон. Мотались в голове дикие и гулкие образы, как камешки в погремушке,— представлялся отец: стоит у ямы и, смешно вихляясь, все убеждает соседей по смерти, Барыкова и Сигнибедова, что все это никакого влияния не оказывает, что и там, в поповском где-то, люди живут... Потом происходила обычная сонная сумятица, расщеплялся сон, вклеивались в него клинья новых. Сон — боль уставшей головы. Когда среди ночи раздался стук в окно, Семен вскочил первым и прислушался. Дрожащий бабий голос с улицы звал Анисью. Остальных бабиных слов было не разобрать из-за зимней рамы. Он окликнул мать, та проснулась и сразу, точно и не спала, покорно пошла в сени.

— Не сразу отпирай... опроси сперва,— шептал в ухо ей Семен, а та слушала спокойно, даже не кивнула, что поняла, уверенная, что пришли за ней самой.

Семен прислушивался и угадывал по звукам: вот мать отперла дверь, и в щель просунулись штыки. Мать вскрикнула, взошли люди. Семен быстро запер дверь избы на засов и огляделся, ища. Скользнула мысль — бросить в сени гранату, но там была мать. Ищущий взгляд его упал на окно, и вот выход был найден.

Сильными ударами винтовочного приклада он выбивал рамы из окна. Рамы были старые, дубовые,— затея домовитого Савелья, когда еще не отпробованы были царские розги. Летели осколки, и уже всходил бодрящий холод в разбитые стек-

ла,— блестела звездами морозная ночь. Под окнами различил Семен людские тени и тихие переговоры их. «Живьем взять хотят...» — понял Семен и последним ударом, зло усмехаясь, выбил расщепленные остатки рамы.

— Сенюшка... так ведь под окном они! — различил он прерывистый шепот матери из-за двери. И вот Семену стеснило в груди, едва вспомнил ее сведенные, сухие пальцы.

— Прощай, мамаша! — отчаянно крикнул он и выбросил за окно все тряпье, какое нашлось на койке, завернутое в шинель.

Под окном, среди людей, разом раздались восклицания, и все скрывавшееся по ту сторону окна с неистовой поспешностью навалилось на Семенову приманку. В середину той живой кучи метнул Семен гранату и разрядил наган. Почти тотчас же он выскочил из окна и побежал. Его спасли глубокие сугробы, молодые ноги и ночь. Два выстрела не достигли его, а погоню было некому устраивать. Лишь за пределом опасности, когда от бега зашлось сердце, он сел прямо на снег и так сидел, трудно дыша и обводя глазами ночное поле. Мягко мерцали звездным светом снега. Где-то за Дуплею — волчий лай. Семен все сидел, прислушиваясь к себе самому, к совершившемуся внутри его перерождению. Все прежние помыслы о крестовой войне с городом были отринуты. Здесь родился другой Семен, именно тот Семен Барсук, о котором впоследствии сами собой сложились песни и распевались на ярмарках, на пьяных гулянках, всюду, где тянут слепцы свои убогие пространные былины.

XVII. ЕГОР ИВАНЫЧ БРЫКИН ВЫДАЕТ СВОЙ СЕКРЕТ

В том и состояло перерождение Семена, что уже не сдерживала его прежняя осторожность. Как волки, заметались по уезду барсуки. Описывали круги, имея целью и центром советское село Гусаки.

Четыре раза суживались круги, и четыре раза загорались гусаковские овины,— отстаивали; и уже не обходилось без кровопролития каждый раз.

Передавались изустно слова, якобы сказанные старшим барсуком: «Мы председателей в уезде повыведем». Может, и неправда, но три раза до весны безлюдели в округе исполкомы. Выявлялся новый председатель, не больше дней сидел он в

нетопленном, запустевшем исполкоме, чем срок, в который дотянуться до него невидимой руке Семена Барсука. Под конец унылей, чем на мирскую повинность, смотрели Гусаки на возможность править одним из сел той незамиренной округи. Даже выдумал новую угрозу Половинкин непослушным: «Вот я тебя председателем в Сускию посажу».

Отряд Половинкина вырос неузнаваемо, но возрос в неодолимую ораву и барсуковский отряд, путеводимый теперь самим Семеном. Даже и крутые морозы — лопался лед на Мочиловке — не могли остановить враждующих в их безумных круженьях по снегам. Но встречи их редко оканчивались боем: как будто слишком мал был для их обоюдной ненависти разбег. Почти вся барсучья держава жила теперь на походе. В землянках оставалось лишь старичье да болящая команда, возглавляемая Прохором Стафеевым. Кашеварами называла их летучая часть, и те не обижались. Жибанда имел свой отдельный отряд, встречались они с Семеном только дома... То была неправда, к слову сказать, будто председателей убивали. Председателей копили, как деньги, на последний расчет.

А уже с февраля бежали резвые дни, запорошенные мокрым снегом. Все реже смягчала улыбка обострившиеся Семеновы черты, все чаще ходил на опушку сидеть на облюбованном пеньке и угадывать дыхание недалекой весны. Весна означала последнюю ставку, весна сулила исход, оценку всех его предположений и расчетов. В том же феврале и сообщил Жибанда ему, вернувшемуся из похода, новость, повергнувшую Семена в ярость, тревогу и раздумья.

— А Брыкин-то хорош твой! — сказал Жибанда, отворачивая лицо в сторону и подымая бровь.

Дул мокрый ветер, прояснялось небо,— обещал месяц быть в ту ночь.

— Опять в шапку стрелял? — посмеялся Семен. — Гниль завелась?

— Гниль-то гниль, зубоскаль, пожалуй! Копилка сбежала! — Копилкой и называли ту землянку, где содержались пленные председатели.

— А дозорным кто у дороги стоял? — И кровь прихлынула к Семенову лицу.

— Васька Пекин стоял... Только ведь они не по дороге пошли. Прямо снегом!

— Лыжи-то откуда же взяли?.. — недоверчиво косился Семен, ускоряя шаг к землянкам.

— У Митьки Барыкова Брыкин брал, будто я велел. А я не велел. Тут еще из Сускии наезжал один, много на Брыкина сказывал.

— Ты куда ж посадил-то его? Я к нему схожу,— решил Семен.

— Кого это?

— Да Брыкина.

— Вот непонятливый! Да Брыкин и ушел вместе с ними. Только один там и остался... ну, вот с отмороженной ногой который!

Они входили в зимницу, захолодавшую и засыревшую за время Семенова отсутствия.

— Затопи, друг, печурку, а? — попросил Семен, проходя к диванчику и валясь на него пластом.

— Можно,— отвечал Мишка и завозился на коленях у печки. Скоро затрещало в ней пламя, усердно раздуваемое Мишкой, и озарились красным светом надутые Мишкины щеки. — Друзьишки, нечего сказать,— говорил Мишка, подкидывая в печку дровяной горючий сор,— прямо на голову гадят! Заочно придется Брыкина твоего судить в острастку: не иначе как по половинкинскому приказу гадил. Гниль парень!

— Что Брыкин! Вот и приятель твой намедни пришел ко мне. Клад, говорит, нашел: баба средь нас. Хочешь, спрашивает, приведу? Бери, а то расхватают!

— Юда? — поднял голову Мишка.

— Юда.

Печка трещала вовсю. Мишка сел в ногах у Семена.

— Семен... — странно было слышать пьяного, говорящего в таком тоне. — Отымешь ты у меня Настюшку?.. Говори прямо, я не боюсь.

Семен не ответил, потому что дверь раскрылась, ударенная снаружи тремя, может быть, сапогами враз, и несколько барсуков проскочило в зимницу. Сильные руки втолкнули вовнутрь что-то, подобие человека, кучу. Озлобленный и глухой галдеж сопровождал происшествие.

— Входи, входи... — крикнул Семен, отстраняясь от Мишки, и голос его был деланно тверд. Сам он подошел к столу и стал зажигать светильник. Фитиль отсырел. Спичка уже жгла пальцы, а огонь все не зажигался. Он положил остаток спички на фитиль, и тот затеплился чадно, скудно и желто. — Дверь-то закройте, все тепло упустите!

— Так как же? — подошел Мишка со стороны. — Решай, Семен Савельич!

— Насладиться хочешь перед смертью, Миша? — Семен оскорбительно обмерил Мишку, но тот заметил, несмотря на хмель, как зарделись Семеновы уши. — Ты, что ль, Егор Иваныч? — наклонился Семен к сидевшему на полу. — Поди, зови, Мишка, ребят! — И опять наклонился над Брыкиным. — Судить тебя, Егор Иваныч, будем. Сам знаешь, в лесу, без стен, живем... — И уже вторично, уходя, учуял Мишка в Семеновых словах еле приметное волнение.

То были как бы остатки от Брыкина. Его и ударили всего один раз, покуда волокли в зимницу, об этом говорил подбитый глаз, но он сам уже развалился, как зрелый по осени плод. Егорова душа разлагалась заживо, и Брыкин сам созрел к смерти. Светильник потрещал и потух, робкое пламя не справлялось с водой, капельками стоявшей по застывшей поверхности жира. Больше светильника и не зажигали, довольствуясь неспокойным красным светом из печки.

...Зимница была втесную набита барсуками. Все стояли, потому что не было места сесть.

— Ну, зеленые атаманы, начнем теперь... — сказал Семен, а Мишка видел с удивлением: никогда Семен так не заискивал перед барсуками. Только Петька Ад, стоявший впереди, смешливо хмыкнул и тотчас же оглянулся на других.

— В Писании сказано: если рука заболит, руку и отруби... — тихо сказал откуда-то из угла Юда, награжденный тотчас же общим смехом.

И в последний раз подошел Мишка к Семену.

— Может, прямо разменять его, а? О чем допрашивать, дело ясное! — Но уже видел: лошадь понесла, разбивая таратайку на бездорожье. Губы Семена раздвинулись, обнажая влажный оскал зубов, зрачки потемнели. Мишка стоял в ожидании ответа, хмель его, казалось, прошел весь.

— Где его нашли? — резко и звучно спросил Семен, оставаясь в тени.

— А вот Подпрятов нашел,— пальнул Петька Ад.

— Подпрятов! — вызвал Семен.

— Он до ветру побежал... — сообщил Юда, и все засмеялись. — Иди, тебя начальник кличет! — потопал Юда на входящего Подпрятова, и опять родился недобрый смех.

— Ты где его нашел? — начал с нарочным безразличием Семен.

— Брыкина-т? — скосил глаза на сидевшего на полу с закрытыми глазами Подпрятов Андрей. — Вышел я до ветру...

— Да с чего ж это ты все до ветру ходишь? Больной, что ли? — вставил унизительно для себя Семен, и точно по сговору, барсуки ответили молчанием на Семенову шутку.

— ...вышел до ветру, гляжу — чернота в снегу, за кустком,— продолжал Подпрятов, недовольный, что его прервали. — Подошел — человек. Я его тут пихнул ногой маленько, он тут и отвалился. Лежит, и все. Я взглянул, это он и есть, Брыкин!

— Вот, ребята... — начал Семен, поглаживая бороду.

— Земляки! — быстро прервал его Мишка Жибанда. — Может, нам его и без суда кончать?.. Кому суд, а кого и прямо на сук. Полевым судом его... а?

— Зачем! Обсудить надо,— сказал, сопя, Ефим Супонев. — Не горим ведь!

— Вот я и хочу сказать... — овладел вниманием барсуков Семен. — Брыкин — предатель, за то его и судим. А я предложил бы ему снисхождение дать, раз он не бежал... — Говоря, Семен старался поймать блуждавший теперь взгляд самого Егора.

— Ну, это уж совет зеленых атаманов порешит,— неуловимо дразня Семена, сказал Юда.

— Конешно, чего тама? — сказал бородач в углу.

— Миро́м! — сказал Прохор Стафеев.

— Не спеша, ребятки, надоть... не спеша! — егозливо выступил приятель бородача и зачем-то поплевал на руки.

— Допрос, значит, можно начинать, товарищи? — спросил Мишка.

— Да уж путлять нечего. Не ужинали еще,— сказал угрюмо Гарасим, и, как только он сказал, все хором вздохнули.

— Начинай,— сказал Семен, и все сразу поняли, что и без Семенова позволения все равно начался бы допрос.

Жибанда нагнулся к Брыкину и шевельнул его за плечо.

— Ну, подымись,— сказал он спокойно. — Садись вот на обрубок,— и ждал, все еще согнувшись над Брыкиным.

Тот пошевелил головой и застыл в прежнем оцепенении. Тогда Жибанда вскинул бровью, поднял Брыкина с пола и посадил на круглое комлевое полено, стоявшее посреди зимницы. Брыкин качнулся и стал падать с него, как неживой.

— Попридержи,— приказал Жибанда ближайшему.

Ближайшим оказался Гарасим-шорник. Он послушно вытянул руку и, взяв Брыкина за волосы, держал так, вертя брыкинское лицо то к свету, то к тому, кто задавал вопрос. А лицо Егорово было безжизненно, только шевеленье губ его, растрескавшихся и изломанных, показывало, что еще тлеет в нем чадный уголек сознания.

— Не держи за волосья-те! Под руки подержи... — заметил брюзгливо Стафеев.

— А я ему кресло, под руки-те держать? — огрызнулся Гарасим и еще сильнее поддернул Егора за волосы. Темная сила, которой светился Гарасим в ту минуту, была столь велика, что никто не посмел остановить его, а брыкинское лицо продолжало висеть в воздухе, как белая страница, на которой уже написан был приговор барсуков.

— Ну, что же, начнем теперь,— вздохнул Жибанда и помолчал, почесывая ногтем выбритый подбородок. — Ты, Брыкин, слышишь меня? — Он озабоченно глядел на шевеленье брыкинских губ. Опять помолчав, он вдруг приблизил свое лицо к брыкинскому и почти прокричал в упор: — Комиссара Половинкина кто отвязал... ну?

Лицо Брыкина постепенно оживлялось, точно спрыснули его живой водой; подобие румянца окрасило место над правой бровью и левое, странно заострившееся ухо.

— К свету, к свету его поверни... — заворчали барсуки, а Мишка внимательно наблюдал оживленье Брыкина по движеньям его губ.

— Марфушка босонога! — неожиданно громко отвечал Егор, выпрямился, открыл глаза, но снова закрыл их, ослепленный печным огнем. Жизнь, торопливая и суетливая, радостными струйками забегала в несогласных еще между собою мускулах его лица. Брыкин крикнул, и барсуки засмеялись от неожиданности. — Марфушка! — еще раз крикнул Брыкин и вырвал голову из Гарасимовой руки. — Я ее в кустах подслушивал... в клоки хотел стерву изорвать! Она ему, товарищи: «Женись, говорит, на мне, развяжу тогда...» — Глаза брыкинские блестели, он захлебывался своими стремительными словами и радовался тем, которые еще предстояло солгать: каждое слово удлиняло срок его существования среди живых. — Он и говорит ей: «Развяжи, тогда женюсь!» А она: «Напиты, говорит, запитотьку...» — Брыкин, подражая Марфушке, в точности передал выражение Марфушкина лица. — А он говорит: «Так ведь руки-то у меня связаны, как же я напишу?.. Ты

развяжи сперва, я потом и напишу». А она: «Нет, тперва напиты». Уж я, батюшки мои, хохотал. вот хохотал... взопрел весь! — И, передернувшись как в судороге, Брыкин с видом какого-то безумного вдохновенья смотрел на барсуков.

— Ладно... — оборвал его Жибанда тоном, зачеркивавшим всю искренность Егорова показанья. И опять качнулся Брыкин на своем чурбаке, и опять шепнул Жибанда Гарасиму: «Поприддержи, чтоб не съехал».

— Ну, а потом Марфушка сказала ему: «Ты голый»,— и убежала. Так? — спросил Жибанда, щурясь и крутя усы.

— Так... — пошевелились брыкинские губы.

— А потом ты вышел и отвязал комиссара,— жестко вычитывал Жибанда. — Как же ты его отпустил? Ведь он жену у тебя взял.

— Полжизни у меня утащил! — жалобно прокричал Брыкин.

— И как же, без уговору ты его отпускал? — осудительно качнул головой Жибанда, дотрагиваясь пальцем до брыкинского лба. Брыкинский взор отразил испуг, сжатые губы — нехотение говорить.

В зимницу входили новые, становились в круг же.

Тишина не нарушалась, но, когда Настя пробилась сквозь плотное кольцо барсуков, побежали шепотки, а Тешка, Юдин прихвостень, вздохнул громко и насмешливо, толкая Евграфа Подпрятова в бок:

— Эх, леденистенькая... куснуть бы!

Подпрятов не ответил.

— Значит, товарищи, выяснено... — голосом покрыл всех Мишка,— ...Брыкин отпустил комиссара по уговору. Что-де вот, отпускаю я тебя, а когда барсуков зачнут крошить, так ты меня выпустишь. Как, вина достаточная, товарищи?..

— Достаточная... хватит.

— Чего его мучить зря!..

— Жрать охота! — такие уже раздавались возгласы отовсюду.

— Погодите, погодите... зеленые атаманы! — с вкрадчивой дерзостью остановил их Юда и протискался вперед.

Общее внимание приковалось теперь к нему, а он глядел на Мишку, взглядом требуя согласия на что-то. Мишка, весь багровый от негодования, чесал себе правую щеку, а левую руку, сжатую в кулак, держал вдоль тела. Юда выжидал, а Брыкин опять стал оседать, точно окончательно сломился тот

стержень, на котором держалось его человеческое достоинство. Гарасим переменил руку и опять поддернул Брыкина вверх.

— Скоро, что ль? Вся рука затекла,— недовольно сказал он.

— Счас, счас... Я вот жду,— сказал Юда тихо. — Миша,— прибавил он еще тише. — Я жду! — И все видели, как Мишка отрицательно покачал головой.

Из печки вывалилась горящая ветка и чадно горела на железном листе, набитом перед печкой.

— О чем это ты, Юда? — спросила Настя, и голос ее дрогнул. Она вызывающе смотрела на Юду, но Юда не ответил.

— Ну, раскрой им свою тайну, Егор Иваныч,— властно и в самое ухо, точно будил, сказал Юда.

А уже был брошен последний камень осужденья в Брыкина. Все лежавшее втуне на памяти у барсуков дружно обнажило свои смыслы, остриями направленные в Егорово имя. Вспомнилось, как пропадал он днями в долгих отлучках, а потом хвастливо угощал папиросками соседей по землянке. Как однажды, зайца приняв за человека, убежал в лес и разговаривал с зайцем... И сам Жибанда только тут сообразил о проскользнувшем мимо него брыкинском лице в незабываемую ночь похода на Гусаков. Сам Егор уже не слышал ни отдельных возгласов барсуков, ни точных и упорных вопросов Юды, которыми тот предварял свой последний удар. Расслабленное сознание Брыкина окутывалось дремой. Он открыл глаза и увидел тихие, мягко мерцавшие из-под ресниц глаза Юды. Но они жгли его и побуждали к действию.

— Братишки... — задыхаясь и всхлипывая, вскочил с обрубка своего Брыкин с открытым ртом; он делал руками движенья, точно играл в жмурки, точно не видел уже ничего вокруг себя и ловил наугад. — Братишки... А ведь Петьку-то Грохотова это я убил! Не он, не он, а я... я! — и всем телом вытянулся в жест, указующий в молчащего Семена. — Не он... Как я уехал в лес, топор забыл. Я и воротился задворками, меня никто не видал... А лошадь в Бабашихиной оставалась. Дома взял топор, побежал рожью назад, в Бабашихину-т рощу. А как бежал, тут и увидел во ржи: мужик с Аннушкой... Я махнул тут топором-те... да все рожью, рожью, в лес! Рожь-те примята была... черная тужурка на ём... со ржи пыль несло... Я-те думал, что в Половинкина попал, ан не Половинкин!.. На топорище-т и осталась кровь... — Он кричал все пронзительней, мечась по зимнице, и барсуки расступались, давая Брыкину

место для последней суетни. — Не он!.. Ограбил ты меня, Семен Савельич! Все ты у меня взял, все... отдай, отдай мне мое! — рыдал Егор, цепляясь и руками и зубами за Семена. Было нехорошо смотреть на него в ту минуту, как и на Семена, отпихивавшего Брыкина коленями и кулаками.

Барсуки из чувства стыда за Семена молчали, и никто не бросил в Семена на этот раз осудительного слова. Некоторые из барсуков отвернулись даже, только Юда, стоя близко, не сводил глаз с ползавшего Брыкина, точно подбирал минуту, чтоб прекратить этот невозможный для слуха и зрения Егоров исход.

— Сеня, молчи... ничего! Не упади... не упади только... — жарко шептала Настя, уже не скрываясь от барсуков. — Твердо стой. Бей, делай что хочешь... не стой так, ну!

И Семен выстоял.

— Ну, летучая, как же про него порешим? — спросил он, с лицом почти спокойным.

— Чего же его мытарить! — недовольно сказал Федор Чигунов, глядя на ноги Семену. — Нехорошо даже.

— Даже есть расхотелось! — удивленно вздохнул Петька Ад, весь в поту.

— Сам себя человек губит... и никто его не губит, а сам доходит до всего,— проворчал Стафеев.

— Распорядись, Миша! — заключил Семен и пошел вон из зимницы.

Настя пошла за ним.

— Дело поправимое... — намекающе шепнул Юда ей, проходившей мимо.

— О чем это он гнусит?.. — задержал шаг Семен, медленно повертывая к нему лицо.

— Иди, иди... я потом скажу тебе, иди! — просительно шептала Настя. — Я вернусь скоро, ступай!

...Тешка и Федор Чигунов подхватили под руки ослабевшего от крика Брыкина и повлекли вон из зимницы. На снежных ступеньках лестницы, сводившей в зимницу, растолкал барсуков Петька Ад.

— Товарички, а товарички... Дозвольте ему покурить, а? — торопливо забормотал он, готовый к тому, что его осмеют, ударят, прогонят. — Егор, а Егор... — почти умоляюще залепетал он, тряся Брыкина за плечо. — На, закури! Нá, завтра уже не закуришь, на...

Он старательно натряс из кармана две щепотки махорки, все свое табачное богатство.

— Бумага у меня есть, счас дам... — сказал Юда и хлопнул Петьку по спине. — Вот дрянь... А утром я просил, так не дал!

Барсуки теснились кругом, тайком друг от друга наблюдая, как, присев на мокрый, растоптанный снег, старался Егор завернуть бумажку.

— Дай уж я тебе сверну... — выступил Дмитрий Барыков. — Ишь руки-те у тебя!

Он ловко сделал самокрутку и вставил ее Брыкину в рот. Лука Бегунов поднес огня. Егор курил порывисто, давясь дымом, глотал жадно, точно вместе с дымом хотел заглотнуть как можно больше и этого сумеречного неба, и снега на деревьях, и самих деревьев. Заметно было, что приторно-едкий дым махорки был ему отраднее и сытней холодного широко-снежного воздуха. Так в молчании прошла минута.

— Ну, хватит с тебя,— сказал Юда и уверенным щелчком выбил тлеющий табак из Егоровой самокрутки.

Огонек упал в снег и затух.

XVIII. У НАСТИ В ПЛЕНУ

По скользким тропкам, еле приметным в сумерках, Настя побежала отыскивать Семена. Стояла оттепель, снег стал вязок, и даже на утоптанной дорожке проваливался след. Чудилась капель,— таким звуком был напитан воздух.

Она нашла Семена на том пне, куда, она знала, ходил Семен в минуты участившихся упадков. Чутьем догадавшись, что он тут, она подходила осторожно, точно боялась спугнуть свою добычу шорохом задержанного дыхания. По звуку ей показалось даже, что Семен плачет, но это было неверно: обманчивы сумеречные шелесты леса. Настя, вытянув шею, старалась рассмотреть его и сломала сучок, на который поставила колено.

— Это ты? — спросил, не оборачиваясь, Семен.

— Да.

И почти одновременно с этим он ощутил властное и спокойное прикосновение холодной Настиной руки.

— Ты — не надо. Все равно уж теперь. Ну, о чем ты? — и продолжала гладить его по щеке любовно и утешающе.

— Проиграли мы, Настя,— неуверенно сказал он и не гнал ласкающую руку. — Расползлись... Подкрепленье обмануло.

— Рано еще. Вот весна придет, по весне и разольемся. В Бедряге, говорят, опять замутилось... — выдумала Настя наугад.

— Не о том, не о том... — раздражился Семен и вдруг, откинув Настину руку с лица, встал. — Ну что ж, пойдем куда-нибудь!

— Ты простил, простил меня... да? — заволновалась Настя и уже влекла его за руку куда-то вдоль опушки по рыхлому, глубокому снегу. Вдруг она обернулась и заглянула ему в глаза: — О чем ты думал сейчас, скажи?

— Не скажу. — И Семен, взяв за сучок, отряс от снега можжевел, стоявший возле них. — Посох для бродяги хороший выйдет! — вслух подумал он и прибавил Насте: — Не о тебе только...

— Ты о Мишке думал, я знаю. Думаешь, уйдет? Нет, — сказала она уверенно. В небе выкатывались звезды, подмораживало. — Мишка весь мой... Ты лучше за меня держись! — Она, кажется, смеялась. — Вот в Юде теперь все дело, он мутит. А Юду убить можно... Но ты сам убей его! — Они опять шли, а Настя раздумчиво обсуждала выходы, которые им оставались.

Так они шли до сторожевой землянки. Уже стемнело. Высокий сугроб лежал поверх наката, и дверь, казалось, вела куда-то в снег. Семен стоял в нерешительности, будто не понимал, зачем на бесцельном их пути встретилась теперь землянка. Тут сухой выстрел раскатился по верхушкам леса, и следом за ним — второй. Семен не слышал Насти, звавшей его из растворенной уже двери.

— Тут одной ступеньки нет, не поскользнись! Ну, скорей же... — Она запирала дверь на засов. — Теперь ты в гостях у меня... в плену! Тебе ничего, что жарко у меня? Я люблю жарко, с детства привыкла... — Она сама обжигающе смеялась, а Семен впервые видел ее такою.

Он стоял у печки и недоверчиво, исподлобья, наблюдал Настю, суетившуюся по землянке. Фитиль коптилки, лениво колыша пламя, с шипеньем облизывал черепок, где уж не оставалось горючего.

— Вот... от обеда осталось. Ты не хочешь есть? Ешь, я разогрею. Нет? Ну, тогда кури. Вот у меня есть, Мишка подарил. — Она положила на крохотный столик папиросы горстью и села против Семена, вся звеня смехом. — А ты думал, убежишь от меня? От меня нельзя убежать. Ты туда не гляди, —

она досадливо кивнула на дверь,— ты на меня гляди! Ведь ты знаешь, я все равно подстерегла бы тебя... не на Брыкине, так...

— Брыкин меня в Москву вез,— вспомнил Семен и барабанил пальцами в лавку, на которой сидел.— Как его захлестнуло-то!

— Брыкин? Что Брыкин! Брыкин — дым. И Мишка — ничто... — Она села на ту же лавку, где сидел Семен. — Ты ведь если захочешь, ты их вот так, вот так... — Она хрустела пальцами и жгла дыханием серое, большое Семеново ухо. — Ты, да вот Юда еще... Но Юду можно убить, я уже говорила тебе. Ты замани его в лес, вот хоть бы в Исаеву Сечу... Или, еще лучше, в Матвейкин сосняк, а там один на один! Хочешь, я Мишке велю?.. Ведь они в одной землянке живут, проще и не придумать... — Она о чем-то напряженно думала. — Но послушай, отчего ты сам не убил этого Петьку?.. И ведь он прав, пожалуй, ведь ты ограбил его, Брыкина! Ведь он только это и свершил за весь свой срок... Ничего, ты не хмурься! Ты мне даже ближе теперь, потому что я знаю про тебя. Ты непонятный, а я понимаю! Ну-ну, не сердись... — Она сделала движение поцеловать его, но Семен откинулся, как в испуге, и поцелуй пришелся в бороду. — Обстриги! — обиженно бросила она, готовая заплакать. Ее взор упал на папиросы, она взяла одну, закурила и тотчас же бросила, недокуренную. — Какие горькие! — сказала она, кашляя с дымом.

— Стучат, кажется... — прислушался Семен.

— Стучат?.. — прислушалась и Настя и побежала к двери. — Это ты, Миша? Здесь у меня Семен, слышишь? Уходи, здесь у меня Семен. Не хочу больше тебя! Беги, ну... — кричала она через дверь.

Больше не слышалось ни звука из-за двери.

— Ушел,— сказала Настя, стоя у двери. За приспущенными ресницами теплилось черное пламя ее глаз.

— Зачем ты так? — поморщился Семен и закрыл лицо руками.

— Не смеет входить, когда ты здесь,— убежденно произнесла Настя. — И все равно теперь! — прибавила она через минуту, садясь рядом.

Семен глядел в ее лицо и впервые видел малую впадинку кори на ее щеке. Вспомнилась родинка Кати, та была выпуклая. Семену хотелось еще рассмотреть Настину конопатинку, но в ту минуту фитиль отчаянно мигнул и потух.

— Всегда это он у тебя так тухнет? Вовремя... — засмеялся Семен, а голос его был груб и горяч. Теперь ему уже почти безразлично стало все, чем грозила близкая весна.

...Этот выстрел был как бы последним словом, которым мир оценил Егора Брыкина. Похоже, будто бросили Егора со всего размаха в глубокие воды людского забвенья: колыхнулись темные и затихли. Одно лишь осталось в напоминанье: Петька Ад, гонимый по путям жизни добротою большого сердца и суеверьем малого ума, вырубил топором три десятиконечных креста в разлатых елях, возле места Егоровой гибели. Три и десятиконечных — потому, что уже забыл Петька веру отцов и знал одно: чем больше у креста концов, тем истовей крест, и чем больше самих крестов, тем действительней на всякую беду. Февральские морозы хвастливы. Древесина трех елей, обнаженная крестами, проиндевела, и, когда сумерки, мерцали кресты робкой инейной белизной.

Тот же выстрел по Брыкину отметил в мокрых скучных днях начало новой Настиной связи. Была она подобна последней вспышке бурного огня на догорающем пожаре. Имелась какая-то смутная последовательность в том: когда-то в юности — робкая лампадка в снегу, потом, в снегу же,— холодное горенье папороти, и вот — огонь в снегу; Семен, потерянный и скользящий, целиком отдавался на Настину любовь. Ночи для них стали коротки и недостаточны для неистовств задержанной любви.

А тут еще немного подвалило снега: им-то и обновилась белизна равнин, тронутая кое-где проталями. Расстояния опять удлинились, и мнились Гусаки в столь дальней стороне, куда не доскакать в неделю даже и на Гарасимовых конях. Туда теперь уходили Семен и Настя в сопровождении отряда, там и вели свои любовные шалости, по дерзости граничившие с безумством. О Мишке, безвыходно сидевшем в землянках, вспоминали с чувством смущенной жалости. С того вечера, как допрашивал Брыкина, задичал Мишка, стал бросаться в несуразицы, которыми отгораживался от тоски. Сперва хор песенников завел из лежебоков, какие поленивее,— пели во всю глотку, на весь мокроснежный лес, но через неделю падоело: леса доверху не накричишь. Потом собрал артель,— столярили столы с господскими капризами, один затейнее другого: бесилась остановленная в разбеге сила. Потом стал Мишка в одиночку гореть: целые ночи усердничал обломком сапожного ножа над непослушным дубовым поленом. Плохо слушалось

дерево, а резал Мишка, в посмешище тоски своей, розан неестественной величины. И все же, едва вечер, шло само собой его воображенье по заветной тропочке, между можжевеловых кустов в пустую землянку Насти.

Однажды — опять пробуждалась весна — домой вернулся Юда поздней ночью:

— Все кромсаешь! Ишь, даже и рукава засучил... — пошутил он, садясь возле, с недоверием глядя на Мишкино изделие; тот не откликнулся и молча закурил предложенную махорку. — Семь пудов мяса раздобыл да еще свинку одну реквизировал! — сообщил Юда. И опять Жибанда не ответил, точил нож на камне, пыхал дымком. — Миша,— заговорил проникновенным голосом Юда,— слушай меня хорошо, Миша. Это ведь я тебе тогда шапку прострелил. Я нарочно так и стрелял, чтобы не убить. Я человек такой, что обиду до конца помню, не могу простить, забыть — у меня сил не хватает, я и хотел напомнить тебе! А я — открытый человек, я и говорю тебе: меня бойся, Миша! Наши дорожки узкие, муравейные. И очень я тебя люблю, а укараулю... Разобидел ты меня, Миша, до слез разобидел!

— Чем же это? — щурясь от дыма, ползшего из самокрутки, спросил Жибанда и посмеялся.

— Бабу ты свою проворонил, а дружку своему, который ровно брат к тебе, потешиться не дал. Очень плохо! Уж у этого ты теперь не вырвешь, тю-тю. Я бы и сам мог, без спросу, да без спросу не хочется... Все и дело-то в том, чтоб твое дозволеньице иметь. Эх, Мишка...

Жибанда глядел на Юду, так стиснув нож в руке, что досиня напряглась какая-то жила вплоть до самого локтя.

— Вот и теперь обижаешь,— спокойно сказал Юда и покачал головой на нож. — А ударить ты меня все равно не ударишь... нельзя брата прямо с лица бить! Хуже потом для тебя же будет, потому что ты человек совестливый, я знаю.

— Уйди ты, Юда, куда-нибудь... хоть на минутку уйди,— с волнением попросил Жибанда, кривя лицо, точно глотал горькое, противное.

— Не могу уйти, поколь все не выскажу. Баба твоя, прямо скажу, пустяковая. Только кажется, будто есть что-то в ней. Мы таких по прошлому году... Конечно, как бы лампадочка в ней, затушить лестно... Э, да что там!

— Да уйдешь ли ты, чертово дупло?! — завопил Мишка, вскакивая.

Юда все стоял, глядел на дубовый розан, обдергивая поясок.

— Уйду, да... — грустно сказал он. — Пойду, начальнику твоему скажу, новости передам. На станцию я вчерась заходил. Мы-то вот и не знаем еще, а там уже все готово... Бронированного поезда ждут завтра, немаловажный гость на нем. Комиссаром смерти, вишь, его кличут! — И Юда тихо рассмеялся такому небывалому слову. — Ну, ты не горюй, Миша. Не вечно ж нам тут сидеть. Да-кось я тебе махорочки отсыплю... Вот в эту хоть посудинку! — И он горстями стал насыпать махорку в тот резной цветок, над которым четыре ночи протосковал Мишка.

XIX. АНТОН

Брыкин был щелью, сквозь которую вытекали известия о барсуках в уезд. Но щель заткнули, и даже слухи смолкли. Шло время, набухали почки на деревьях, шумела теплынь в телеграфных столбах, почти обсушились дороги. Тут удар: барсуки сковырнули с насыпи поезд, шедший с продовольствием в уезд. Не прошло дня, новое: барсуки пьянствуют под самым городом, в бывшем монастыре. Еще через день опять: барсуки, числом шестьдесят человек, с песнями прошли по главной улице уезда и скрылись в неизвестности.

Теперь уже ежедневно, даже вошло в привычку, рассылал Брозин тревожные, призывающие жалобы. Не было уже в них никаких словесных украшений, а один сплошной вопль тонущего в бурных водах половодья. Поэтому в губернии вняли наконец брозинским призывам. Из губернии был послан товарищ для обследования. Этот налетел как буря, дал Брозину нагоняй за несообразительность, даже пригрозил сместить. После того товарищ отправился на мотоциклетке в Гусаки, чтобы на месте вникнуть в корень всего дела. Однако до Гусаков он не доехал, расследования не произвел. Барсуки, осведомленные теперь обо всем, протянули через дорогу проволоку, скрученную впятеро, как раз на уровне шеи. Мотоциклет, прокатя после того еще несколько сажен, завяз в ольховнике, пугая необычным треском вечерних воробьев, безмятежным чириканьем встречавших весну.

Весть о гибели товарища была последней, которую прошумели телеграфные провода. На другой день провода оказались перерезанными. Это всколыхнуло губернию. За

подписями, более действительными, чем незначительное имя Брозина, было послано сообщение в центр. И не прошло дня, как уже, минуя станции и полустанки, гремя сталью на стрелках, несся поезд туда, где маячило угрозой бунтовское имя Семена Барсука.

Поезд прокатил мимо остатков разбитого эшелона, лежавших под насыпью, в грязноталом снегу, и остановился на станции, с которой когда-то ехал жениха́ться в Воры Брыкин. На станции еще с утра ждали прибытия каротряда сам Брозин и председатель уездного исполкома. Имя приезжающего товарища было уже связано в их представлениях с понятием о спокойной воле и твердой неустрашимости,— то, чего как раз недоставало Брозину. Знали Антона и как неоднократного укротителя многоразличных бурлений, ждали не без некоторого смущенного волнения.

...Закатывалось солнце. Его косые, ленивые лучи равно́мерно ложились и на вылезший из-под снега песок насыпи, и на дальний бурый лес, и на облезлые стены станционных строений, сообщая всему блекло-оранжевый отлив. Блестело оранжевое же в рельсах, убегавших в холодную весеннюю тишину, блестело в четких паровозных частях, шипящих, дымящих, истекающих смазкой. Поезд был не бронированный, Юда солгал, но паровоз был хороший, чудом уцелевший от паровозной чумы. Пятнадцать новеньких теплушек и один пассажирский вагон не составляли для него какой-либо обузы.

Брозин стоял на станции вместе с предисполкома, рассеянно наблюдавшим, как из теплушек выскакивали Антоновы люди, и глядел на небритую, впалую, с обвисшим усом щеку предисполкома, также окрашенную светом опускающегося солнца. Огромный простор лежал вокруг, и весь он трепетал, казалось, животворным весенним вольным духом. Брозину стало прохладно в кожаной тужурке.

— Сергей Семеныч... — позвал он предисполкома. — Зайдем, что ли, в вагон к нему знакомиться, а?

— Так ведь он сам выйдет сейчас... стоит ли? — колебался предисполкома, пощипывая редкие волоски своей бородки. Он повернул к Брозину скуластое мужицкое лицо, защурились маленькие и грустные его глаза. — Что тебе в нем? Центровик как центровик, и ничего боле!..

— Ну так что ж! — попетушился Брозин и попросил папироску, но папирос у предисполкома не было. — А большого, знаете, размаха человек. В губкоме его очень хвалили,— и пых-

нул воображаемым дымком. — В Самаре в неделю справился! — видно было, что он гордится приехавшим Антоном. — Новости московские порасспросим, а? — соблазнял он предисполкома, но тот все глядел, не моргая, на мутневший диск солнца, покидавшего на ночь его уезд.

— А ну и зайдем, пожалуй,— нехотя согласился тот, затопорщив брови и отрываясь от солнца. Он еще шире распахнул свой полушубок. — Жарко становится,— сказал он. — Пойдем, пойдем... я не отказываюсь!

Люди галдели и топтались на защебененной платформе. Один какой-то, рослый и в шапке-кубанке с красным донцем, дружелюбно мял другого, латыша, крупного, невозмутимого, стоявшего, как гора супеси,— обхватывал за плечи, за шею, силился пригнуть к земле. Остальные стояли кругом, задорили, шутливо советовали гнуть ниже, обхватывать плотнее. В стороне несколько хозяйственников щепой и мокрой соломой разводили огонь под чайником, висевшим на штыке; штык был вбит в дерево, уже облепленное весенними почками. Хозяйственники внимательно проводили глазами предисполкомова спутника, побежавшего вперед.

— Посудинка-то уж больно мала у вас, скудна... — сказал предисполкома, кивая на чайник. — Не хватит на всех-то!

— Нам эта посудинка три похода выслужила. Колчака с нею били,— сказал один, самый неказистый с виду, глядя себе за пазуху, за оттянутую гимнастерку. Он поднял глаза на остановившегося возле него предисполкома, и оба засмеялись: маленький сидел на доске, оторванной неизвестно откуда. — Она не нужна там, валялась... — оправдался маленький, плотнее усаживаясь на доску, о которой намекал. — Без дела торчала.

— То-то без дела! — усмехнулся предисполкома и пошел дальше.

...Они поднялись на площадку пассажирского вагона; часовой потребовал документы. Брозинские щеки зарумянились, и пока целых три минуты искал в карманах какой-нибудь бумаги, ощущал особенно ярко, что он совсем не страшный, а даже маленький во всем том урагане, который приходит внезапно и глубоко разрыхляет слежавшиеся, обесплодившиеся слои. Первым проходя в вагон, он вдруг сгорбился и оглянулся на предисполкома: тот уже застегнул на все крючки свой нагольный полушубок. Что-то поняв, Брозин хотел сделать то же

самое, но запутался в пуговицах, застегнул как-то вкось, опять расстегнул, смутился и тут увидел Антона.

Перегородки в вагоне были убраны. Было пусто и просторно. Оранжевые блики на стене, падавшие в окно, служили ныне единственным украшением неприютного Антонова жилища. У задней стены низкая дощатая койка на поленьях была застлана серым одеялом с каемкой. Два окна забиты досками, одно сверх того завешено полосатой матрасной тканью, по четвертому звездами разбегались трещинки, имея центром дырки от пуль. Все говорило о долгих и опасных мытарствах, вынесенных вагоном в путях товарища Антона. Стоял еще стол возле койки, на нем лежала бумага и почему-то горела свечка — пламя ее, еле приметное в солнечном блике, качалось. Ни книг, ни хлеба, ни оружия не лежало больше на столе; даже газеты отсутствовали. Сам Антон, оранжевый от солнца, несмотря на зеленую гимнастерку, неподвижно стоял возле пятого по счету, пыльного и немытого окна и, не моргая, глядел на расстилавшиеся вокруг станции дымчатые, оранжево-голубые пространства.

— На виды наши любуетесь?.. — улыбчато сказал Брозин, ощутив прилив бодрости, потому что справился наконец с пуговицами, прежде чем увидел его Антон.

— Здравствуйте, товарищи! — не сразу произнес Антон и сделал шаг к вошедшим, а Брозин сразу заметил, что приезжий хром.

— Вот... погреться зашли! Замерзли, как два цуцика... — улыбаясь, сказал Брозин и тотчас же упрекнул себя за непозволительную фамильярность тона. — Холодно у нас тут! Весна наша не особенная... — и искал папирос на Антоновом столе, но папирос там не было. — Чего-нибудь курительного нету у вас?.. — заикнулся он, стремясь придать себе простоту и общительность в глазах Антона, но курить ему уже не хотелось.

— Это ты и есть здешний председатель? — не без любопытства спросил Антон, охватывая Брозина коротким взглядом.

— Нет, не я... Это вот он! — испугался чего-то Брозин и обернулся к предисполкома.

Тот стоял в тени, глядя на горевшую без смысла свечу.

— Ну, здравствуй, — сказал Антон, подходя к предисполкома; тот поднял глаза. — Что это вы тут бедокурите?

— Мужики! — вздохнул предисполкома и переступил с ноги на ногу.

— Мужики, чего вы хотите! — повторил сбоку Брозин. — В хвосте революций, товарищ! Возьмите вот хотя бы французскую... Например, Вандея!

— Ты что ж, в газете местной работаешь? Пишешь, что ли? — прервал уже без всякого любопытства Антон, глядя в полуоторванную пуговицу брозинской куртки.

— Статейки иногда... работы много! — заторопился Брозин и ждал, что Антон спросит его о месте службы, но Антон не спросил.

— Будь добр, поди позови сюда начальника станции,— не меняя тона, попросил Антон, все глядя на несчастную пуговицу. — Найди и приведи...

— Часовому сказать?.. — поправил вопросом Брозин.

— Как же часовому? Часовой, значит — ему на часах и стоять. Ты сам сбегай! — убедительно проговорил Антон и отвернулся к предисполкома. — Садись вот тут, поговорим давай... — Антон указал на койку, по которой разлеглись теперь рябые оранжевые полосы. — Кури, если хочешь, сам-то я не мастак по курительному делу. Так, на всякий случай, имею... — и достал из корзиночки, стоявшей под койкой, уже распечатанную пачку папирос. — Возьми себе одну папироску! Это тебя Сергеем зовут? Ну-к, вот тебе Никита кланяться наказывал, он теперь там у нас по военному делу орудует... Помнить велел!.. Сам-то из мужиков, что ли?

— Да, я здешний. Да ведь и Брозин здешний... вы напрасно на него давеча напустились. В нем масштаба, конечно, нет, мужиков опять же не знает! Вот насчет Зинкина луга напутал... А так вообще он хлопотливый, преданный, ничего... — конфузясь, говорил предисполкома. — Я-то на крахмально-терочном тут работал...

— На крахмальном! — Антон помолчал. — Патоку-то ведь там же выделывают? Я вот, кстати,— начал он, усаживаясь плотней и разглаживая обшлаг гимнастерки,— давно интересовался... Картофель после варки... что там с ним делают? Мнут, что ль, его как?

— Да его и не варят совсем... — полусмущенно улыбнулся предисполкома, стряхивая в ладонь пепел с папироски. Он недоверчиво заглянул в лицо Антона, но там не было и тени какого-либо заигрыванья. — Такое корыто, как бы винт посреди... он картошку моет и проганивает. А потом в валеру! Там...

— А валера это что? — спросил Антон.

— Валера-т? Ну, чан такой, аршин шесть впоперек,— и опять усмехнулся предисполкома; и опять машинально стряхнул табачный нагар. — А потом вакуум-аппарат... туда, конечно, серная кислота прибавляется...

— Для чего?

— Как для чего? — простодушно удивился вопросу предисполкома. — Для производства!

— А! — сказал Антон и как будто тоже усмехнулся. — Ну, серная кислота...

— Да вот, серная кислота... У меня вот до сих пор ожог от нее. Брызнуло как-то, черт ее знает...

— И у меня тоже ожоги были на руках... только у меня не от серной! — вскользь заметил Антон.

— Так ведь это часто у нас чего-нибудь выходит. У меня вот братеня в этой самой валере замотало. Он полез чистить валеру-те, а там весла такие, картошку с водой мешают. Мастер спьяну пустил машину, ну, братеня и начало хлестать! Как чиркнуло по ногам, он так и перекувырнулся... Его по голове тогда... Он опять перевернулся, и опять его по голове. Обрубок заместо парня вытащили! — Предисполкома становилось говорить гораздо легче, чем вначале; он удивился и опять заглянул Антону в лицо.

Тот был широк в плечах, и всего его, угловатого, плотно и скупо охватывало зеленое сукно. Нигде не видно было ни одной пуговицы: пуговицы были спрятаны у него. Солнце падало ему на коленку, она была широка, со впадиной; чашка была ниже и сильно выдавалась вперед. Лицо Антона было серо, точно всю жизнь в сумерках прожил.

— Много вас там работало? — спросил Антон, и хоть был строг его вопрос, не было от него холодно.

— Пожалуй, около сотни что-нибудь. Да нет... и сотни не выйдет! На крахмальных ведь только по осени и работа, когда картошка. Да и, как сказать, мужики ведь работают. Вот нас оттуда только трое и вышло!..

— Но ведь и другие заводы есть? — спросил Антон.

— Как же! — дернулся вперед предисполкома. — Пеньковых есть два, льнопрядилка еще... Маслобоек вот четыре цельных!

— Лесопильный еще... — спокойно вставил Антон, снимая пылинку с гостева колена.

— Это какой лесопильный? — удивился предисполкома.

— Да Егоровский-то!

— А! Да ведь сгорел Егоровский-те, в позапрошлом году сгорел,— и виновато поиграл пальцами. — А вы что, бывали у нас раньше?

— Приходилось,— неопределенно отвечал Антон и отошел к окну. — Ты меня зови на «ты», я не люблю... — прибавил он уже от окна.

Вечер уходил. Оранжевые полосы лениво ползли по вагону. В соседней теплушке пели,— в припевы пламя на столе начинало дрожать: песня была громкая, задорная.

— Там что... Суския виднеется? — спросил вдруг Антон, показывая на белую, в меркнувших потоках солнца церковь.

— Не-ет, это Бедряга! — поправил предисполкома.

— Ну да, забыл! Суския же потом... — чуть заметно смутился Антон.

— Нет, сперва будет Рогозино, четыре версты... а потом уж Суския.

— Верно, верно... — И Антон впервые за все время разговора улыбнулся. Улыбка у него была какая-то губная: улыбались одни губы, глазам же не было никакого дела до губ, у них было свое занятие — глядеть.

Тут щелкнула ручка двери, вошел Брозин, а из-за спины брозинской высматривало красное потное лицо. Брозин был роста высокого, и даже, пожалуй, чересчур. А потное лицо сунулось вперед, но попало в пучок лучей и тотчас же пугливо откинулось назад.

— Иди сюда, поближе... вот сюда иди! — сказал Антон, не двигаясь от окна. — Это ты начальник станции?

— Нет... я помощник,— взволнованно отвечал тот, отрицательно покачал головой и взмахнул фуражкой. Руку с фуражкой он держал вдоль тела, правую руку держал на ремне; на пальце его блестело обручальное кольцо. Он был в синей ластиковой рубашке, но холодно ему, очевидно, не было.

— А начальник где? — поморщил лоб Антон и почесал руку выше кисти.

— Уехал-с. Телку-с поехал случивать... Хотел заодно уж и к жене заехать, у них там жена живет-с!

— А звать как? — спросил Антон, отходя к столу, где бумага.

— Жену-с? — покосился потный на предисполкома.

— Не жену, а этого вот... начальника твоего.

— Его — Аркадий Петрович, а жену...

— Да нет, не то! Я фамилию хочу узнать. Какой он мне Аркадий Петрович! — без тени раздражения оборвал Антон, наблюдая, как при каждом дыхании помощника двигалась заплата на его рубашке над ремнем.

— Усердов ему фамилия. Аркадий Петрович Усердов! — почти выкрикнул помощник, изнемогая от самых различных ощущений.

— Не больно усерден... — холодно сказал Антон, приписывая что-то на узкую полоску бумаги, уже исписанную на две трети; кстати он пальцем притушил свечу. — Ты, будь добр, не отводи меня на запасный. Ночью съезжу в губернию, а вот утром... там уж твой гость! И потом, там в паровозе неисправно что-то... Сделай услугу, поправь до ночи. Там тебе машинист скажет что. — И только тут заметил: — А кольцо где же? Вот на руке у тебя было?

— Снял-с,— с вытаращенными глазами и в ужасе прошептал помощник.

— Зачем же ты снял кольцо, чудак ты, я ведь не украду... — неприязненно улыбался Антон.

— Обручальное-с! Может, думаю, не понравится. Я и снял-с...

— Ты сколько лет на этой дороге служишь? — строго спросил Антон.

— Пятнадцать... — совсем тихо сказал помощник, и заплатка на его груди задвигалась быстрее.

И снова комиссар Антон глядел в окно. Солнца уже не было. Зайчики на стенах потухли. В вагоне сразу наступили сумерки. Брозин, склонясь к уху предисполкома, убеждающе шептал что-то.

— О чем вы там?.. — обернулся Антон.

Предисполкома жевал папироску, потом наклонился и взял свою шапку с койки.

— У нас вчера беда тут случилась... — Он поморщился. — Товарищ из губернии... поехал в Гусаки, село у нас такое!.. Ну, а барсуки проволоку протянули. Так вот тело его сейчас привезли... Приказ был доставить в губернию.

— Может быть... — вкрадчиво начал Брозин, и в голосе его проскользнула большая искренняя убежденность. — Я вот тут предлагал... митинг бы для ваших ребят устроить по этому поводу, а? Я бы мог выступить, потом вы, да и он тоже...

Антон будто не слышал.

— Пойдем сходим к нему,— сказал он, не выделяя слов, и пошел в угол накинуть на плечи шинель. — Он где?

— Там, за платформой, у дороги... — почти шепнул Брозин.

Они вышли из вагона и перешли платформу. Горели костры под насыпью, толкались у походной кухни люди. В небе, еще не утерявшем голубизны, сияла первая звезда. Стало совсем прохладно и дрожко.

Крестьянская подвода стояла сейчас же за телеграфом, привязанная к столбу, где когда-то стояла иконка, на которую крестился Брыкин в приезды домой. Понурая клячонка вяло жевала сенную труху, кинутую прямо на снег. Несколько человек из приехавших с Антоном стояло кругом. Сам возница, мужик в валяной шляпе и с неразборчивым лицом, отошел за надобностью подальше в поле. Антон подошел к телеге и, приподняв рогожку с лежавшего под ней, долго глядел. Брозин засматривал через его плечо, хотя места и было достаточно.

— Ишь ведь как они его... догадливо! — как бы про себя и кривя губы сказал Антон и обратился к подошедшему вскоре вознице: — Вы там хоть бы лицо ему отмыли! — тихо упрекнул он.

— Прикасаться не велено! В прежни-то времена так за это бы знаешь как?.. А не токмо что! — с пронзительной готовностью прокричал возница, помахивая снятой шляпой.

— Та-ак,— медлил Антон и все глядел на мертвого. Брозину, забежавшему с другой стороны, показалось, что один глаз у Антона стал меньше другого. — Ты его знал? — спросил Антон у предисполкома.

— На партконференциях встречались... Башковитый, из губкома он!

— А... из губкома, говоришь? — повторил Антон и осторожно опустил рогожу, точно боясь разбудить. Была необычайная торжественность в этом: чужой человек молча приветствовал чужого же, но о котором знал уже, казалось, все, с которым связан был кровней, чем с братом, и которого впервые видел обезображенным. Весенняя тишина была чутка, глубока и холодна, как родниковое озеро. Меркли тени.

— А ну, товарищи,— сказал Антон своим, стоявшим вкруг без шапок. — Вы снесите его ко мне в вагон. Он со мною в губернию поедет. — И, заметней хромая, отошел от подводы.

Какая-то птица пересекла воздух, шумя твердым, негнущимся крылом.

— Мы вон там и присядем,— сказал он уездным и показал на раскиданные возле стрелки шпалы.

— Митинг-то как же?.. Будем устраивать? — настоятельно лез Брозин, падая духом.

— Эк какой нескладный ты! Кого ж ты митинговать-то будешь — меня, что ли? — досадливо повернулся Антон.

— Нет... зачем же вас! — замялся тот. — Вон их... — Он кивнул на пылавшие в отдалении огни.

— Так их нечего уговаривать,— криво усмехнулся Антон, садясь на шпалу. — Они крепче нас с тобою стоят. Моих пятьдесят человек положение на фронте не раз спасали... понял?

— Понял,— ошеломленно повторил Брозин и, чтоб выйти из неловкости, спросил: — А вот ногу вам... тоже на фронте, значит, подранили?

— Нет, это еще с детства у меня... — недовольно откликнулся Антон и обернулся к предисполкома, досадливо мявшему хрусткий весенний снег в ладонях. — Ну, рассказывай...

XX. ВНЕЗАПНО ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОВИНКИН

...Глубокие снега — малые воды. Не случалось в тот год ни бездорожья, ни долгой пасмури. В неделю сошли льды с Мочиловки, а снега с полей. Засверкал зеленью Зинкин луг, веселая вставала озимь. Потом буйно вскурчавились леса, и дни пошли заметно крупнеть.

Пахали,— хорошо было птицам смотреть сверху на распаханные квадраты земли. Погожие дни не замедляли обычного порядка работ. За пахотой пришел срок посева. Сеялось вольготно, даже радостно, точно яровым хотели заслонить от памяти тяжкий грех минувшей осени. Из-за весенних работ распался сам собою половинкинский отряд: мужиков тянула земля. И хоть никто не тревожил теперь мужиковского сна и совести, владело мужиковскими ночами томленье духа. А события пошли уже со скоростью огня, когда мчится он по сухому полю, подгоняемый ветром.

Поезд Антона стоял по-прежнему на запасном пути. Туда и ездили с докладами и председатели волостей, и власти уездные, и власти заводские: на то имелась бумага у Антона, а на бумаге — самая большая печать. Самого Антона как-то не приходилось видеть никому. Приезжих принимал Половинкин, записывал цифры, хвалил, ворчал,— заменял Антона. А в это

время уже были расклеены по волисполкомам короткие уведомления, подписанные самим Антоном. Извещалось полное прощение всем мужикам, преступившим по недомыслию закон и совесть, буде явятся они к Антону, начиная с 12 сего мая. О дезертирах и барсуках не кинуто было ни одного, хоть крохотного, хоть сколько-нибудь намекающего на милость слова.

На дуплистой березе, возле самых барсуковских землянок, было обнаружено Юдой точно такое же объявление, только слова в нем стояли какие-то смутные, скользкие: «смотря по вине». Меньше чем через час об этом знали уже все, а через два часа был созван в Семеновой зимнице совет для обсуждения плана действий. Когда расселись верховоды по темноте,— а большая часть толпилась снаружи, за открытой дверью,— уже вторично, при свете спички, зажженной Жибандой, прочел Семен вслух Антоново посланье. И, не давая времени барсукам впадать во вредные раздумья, тут же стал говорить. Первые его слова были встречены дружным ворчаньем, потом слушали внимательней. А Семен говорил в тот раз складно и сильно, как никогда, всего себя вливая в горячие, искренние слова. Лицо его стало как-то сердито и внушительно в черной оправе бороды. Невдалеке стояла Настя, и, чувствуя ее побуждающий взор на себе, еле поспевал Семен за вихрем своих мыслей.

— ...слыхивано, что и в соседних губерниях заварушки вышли. Уж и пушки будто бы... там вплотную сошлись. Так что я и наказывал проезжим, чтоб звали их, всех барсуков, хоть со всего света, к нам, на объединенье. Мы как соединимся, так и вдарим с сорока концов. Коли каждый по камню бросит, и то гора выйдет. А нам на Антонову милость идти не след. Ишь, судом застращал! А какой нам с тобой, к примеру, Евграф Петрович Подпрятов, суд? И тебе тоже, Кирилл, и тебе, Лаврен? Не сами ли вы солому таскали под исполкомские-то стены? А не ты ль, Гарасим, Мурукова вверх подымал да оземь брякал?! Наш суд — пуля, страшный суд!.. Что ж ты, Гарасим, вертишься? Ты у меня, Гарасим, соколом гляди! Не гоже коноводу Гарасиму воробьишка представлять из себя. И на тебя уж готова пуля, лежит в Антоновом кармане! Ужли ж так застращаны, что и до кустов добежать не впору будет? Да еще и кто он есть, Антон!

— Значит, власть настоящую имеет, коли прощенье сулит! — глухо, но слышно вставил рассудительный попузинец. — Какая ты власть! — осмелев от одобрительного молчания

остальных, поднял он голос. — Ты наш, свой, мы тебе и повиноваться не можем! А он, эвона, пахать велит...

— Это девствительно... Ничего я из яровых в сей год не запахал,— раздумчиво сказал бородач из двадцать третьей.

— Сказано, наделов будут лишать,— прибавил приятель бородача, ковыряя в затылке.

— Так разве ихняя только власть прощает? — наступал, озлобляясь, Семен. — Вот погодите, придет подкрепленье, скинем ихнюю руку, так и мы прощать будем. Этак-то легко прощать, если кнут в руке держать...

— Не затем воюем, чтобы прощать,— сердито вставил Гарасим.

— Это уж девствительно. Прощенье только людей портит,— добавил бородач из двадцать третьей.

Настроение решительно изменилось в сторону твердой обороны до самой той поры, пока не объявится подкрепленье. Мишка, закуривая, зажег спичку, а Семен искоса взглянул на Настю, и вся сила, отхлынувшая было, вновь прилила к нему, как полая вода, ломающая плотины. Настя сидела в углу с полуоткрытыми глазами, а рукой делала движенья, точно гладила кого-то, стоящего перед ней. Он говорил теперь еще безжалостней, как бы в исступлении, точно пинал и ворочал гору, возлегшую на его пути. Вовсе не слышалось возражений. Задеты были мужиковские сердца, заговорила кровь, сама земля. Гарасим потерянно теребил поясок рубахи. Юда грыз ноготь и умным выжидающим взглядом мерил соотношение смутного, белевшего в потемках Семенова лица с Настей, еле приметно раскачивавшейся в такт Семеновым словам. Бородач из двадцать третьей, с напряжением выпятивший грудь, выглядел как на исповеди: просветленный, виноватый, необычный. Приятель его, верный подголосок бородача, потряхивал головой, жалко плакал, чесал затылок, оглядывался по сторонам и подтягивал вверх штаны — все это разом.

— Это уж девствительно! — и, хныкая этим словом, занятым в долг у приятеля, толкал соседа в бок.

Какой-то, не особого роста, высунул из толпы кулак и перекричал Семена: «До конца биться... круши, вали!» Тут-то снаружи раздался вдруг гул голосов. Задние из толпившихся за землянкой куда-то побежали. Кто-то удивленно свистнул, кто-то упал, и над ним засмеялись, кто-то выстрелил,— суматоха и замешательство усилились.

— Тинтиль-винтиль, а ведь это за нами, братцы, пришли,— вслух догадался Стафеев.

— Узнай поди,— дрогнувшим голосом, потому что оборвался на полуслове, велел Семен.

Но Жибанда не успел сделать и трех шагов по тесноте — Петька Ад, длиннорукий и усердный, с искаженным лицом, остановился перед Семеном.

— Ты что?.. — Семен отвел рукою от себя Настю, протиснувшуюся к нему.

Петька Ад глубоко вздохнул, высунул язык и снова спрятал его, еще более ширил круглые глаза, а говорить не мог.

— Ой... бег со всех сил, дух заперло... — махом выдохнул он и опять побаловался языком. — Как я разводящий ноне... подхожу к дуплу...

— Там кто часовой?

— Тешка... А он уже и стрелять нацелился!

— Да говори толком, черт! — озлился Семен.

— Счас, счас, вот только дух переведу. Комиссар пришел! — крикнул Петька и бессильно присел тут же на пол.

Семен не успел переспросить. Снаружи раздались крики: «Ведут, ведут».

— А?.. Кого ведут? — всполошился приятель бородача и заметался между барсуками.

— Черта, папаша, поймали. Черт по малину пошел, его тута и сграбастали! — зло и спокойно ответил Юда и похрюкал по-свиному.

— Так какая же малина ноне? Ведь не пора ей, друг! — поверил чистосердечно приятель бородача.

— Огня, огня!.. — прокричал кто-то.

Бегунов зажег было светильник, но его тотчас опрокинули, и снова встали потемки. В дверь вводили пойманного на поле.

— Огонька-а бы! — жалобно прокричал тот же голос.

Мишка чиркнул спичкой и поднял высоко над головой. Толстые, короткие, уродливые тени испуганно заметались по стенам. Но спичка потухла, и снова на стены нахлынула темь. Наконец кто-то зажег лучину и осветил неизвестного гостя.

— Это ты сейчас и пришел?.. — едко спросил Семен у стоявшего перед ним Половинкина; он узнал его сразу, хотя от прежнего воровского продкомиссара оставалось только несколько неуловимых черт.

— Семен Барсук, это ты? — торжественно спросил Половинкин в упор и громко.

— Я, ну? — чему-то смутился Семен.

— Тебе письмо от брата! — и протягивал на разжатой ладони записку, смятую чуть не в шарик. Лучина потухла, но при ее последней вспышке уже различил Семен насмешку в половинкинских усах.

Общее недоумение охватило всех: еще не совсем забыт был Брыкин. Сам Семен ощутил странное волнение, сходное с тем, какое испытал в давней юности при встрече с Павлом; он взял записку и стиснул ее в кулаке. Никто не видал из-за темноты той жалкой улыбки, которая набежала при этом на Семеново лицо. Опять зажгли лучину. Все молчали, глядели на Семена ждущими, выспрашивающими глазами. Юда, надув щеки, ловко сыграл на губах, и все поняли, что хотел сказать этим Юда.

— Ну, я пойду,— сказал Половинкин, вопросительно посмотрев на Семена, и почти повернулся уходить. — А может, убивать будете?.. — вдруг выжидательно на полуобороте задержался он.

— Мы тебя на сей раз не тронем, один ты... — тихо отвечал Семен и знал, что барсуки его слушают так внимательно, как никогда. — Ступай, пожалуй.

— Может, глаза завяжете? — уже с нескрываемой насмешкой спросил Половинкин.

— Нет, так ступай... — сказал Семен, чувствуя, что приступает к горлу гнев: — Брыкина, родню твою, мы прикончили... слышал? — ударил он словом.

— Повесили, что ли?

— Не-ет, просто так... из ружья! — сказал Жибанда, вразвалку подходя со стороны.

— Напрасно... — холодно откликнулся Половинкин. — Не стоило на такого пулю тратить, на сук бы — и все.

— Может, к дружку своему хочешь? Места хватит там! — И Мишка, играя, больно шлепнул Половинкина по спине.

— Да уж что: под землей места просторные,— охотно согласился Половинкин, как бы не приметив Мишкина шлепка. — Ну, я пошел... меня там подвода ждет! — и двинулся из темноты землянки на растворенную дверь.

Барсуки расступались перед ним — негодующие, недоуменные, путающиеся в подозрительных соображениях, уже озлобленные, но безмолвствующие. Они ждали от Семена приказания... но Половинкин уже уходил, ушел, а Семен все кусал губы, комкал в руке непрочитанную записку, трогал щеки

себе, прислушиваясь к чему-то: тысячью почти незаметных движений выдавал свою растерянность.

...Ночью в сторожевую землянку пришел Жибанда. Полуодетая Настя сидела у стола, без сна. Она с вопросом подняла глаза на Мишку и движением головы закинула волосы назад.

— Ты не спишь? — сказал, оглядывая землянку, Мишка. — Что же дверь-то у тебя не заперта стоит? Я поговорить с тобой пришел... Не прогонишь?

— Дверь?.. Гостя жду,— сухо ответила та и, вытянув полуголые руки поперек стола, зевнула. — Длинное будешь говорить?

Мишка глядел ей куда-то в шею.

— А это правда, злая ты! — раздельно и сипло произнес он и подошел ближе. — Красивая, а злая... Ты не бойся, я с тобой в последний раз говорить буду. Ты уж выслушай, а там как знаешь.

— Бежать, что ли, хочешь? — тихо посмеялась Настя и потянулась, сильно выдаваясь грудью вперед.

— Ах, злая, злая... — качал Жибанда головой и не сводил глаз с голой Настиной шеи. — Что это ты, так и сидишь все? Злость копишь?

— Говорю тебе, гостя жду... — и подняла распрямленные брови с досадой, что таким непонятливым стал Мишка. — Ну садись, чего ж стоять! Рассказывай, куда же ты побежишь?.. Сам к себе в карман спрячешься?

Мишка сильно вздохнул и замахнулся было глазами, но поборол минутную вспышку,— покряхтел и сильно пригладил правый ус.

— А ты не тешься, не игрушка... Смотри, зашибить тебя могу. Раз я тебя люблю, значит, и власть над тобой имею.

— Откуда ж твоя власть? — кусала губы Настя. — Спас ты меня... так ведь я тебе заплатила!.. — Она встала, взяла с гвоздя кожан, накинула на голые плечи и снова села.

— Зачем ты маешь меня, Настенька, так? Я к тебе не без дела пришел!.. Пришел сказать, что полный каюк нам. У мужиков неспокойно, Юда там... — Мишка, точно отчаявшись, скривил губы и погладил усы. — А в соседней губернии и вправду, говорят, начинается. Вот я и говорю тебе, что мне сердце велит! Лето мы с тобой в лесах перекочуем, а потом сызнова гульнем. А здесь нашей свечке неделя сроку, а там потухнет. — Мишка стал говорить тише. — Семен из упрямства не пойдет! Он ровно безумный какой-то теперь... разъела его

нуда эта, всемирное подкрепленье! Расея! — сипло захохотал он, а руки держал в боки. — Расея! Словно Расея-то зá морем, гора такая... А мы и есть Расея! Я — Расея! — сердито, с раздутыми ноздрями ткнул себя Мишка в грудь. — И откуда он слова-то такие выковыривает, дурак? — Он оглянулся на дверь.

— Ничего, это ветер,— предупредила Настя. — Ты говори, говори... Я его сейчас жду... Вот до его прихода и говори.

Мишка раскачивался на табуретке, как бы томимый жаждой и страстью, глядя на голые руки, и тяжело опускал взор.

— ...Себя обманывает и нас всех в яму ведет. Он тебя не любит. У него свое есть! А ты ему заместо вина, ты пьяная... ты как отрава пьяная, как вино! Ишь как ноздря-то ходит, ишь! Ходи, ходи, бубни-козыри!.. — словно в смертном недуге, выкрикивал Мишка. — А ты мне всякая мила. Ну что ж, и Дунька во мне другого голубила... и ты меня чужими словами травила. На чужих пирах объедки жру, ровно вор какой! — хохотал он с лицом, почти исказившимся.

— Ты где охрип-то так? — спокойно спросила Настя и, заметив тяжкие Мишкины взгляды, зябко запахнулась в кожан.

— Лунища счас светит, холодная... Вот бы в самый раз нам уходить!

Настя встала, подошла к нему и подсела на краешек его табуретки.

— Все сказал? — спросила она и вкрадчиво погладила его волосы.

— А что еще? — насторожился Мишка и отодвинулся чуть-чуть.

— Ну, слушай тогда... я тебя слушала, а теперь ты! — Она движением плеч сбросила кожан на пол и села так, что могла видеть Мишкино лицо. Было такое, словно вычерпывали кувшинами буйную Мишкину волю взмахи отяжелевших Настиных ресниц. — Нет, ты не отвертывайся! Ты мне в лицо гляди, вот так! Видишь, какая я... Хорошая, плохая?.. Ну, отвечай... ты!

— Да-а... — невнятно мычал Мишка. — Приятная.

— Ну вот! Не он убил, а это он у Брыкина украл, я знаю. И теперь все обозлятся, что Половинкина он выпустил, не дал потешиться всей этой... дряни! — прибавила она с трудом и не думала раскаиваться в неосторожно выпрыгнувшем слове. — А я вот жду его, Мишка, и каждая кровиночка во мне тлеет... Сколько кровинок — столько пожаров! Понимаешь? Напрягись

и пойми! Ах, ты ведь не знаешь, какой он... Он — как река, вот! Мы не видим всего, потому что маленькие, да он и сам себя не видит!.. — Она, раскачиваясь и заплетя на колене руки, озабоченно опустила глаза и прибавила: — Знаешь, Мишка... ведь ужасно это трудно вот... любить такого!..

И долго еще бредила Настя, безжалостно бередя Мишку. Семен пришел поздно. Когда он здоровался с Мишкой, оба хотели скрыть свое обоюдное замешательство друг перед другом. Настя сказала шумно и радостно:

— Сеня, знаешь... — Она положила руку на плечо Мишки, понуро глядевшего на ползшую по столу землемерку: гусеница, раскачиваясь, ползла от огня, и, по мере удаления ее, удлинялась ее тень. — Он меня тут бежать уговаривал!.. — Настя внимательно следила за Семеном и, едва тот сделал движение рукой, перебила его: — Но он не уйдет, не бойся. Он с нами будет, до самого конца! Ты знаешь, Сеня... он ведь тоже ужасно хороший, только он — ну вот как бы...

— Жамши меня мать родила... Хлеб в поле жала и родила! Вот я такой и получился! — грубо усмехнулся Мишка и, не взглянув на Настю, пошел вон из землянки.

XXI. ВСТРЕЧА В МОЖЖЕВЕЛЕ

Записка, подписанная Павлом, звала Семена не на переговоры по барсуковским делам, как предполагал Юда, взмучивая барсуковское воображение, а совсем для иного. «Узнал я, что это ты и есть Семен Барсук... слышал о тебе... хочу повидаться, узнать, во что ты вырос». Местом встречи назначалась ямника на опушке Кривоносова бора, сто сорок шагов от дороги, двадцать — от повалившейся сосны. «И приходи по-хорошему, завтра в полдень, без оружия: нам и слов хватит. И без провожатых приходи... и я тоже один приду!» Тон записки был таков, словно Павел и не сомневался в Семеновом согласии.

Воспоминания о брате взволновали Семена, досада и недоумение охватили его. Ночь, те два часа, что оставались после ухода от Насти до рассвета, он не спал, а просидел на своем пеньке, глядя в пустой луг и ожидая восхода. Солнце взошло как-то сразу и не в меру ретиво, и скоро начала разливаться в воздухе духота, покуда еще смиряемая утренней влагой. Начало дня обещало к исходу своему грозу,— первовесеннюю,

проливную. Уже когда Семен выезжал на место свиданья с Павлом, повевало едкой пылью по дорогам, а кусты разлохматились, обвисли, пряча лист от солнца и пыли. Вез Семена Барыков, но ехал еще и Супонев, не безоружный: под соломой на дне подводы спрятаны две винтовки.

Желтое солнце взбиралось все выше по небу, совсем ровному и синему до синевы мрака, что сразу же и отметил Барыков.

— Ишь какое! — ткнул он кнутом в небо. — Как смертуха...

Супонев откликнулся:

— Широта-а! — И вдруг, в ответ своим мыслям, ото всего сердца обратился к Семену: — Эх, Семен Савельич, а не понимаешь ты мужиковского сердца!..

Так они и ехали. На седьмой версте от землянок встретили толстую бабу из Попузина, — гремела телега, тряслась баба, и щеки у нее тряслись. Ее расспрашивал Семен, остановив подводу, крепко ли стоит у них Советская власть, не шатается ли. И опять ехали, пока не указал Супонев, лениво копаясь в носу, на поваленное дерево:

— Не там ли?..

Семен соскочил с подводы и огляделся. Никого еще не было здесь, кроме них. На молодой траве не виднелось ни копытного, ни колесного следа. Вправо, в полуверсте, змеился овражек; ближайший его берег полого сходил вниз. Туда и велел Семен съехать Барыкову, там и дожидать — его ли самого, его ли свиста. Сам он недолго постоял у ямины, ковыряя палкой траву, — надоело, да и солнце жгло, несмотря на белую его рубаху. Он подался в лес, бесцельно околачивая палкой сухие сучки елей. А был май, полз копытень под ногами, купена цвела. Ее восковые зеленовато-белые цветы хрупко свисали с наклоненных стеблей, как крохотные ушки, настороженные слушать тишину утра, проникнутую острой лесной прелью. «Еще не приехал, — сообразил Семен. — Можно будет подглядеть, один придет Павел или нет...» И тотчас же эхом отозвалось внутри, что затем и приехал не один, чтобы хоть чем-нибудь воспротивиться надвигающейся издалека жесткой воле брата. Боясь упустить приезд Павла, он ходил по лесу вблизи самой опушки, делая как бы круги. Вдруг понял, что круги эти и есть признак его волненья. Несколько мгновений колебалось в нем неуверенное желание уехать назад, не повидавшись с Павлом. Он остановился и ударил палкой по толстой ели.

Палка сломалась, осколок ее упал невдали. Уже с обломком в руке он продолжал ходить, ощущая в себе какой-то прилив — скорее дерзости, чем силы.

Вверху застучал дятел. Запрокинув голову, Семен глядел, как выколачивал дятел съедобное из сосновой коры, за кору же и держась, быстрым и ловким клювом. Стук был непрерывен, мелок и быстр. Странное оцепенение нашло на Семена, кровь прилила к шее, шея затекла, а он все глядел на дятла и на небо, видное за ним. «Ишь ведь как, ровно молотком работаешь! А я не могу так, как дятел,— текла по телу оцепенелая мысль,— потому у меня голова большая, а у тебя маленькая...» Вдруг Семену стало как-то чудно и любопытно; он подошел к дереву и сам постучал в него лбом, стараясь достигнуть дятловой быстроты и четкости в ударе. Четкость звука, как и быстрота, вовсе не удавалась. Он хотел уже вторично попробовать, но обернулся неожиданно для самого себя и, облившись расслабляющей дрожью, увидел Павла. Он узнал его сразу, несмотря на преграду прошедших лет, стоявшую между ними подобно мутному стеклу. Хромой, живой, настоящий Павел сидел на дереве, положив руки себе на колени, задумчиво следил за бородатым, вздумавшим подражать дятлу...

— Я тебя и не заметил,— в замешательстве сказал Семен, направляясь к брату. — Ты давно тут?

— Да уж минут двадцать сижу... — ответил Павел, вставая. — Я вот здесь и сидел все время.

— Что ж ты меня не окликнул, раз сидел? — обиженно упрекнул Семен.

— Да я думал, что видишь меня, а нарочно показываешь, что не заметил,— просто объяснил Павел. — А сперва-то я и не узнал тебя. Вижу, чудак в белой рубахе...

Оба стояли друг перед другом, забыв поздороваться. Семен все тер лоб себе и с досадой следил, как овладевает им смутительное чувство неловкости.

— А ты здорово изменился,— отметил, подумав, Павел. — Борода эта у тебя... ведь раньше ее не было.

— Это ты правильно,— раздражительно согласился Семен. — Бороды раньше у меня не было... борода выросла потом!

Теперь свистели вверху какие-то незримые птицы. Подуло ветерком, и две сосны заскрипели друг о друга.

— Грибы-то не поспели еще? Что это мне... все грибами пахнет,— как бы и не заметил Семенова выпада Павел.

— Грибу рано, теперешний гриб червивый... — ответил Семен, помахивая обломком палки. — Вот к жнитву...

— Ну-ну, ведь ты теперь лесной человек, знаешь! — поспешно согласился Павел. — Пойдем куда-нибудь поглубже, хочешь? — и испытующе поглядел на брата. — Вон туда пойдем,— и показал в можжевеловую чащу, где стояли вечные сумерки. И опять взглядом старшего наблюдал за поведением Семена.

— Пойдем, я не отказываюсь... — И пошли. — Не хочешь, значит, о домашних-то спросить? Оторвался ты от нас совсем, Павел... — сумрачно заметил Семен, обходя рослый куст можжухи.

— А что... умерли? — догадался Павел, на ходу обрывая веточку можжевела и нюхая ее, растертую в пальцах.

— Не отпевай раньше времени. Мать жива еще! — и ударил палкой в развилинку можжевелового ствола. Сучок оторвался и повис на тонком ремешке коры.

Павел точно не замечал всех Семеновых движений,— шел просто, прихрамывая на ногу с высоким искусственным каблуком.

— А шумишь ты крепко! — заговорил он. — Гляди, из Москвы для тебя приехал. За три тыщи ты прослыл в Москве.

— Шумим, да... — подчеркнул Семен. — В борьбе права свои ищем.

— Ты что же, эсер, что ли? — спокойно полюбопытствовал Павел, повертываясь к брату.

— Анархист!.. — насмешливо выпалил Семен и тоже покосился на лицо брата: оно было непонятно и холодно, как книга, написанная на чужом языке.

— А-а, ну-ну, вали... — и остановился подтянуть спустившееся голенище сапога.

— Что ты акаешь!.. Прямо говори!

— Да нет, ничего... так. Я люблю анархистов. — Павел как будто смеялся. — У меня в кашеварах анархист один. Ничего, ребята не жалуются, свое дело знает...

— А ты погоди издеваться,— опять сердился Семен. — Рано вы со своим Антоном с победой себя поздравляете! Вот погоди: развернемся, тогда... — Он оборвался, остановленный внимательным взором Павла. — Ну, чего смотришь?

— А много ли вас тут... по правде если? — И тень улыбки коснулась Павловых коротких усов.

— Нас? Да вот одной летучей братии тыща, да еще... — напропалую пошел Семен и снова видел перед собой книгу непроницаемого смысла.

...Они подошли к месту, где когда-то гулял вихрь бури. Здесь, среди огромных можжевелов, гнили одно на другом три дерева, выдранные с корнем из земли. Павел сел на одно из них, но гнилая древесина с хрустом осела под ним. Он пересел ниже и показал Семену место рядом, но тот остался стоять.

— Ну, а сотня-то есть? — спросил Павел, пробуя прошлогоднюю можжевеловую ягоду на вкус.

— А вот считай три раза по сто, да еще вдесятеро... вот и будет в самый раз! — Семен отвечал, почти не думая.

— Чего ж ты злишься! Драться мы потом будем. Я не за тем пришел! — легонько пожал плечами Павел. — Ты мне уж очень любопытен теперь, Семен... — Голос Павла смягчился до искренности, а Семена, когда садился, вновь кольнула тревога. — Очень я к тебе любопытен... я ведь сразу узнал, что это ты и есть! Я и вообще к человеку стал любопытен, ты не гляди, что я... — Он запнулся, и лицо его на мгновение омрачилось. — У меня вот в отряде сто сорок жратвенных единиц всего, а среди них дьякон. Да, да, не дивись. Долговолос и теперь, а уж очень в нем такое... когда-нибудь в старое время крепко обижен был. Да я его тебе покажу потом, если захочешь. Вот я гляжу на него и все не могу понять: откуда столько берется в нем?.. Да и вообще в людях, брат, непонятного больше, чем понятного. Мне вот третьего дня в голову пришло: может, и совсем не следует быть человеку?.. Ведь раз образец негоден, значит — насмарку его? Ан нет: чуточку подправить — отличный получится образец! — Павел криво усмехнулся. — Что ты тут поделаешь... человек — это, брат, историческая необходимость!.. — Семен не схватил его мысли, но ему показалось, что лоб у брата стал как-то выпуклей, а губы вяло обвисли. Павел разглядывал жучка, ползшего у него по ладони. — Устал я, что ли,— не знаю. Но только думать о большом и главном всегда на просторе нужно, под звездным небом, например!

Только последнее — «думать надо на просторе» — и понял Семен; оба теперь думали о разном. Обступавший их можжевел воплощал в себе, казалось, суть их молчанья. Можжевел — дерево скрытное, колкое, не допускающее в себя, замкнутое, строгое к жизни, самое мудрое из наших дерев; голубые и

розовые кольца свои кладет скупо, неторопливо, и в каждом кольце запах покоя, молчания, знания. Травы в этом темном можжевеловом месте почти не было. Не нарушаемый человеком, он рос здесь высоко и густо, прозрачно-синих оттенков. На дне глубоких рек такая же безмолвная синева.

Они просидели на тех полусгнивших деревьях еще долго. В высотах звонкая кукушка вела свой непостижимый счет. Павел, все еще глядя на жучка, спросил у Семена о причинах, толкнувших его на столь предосудительные поступки. Семен заученно повторил все то, что говорил накануне барсукам. Волнуясь, он копал ямку обломком палки, но прежнего недоверия к Павлу как будто уже не оставалось в нем. Когда кончил, ямка в лесном прахе и свидетельствовала о Семеновом волнении.

— Много ты тут наворочал,— заговорил Павел, рассеянно закидывая Семенову ямку носком сапога. — Я тебя не уговаривать, конечно, пришел, а уж если зарубил, то и выслушай...

Ямка все заполнялась, скоро она совсем сровнялась с землей, а травинка, засыпанная случайно и торчавшая теперь, как будто убеждала даже, что никогда и не было здесь ямки, а травинка так от века и росла. Потом говорил Семен и опять раскидал ямку, а Павел снова ее засыпал, и ни тот, ни другой не замечали этого. Они поднялись вдруг, словно по уговору, и постояли так с минуту, несогласные. Искусственный каблук Павла пришелся как раз на ямку, только что засыпанную им же.

— А помнишь, Паша, как мы с тобой в подвале плакали вместе?.. — грустно сказал Семен, подымая брови, и отшвырнул далеко обломок палки.

— Что это мне все грибной дух мерещится? — будто и не слышал Павел, идя рядом с Семеном из леса. — Да, вот я и говорю,— продолжал он,— все равно к нам придете... и не потому только, что мы вам землю стережем! Не-ет, без нас деревне дороги нету, сам увидишь! И ты не мной осужен... ты самой жизнью осужен. И я прямо тебе говорю — я твою горсточку разомну! Мы строим, ну, сказать бы, процесс природы, а ты нам мешаешь... А вот и грибы! Ты говорил, что нет грибов. — И Павел наклонился над пнем.

— Это поганки... — вскользь заметил Семен и встряхнулся; до опушки они шли молча. — Ну, я свою лошадь там, в овражке привязал! — развязно сказал он, стыдясь перед братом, что приехал не один, нарушив условие.

— И я там же поставил... — и покосился на Семена.

...Они подошли к скату оврага, тут стоял орешник, и оба сразу насмешливо переглянулись. Павел приехал тоже не один. Но не это удивило обоих. Верховой Павла, малый в кубанке с красным дном, сидел на Семеновой подводе, рядом с барсуками, и что-то оживленно рассказывал, сопровождая слова жестами, обозначавшими размах мыслей и чувства. Оба, Барыков и Супонев, слушали с почтительным вниманием. Все они дружелюбно курили, не было, казалось, никакой причины завтра же, быть может, сходиться на последнюю схватку.

— Вот видишь, как обернулось-то... — поучительно сказал Павел.

— А что, Павел! Чуть мы с тобой в сторонку отошли, и посмотри, как беседуют-то ладно! А что, если бы совсем нас с тобой не было? — подтолкнул брата Семен.

Павел дернул плечами.

— А ты послушай, о чем они беседуют! — холодно возразил он. Судя по обрывкам, высокий в кубанке повествовал об усмирении какого-то дезертирского бунта. — Мой твоих уговаривает! — одними глазами усмехнулся Павел.

— Митька! — закричал во всю грудь Семен, выйдя из-за куста. — Подводу сюда... черт!

Внизу произошло замешательство. Барыков потушил в пальцах недокуренную папироску и окурок сунул себе куда-то в волосы. Рослый в кубанке засуетился у лошадей.

— ...И скажи своему Антону,— крикнул Семен, влезая в подводу,— что-де крепколобы барсуки, нейдут на уговор!

— Ладно,— засмеялся Павел уже верхом на лошади,— скажу!..

Хромая нога Павла не мешала ему ловко сидеть в седле.

XXII. ГЛАВА ИЗ ОТРЫВКОВ

Барыков, чувствовавший себя виноватым, ударил по лошадям.

— Семен Савельич,— обратился Барыков, когда отъехали от оврага версты на две,— на-ко, пригодится там тебе... в обиходе! — и протягивал Семену наган. — Кобур, вишь, у него расстегнутый был! Ну, вот, и смутило меня...

— Это у высокого, что ли? — усмехнулся Семен своим повеселевшим мыслям и всю дорогу вертел в руках уворованный у кубанца наган.

Дорога шла опушкой. На четвертой версте, где огибала дорога лесной мысок, услышал Семен равномерное поскрипывание луба и лыка за поворотом. И почти одновременно увидел шедших навстречу подводе людей с лубяными котомками за плечами. Их было больше двадцати: бородачи из двадцать третьей, вся двадцать третья целиком. Татарчонок, единственный молоденький среди них, шел с ними молча, как и все.

— Куда?.. — испуганно закричал Семен, соскакивая с подводы.

Бородачи в тяжелых сермягах стояли полукругом, глядели в желто-красный растрескавшийся прах дороги — песок с глиной,— вытирали рукавами лица. Было почти нечем дышать, парило. По небу, какому-то черному, замедленно плыли легкие облачка, похожие на белые лепестки. Но нижние поверхности их были плоски и сизы.

— Замиренье, сказывают!.. — вздохнул русый бородач, тот самый, который накануне с чрезмерной готовностью поддерживал Семена.

— Землицу-т отвоевали, а пахать некому... — не сразу прибавил его приятель и, вскинув грустные глаза на Семенову руку, все еще державшую наган, прибавил тихо: — Ты штуку-те эту спрячь... еще выстрелит!

— Что ж, землячки,— заговорил Семен, со смущением пряча наган в солому подводы,— зарубить зарубили, а отрубать кум наедет? — Он искал глазами какой-нибудь пары сочувственных глаз и нашел: татарчонок, не мигая, глядел на Семена.

— Моя село, Саруй, кончал бунтовать... — с буйной неискренностью вскричал татарчонок и как-то сразу померк.

— Да вот и Половинкин тоже,— укоряюще переступил с ноги на ногу бородач. — Он мне весь дом перерыл, из огорода весь овощ повыкидал. Я и пришел сюда... отсюда, думал, достану. А ты его без никакой пользы отпускаешь! Закон-справедливости, Семен Савельич, в тебе нету. Обидел ты меня, ох как обидел, страшно сказать... А уж я ль тебе не служил?

— Ты не мне, Прокофий, служил,— оборвал его Семен. — Дело мирское. А уходить в такую пору нехорошо!

— Это уж конешно, обчество! — недовольно согласился Прокофий и встал боком. — А только мы не нанимались!

— «Нехорошо-о»! — передразнил крепкий, плечистый, в высокой шляпе, и горько покачал головой. — Это мы-те нехорошо? Крапивный у тебя лист заместо языка, Семен Савель-

ич! Бумажка подкинута — цену на тебя обещают, деньги дают, каб если мы тебя на суд выдали! А мы тебя рази, скажи вот нам, хоть бы пальцем тронули, ну?..

— ...и, главное, большие деньги! — огорченно вздохнул бородачов приятель.

Семен исподлобья глядел на бородачей.

— Ну, коли так... дороги наши, землячки, разные! — взмахнул плечами и скверно выругался он.

Он медленно влез в подводу, бородачи все стояли. И опять Барыков хлестнул по лошади, и телега помчалась по укатанной дороге, провожаемая понурыми взглядами бородачей. Семен не оглядывался.

— Э-эй... Семен! — закричали сзади, когда подвода уже укатила сажен на сто. Барыков попридержал лошадей. Семен оглянулся. Бородачи стояли на прежнем месте, но выйдя из-за поворота и горячо о чем-то споря. Самый молодой из них, маша руками, бежал к Семену. — Этого вот... Семен Савельич! Старички велят сказать, что хоть ругаешь их, а они незлопамятны. Велят сказать, что-де, если заминка с хлебом подойдет, ты засылай в Отпетово-те! Уж как-нибудь соберемся всем миром... — Но бородачи кричали что-то еще. — Ой, кричат, о чем бысь? — прислушался посланец и недоумевающе покачал головой. — Вы погодите тута, я мигом слетаю... узнаю счас!

Он побежал назад, и в лубяном коробке гулко сотрясались его пожитки. Семен ждал, царапая ногтем деревянную обивку полка. Наконец посланец вернулся.

— Ой...— закричал он, останавливаясь шагах в десяти от подводы. — Не так, парень, кинулось! Эвось Прокофий-те говорит, лучше не давать тебе хлеба-т! Уж во второй раз не простят ведь. Ты уж не засылай, не дадим. Живи себе с богом, как знаешь... — И посланец, сняв шапку, виновато глядел в нее, будто нашел в ней что-то укорительное для себя.

— Гони, Митрий!.. — зыкнул сквозь зубы Семен и, выхватив кнут, сам настегивал лошадей.

Казалось, что он насмерть собрался загнать гусаковских кобылок. Он бил их с яростью крайнего, неутоляемого отчаянья, не глядя, куда придется удар: по крупу, по уху, по дуге, по чересседельнику. Давно уж скрылись бородачи в пыли, а подвода все мчалась по песку, как по деревянному настилу, глухо гремя колесами, осью, винтовками под соломой. За версту до землянок Семен передал вожжи Супоневу.

— На, Ефим, правь... Надоело.

— Да уж чем там править? — ответил Ефим, не принимая вожжей. — Доганивай уж до конца. Чужие ведь!..

На вырубленном пространстве между землянками толпились и кричали барсуки. Еще издали по спинам их угадал Семен, что Мишке, стоявшему на возвышении, образованном накатом поваленной землянки, приходится совсем жарко. Мишка, стоя с грудью навыкат, красный, точно разваренный, напряженно слушал костлявого мужика в разодранной рубахе, налезавшего на него и махавшего растопыренными ладонями. Лицо Мишкино горело, как в огне, лицо костлявого было внушительно и жестко, как кулак. Сбоку, тоже на накате, стоял другой мужик, в штанах из клетчатой байки, с разбитым лицом. Всхлипывая время от времени, он проводил короткими пальцами себя по лицу и, покачивая головой, рассматривал выпачканные кровью пальцы. Недалеко, окруженный летучими, сдержанно и бледно улыбался Юда, не принимая заметного участия в происходившем разброде.

— Ну, чего вы тут? — окрикнул Семен, появляясь из-за спин. Его встретили решительным и враждебным гулом. Злые и ядовитые замечания сыпались отовсюду, и тут лишь понял Семен, что не следовало ему уезжать в то утро. — Не время теперь меня скидывать! Погодите, сам уйду... — презрительно и гневно бросил Семен и обратился к костлявому в разодранной рубахе: — Ну!

Тот подался назад, как от удара, и тотчас же хлопнул себя по бедрам и, приседая, толкнул на Семена искровенившегося мужика.

— ...дозволено ль? Дозволено ль так живого человека? Кто смеет так живого человека?! — чуть не приплясывал он. — Кровь эвон, видал? Кро-овь!! На, возьми себе... — и, по-хозяйски проворно прикоснувшись пальцами к кровяному лицу соседа, мазнул по белой Семеновой рубахе. — Мужики, эвон, красная... наша! Текет из него...

— Ты постой, не лопоши, земляк... — со спокойствием бешенства остановил того Семен и крепко сжал его за плечо. — Что ты, ровно баба, ровно родишь — орешь.

— Мужучки, а мужучки... слышали? Хрустнуло! — исступленно кричал костлявый, вертясь ужом в Семеновой руке. — Плечо хочет выломать!.. За правду плечики мои гибнут... Заступитесь! — Барсуки перешептывались, и осуждение, сто-

явшее в их глазах, было холодное, бесповоротное. Но выступать почему-то не решались.

— В чем тут дело, Миша?.. Объясни мне,— топом допроса спросил Семен у Жибанды.— Отвечай мне, я тебя тут оставлял. Громко отвечай, чтобы все слышали!..

— Двадцать третья ушла, и девятая ушла,— сказал Мишка, недовольно отворачивая лицо.— И десятая тоже ушла...

— Дальше докладывай! — велел Семен.

— Еще вот от попузинцев мужик наезжал. Подмоги просят. Началось у них еще с вечера... Я вот уговаривал, а они не хотят.

— А этого раскровенил за что?

Мишка молчал, затихли и барсуки. Только тот, в штанах из клетчатой байки, все еще всхлипывал, выразительно глядя по сторонам.

— А давай я расскажу,— предложил вдруг Юда, выходя от летучих.

— Говори,— согласился Семен и только тут, догадавшись, заискал глазами среди барсуков.

— Она в зимнице у тебя... в полной сохранности,— успокоительно и прежде всего сказал Юда, ловя Семеновы глаза; он понизил голос: — О ней и шла тут речь без тебя. Мое дело сторона... а только злобятся, что тайком, украдкой, одним словом, с Мишкой пользуетесь. Я уж и не говорю о том, что не по праву ты место занял! Да и много там за тобой! — Юда, говоря, чистил себе ногти ногтем же.— А хочешь по-честному, а? Я их подтяну сейчас, а? — Он коснулся пальцами Семенова рукава.— По-честному, услуга за услугу! Ну...

— Я тебя застрелю...— осипшим голосом сказал Семен, откидывая Юдину руку; пот с него катился градом.

— В которое место застрелишь-то? — поддразнил Юда и, постояв недолго, пошел прочь.

Барсуки разом загалдели. Костлявый стоял в беспокойной нерешительности, не зная, чем окончились Юдины переговоры. Тот, в штанах из клетчатой байки, стирал в катышки налипшую на нос кровь. Евграф Подпрятов царапал ногтем дерево, показывая, что он тут ни при чем.

— Ну, как же? — спросил Юда, встав на прежнее место.

— А вот как! — насмешливо закричал Семен.— Правда ваша, мужички... Помогать другим да попузинцев поддерживать нам теперь не расчет! — И он посвистал, издеваясь над

оторопелостью барсуков. Никогда не бывал Семен столь дерзок со своими людьми.

— Да как же это так?.. — Юда не предвидел такого хода и растерялся. — Ты же сам все о подкрепленье говорил. Теперь вот и надо бы идти.

— А я говорю: не ходить! — возвысил голос Семен и пошел, провожаемый недоуменным гулом барсуков. — Кончена игра наша... И кто по домам хочет расходиться, могут! — крикнул он уже издалека. — Расходись, вали!..

В зимнице было прохладно, темно, и еще казалось, что тесно.

Настя говорила много и торопливо.

— ...Я была наверху, когда Мишка ударил. Этот клетчатый сказал обо мне нехорошо. Мишка велел повторить, тот повторил. Я убежала...

В стенках где-то скреблась мышь. Гуденье барсуков сюда не доходило.

— ...Я попузинца видала, верховой... Не-ет, безбородый! Я стала его расспрашивать, он сбился и ускакал. Я не знаю... Утром выходила — набат бил. Долго били, словно нарочно, чтоб мы услышали...

Семен постучал в теснину стены.

— ...Мышку пугаешь? Я вот уже час ее слушаю. Она сперва вон там где-то точила, потом все ближе. Слушай, зачем ты ушел от них? Ты с ними должен быть. Ты теперь ихний.

Приблизились шаги, вошел Жибанда, и дверь снова захлопнулась.

— Вы здесь? — окликнул он еще с порога, дыша точно после рукопашной.

— Ну, что там, — спросила Настя, — кричат все?

— Кричат! — Мишка прошел по темноте и сел, судя по голосу, на печку. Он задел, вероятно, локтем за трубу, трескуче выругался и ударил кулаком по трубе. — Выгнали! — И бурно пошевелился.

— Я пойду к ним... из-за меня началось, — твердо сказала Настя и встала.

— Нет, ты не пойдешь, — упрямо сказал Мишка. — Там теперь гниль начинается. Не пойдешь.

— А и пускай, к чертовой матери все! — отпихнулась от него Настя.

— Сиди, сказано! — прикрикнул строго Мишка, и опять ударил по трубе, и опять ругнулся.

— Сеня... что же ты сам мне не говоришь, чтоб не ходила... а? А ведь я и в самом деле пойду, пожалуй! — каким-то надтреснутым голосом спросила Настя.

Но она не шла, а сидела по-прежнему. Время тянулось. Опять раскрылась дверь. Вошедший, Прохор Стафеев, припер дверь поленом, чтобы не закрывалась. Желтые и зеленые, отраженные листвой отсветы ринулись в землянку.

— Садись с нами, отец,— хмыкнул Мишка носом. — До ножей-то не дошло еще?

— В поход пошли... — равнодушно, даже вяло проворчал Стафеев и сел на чурбак, сложив руки на коленях. — С песнями.

— Их остановить надо! Остановить... они ж на расстрел пошли! — возбужденно вскочил Семен. — В Попузине все спокойно, это Антон... Мишка, беги, упреди их. Вели назад!

— Не пойду,— не сразу ответил Мишка. — Ну их... — и выругался.

— Я пойду,— тоже не сразу предложила Настя и быстро пошла вон.

— А я сказал, сиди! — крикнул Мишка, догнал ее у самой двери и рванул к себе.

— Мишка, я тебе приказываю идти... — голосом, точно пробовал свои силы, приказал Семен; зеленый блик падал ему на лицо и омертвлял его не менее, чем его закрытые глаза. — Ты слышал?

— Да уж чего там приказывать, парень. Ведь не на войне! Они уж Юду выбрали, теперь уж не ты. Юда и повел! — сказал Стафеев. — Юда... он и вернуться обещал!

— Где уж там вернуться... — слабо сказал Семен, кивая в сторону Мишки. — Побьют ребят.

— Сам бы шел! — ворчливо крикнул Мишка, идя к двери. Настя бросилась за ним что-то сказать.

— ...И давно уж я говорил, что кончать надо,— рассудительно сказал Стафеев, гладя бороду. — Смехота! Рази может пара курей воз сена везти! — и засмеялся.

— Врешь... ты! — подскочил к нему Семен и, зажмурясь, замахнулся. — Врешь ты, ты мне другое говорил!..

— Чего ж ты замахиваешься-те? — спокойно откликнулся Стафеев. — Я же тебе это говорил, ясно дело! Хозяину и хозяйские слова... Дурачинка! — и остался сидеть в зимнице.

План комиссара Антона был совершенно верен. Нужно было разъединить барсуков и сильнейшую часть выманить в открытое попузинское поле. Брать землянки в лоб было немыслимо: слишком много опасностей таила изрытая земля, а рисковать своими людьми было не в правилах Антона. Одновременно с окружением Юды был предпринят натиск на землянки. Подвигались туда медленно, обыскивая и выстукивая каждый аршин барсуковского леса. Но уже была пройдена линия сторожевой землянки, и никого до тех пор встречено не было: великим даром уговариванья обладал Юда.

С поля доносилась в лес трескотня пулеметов, воздух вспенился от звуков. Настя и Семен стояли у опушки, у березняка, возле брыкинских, сизых теперь, крестов, и слушали. Густое малиновое солнце окрашивало березовые листочки в бурый, мутный цвет. В небе уже повисла готовая низринуться туча.

— ...ты стой тут! — вдруг надумала и решилась Настя. — Я попробую... Я сейчас лошадей приведу! — Семен нетерпеливо отмахнулся, и нельзя было понять: от Насти ли, от надоедливого ли роя комаров, вившегося у самого его лица. — Все равно, ты тут стой... Я быстро! — Она побежала в сторону землянок, не оглядываясь.

Как раз в тот момент лес огласился первым выстрелом, рассыпавшимся на мелкие и ничтожные гулы, словно каждое дерево, каждый сучок, каждая хвоинка повторили его. То на южной стороне землянок Антоновы люди встретили бегущего Жибанду. Жибанда бежал, и за ним бежали. В чаще ему удалось обмануть погоню: подвернулось полено, он бросил полено влево и шумом его падения отвлек погоню в сторону. Сам он почти бесшумно скользнул вправо и через минуту выскочил как раз на то место, где Настя ждала Семена. Сама она уже сидела верхом на лошади, лицом к опушке, а другую держала в поводу. Она не видела Мишку.

— Вот сюда... на эту садись,— скороговоркой, но почти спокойно кинула она, отпуская повод рыжей кобылки.

Мишка прыжком вскочил на лошадь, и оба одним махом вынеслись из леса в березняк. Тут только Настя увидела Жибанду...

— ...Слезай! — пронзительно закричала она с побелевшим лицом, округленными глазами уставясь в подмененного. — Это для Семена... Слезай!

— Семен уже там! — махнул рукой куда-то впереди себя Мишка. — Гонятся... — и собственным картузом, козырьком его, ударил по глазам Настину лошадь.

...Их спасла густая заросль березняка; к тому же погоня сразу наткнулась на зимницу и шарила в ней осторожно, как мальчишки в осином гнезде. Было еще несколько выстрелов, но почему-то здесь, в открытом поле, не были они страшны. Лошади несли так, словно знали, зачем и куда...

Шла гроза. Заугрюмевшее солнце оделось в иссиня-черное. Ветер крепчал и нагнетал с востока духоту, зной, сухую, разъедающую пыль. Часть тучи, самая темная, была похожа на ожившую каменную голову. То, что служило бровью ей, приподнялось и все еще приподымалось, как вдруг вся линия горизонта придвинулась и заворчала. Солнца не стало, и свистящая зыбь пронеслась по воздуху.

А двое мчались, не замедляя скорости. Уже хлестало их крупным ливнем, и ветер, как огромная метла, заметал с поля и мелкий сор, и тяжелые обрывки травы. Одновременно шел сплошной дождь из молний. Была сильна и неистова та первовесенняя гроза, как первая, необузданная страсть молодого.

Ливень стихал, а скачка все не прекращалась. Но вот ветер передвинул тучу к западу, небо засинело, долетели до земли последние крупные капли. В синей прорехе неба обнажился вдруг месяц, молодой и веселый, как бы новехонького серебра. Влево, под тусклой радугой, еще видны были серые полосы ливня, косо прочертившего небосклон. А здесь уже теплело. Луга кричали запахами. Шли быстрые сумерки.

— Я не могу больше... Все болит! — прокричала Настя, до нитки мокрая, и, остановив лошадь, стала слезать на мокрую траву. Уже сидя на траве, она вдруг замерла и прислушалась к чему-то, пугливыми глазами в синих кругах глядя себе на живот.

Мишка подсел к ней и взял ее за руку.

— Знаешь, Миша,— растерянно начала она, и слова ее звучали недоуменной жалобой,— я, кажется...

Она не договорила и заплакала.

Так они сидели на траве, оба не думали о Семене. Шел холод. Лошади паслись на траве.

...Именно теперь, когда все стихло, Семен вышел из глубин леса и пошел к Ворам. Сапоги его, и без того дырявые, размокли в ливне и трудили ноги. Он присел на пень, снял их

и кинул в кусты. Потом, уже босой, шел дальше. Ливень загнал в избы Антоновых часовых. Да Антон и не ждал никакого нападенья. После шума грозы настала полная тишь. Везде текли ручьи, возле Пуфлиной избы целый водопад свергался вниз.

Семена никто не остановил, пока он шел по селу. Воры как бы обезлюдели, даже ребята не бегали, всегдашние охотники посучить ногами вязкую грязь. Огня нигде не было. Избы уныло, как поздней осенью, глядели мраком окон. Попалась старуха Супонева на пути, она отшатнулась от Семена, но все же ответила на его вопрос. Семен после того пошел на выселки, к бабинцовскому дому. В воздухе было очень сыро.

На большом крыльце стоял стол, на столе — свеча. Пламя ее не колебалось: полное безветрие. На ступеньках сидел Антон и диктовал что-то Афанасу Чигунову, изъявившему свое согласие потрудиться для Антона в должности временного писаря,— когда-то в штабе писарем состоял Афанас.

— А-а,— сказал Антон без тени удивления. — Пришел же ведь! Ну, вот видишь...

— Сказать пришел, что ты, пожалуй, и прав был нонче утром, в лесу-то,— так же спокойно отвечал Семен.

— Это насчет чего, насчет мужиков-то? — нахмурился Антон и покосился на брата, стоявшего с опущенной головой.

Афанас не глядел на Семена и грыз ручку пера, которым писал.

— Что это, на ноге-то, кровь у тебя? — спросил Антон, подавшись немного вперед.

— Так! Через ручей переходил, порезался... — равнодушно ответил Семен.

Антон молчал и глядел теперь на то же, на что в эту же минуту смотрели и Настя с Мишкой,— на месяц — свежую березовую стружечку, игрой и удальством ветра занесенную за облака.

1923—1924

ПРИМЕЧАНИЯ

Первый роман Л. Леонова «Барсуки» был задуман осенью 1923 года. Тогда же автор написал начальные главы. Работа над романом была продолжена в январе 1924 года, а в октябре того же года Леонов завершил создание «Барсуков». Впервые роман был опубликован в сокращении в журнале «Красная новь», 1924, № 6, 7—8. Отдельной книгой «Барсуки» первым изданием вышли в 1925 году (Л., Госиздат).

Несмотря на то что роман был создан в сжатые сроки, его основные сюжетные линии значительно изменились на пути от замысла к воплощению. Известно со слов писателя, что первоначально в центре произведения должен был стать Егор Брыкин, мелкий торговец из Зарядья, а атаманом восставших крестьян предполагалось сделать мещанина Ковякина, пропавшего из затхлого городка Гогулева с началом революционных потрясений (см. повесть «Записи Ковякина» в томе 1 настоящего Собрания сочинений).

Тема Зарядья воплотилась в первой части романа, где густыми, живописными красками запечатлен этот торговый район старой Москвы и его обитатели. Здесь в художественно преображенном и обобщенном виде отразились детские и отроческие впечатления Леонова, воспоминания о доме деда, мелкого лавочника из Зарядья, о сложной атмосфере в семье, об отце, тяжело и трудно преодолевающем косные и неподвижные сословные традиции. Так появляются реалистические образы старика Быхалова, его сына Петра, множество подробностей и эпизодов, вплоть до сцены возвращения блудного сына из тюрьмы в старозаветный мещанский дом.

Однако, работая над романом, Леонов постепенно отодвигает тему «Зарядья» на второй план, а фигура Ковякина так и не появляется на страницах произведения. Главными героями «Барсуков» становятся братья Рахлеевы — Семен и Павел-Антон — возглавляющие два противоположных лагеря в борющейся деревне, и сама деревня, в трудных условиях продразверстки, мобилизации, гражданской войны, выдвигается

в основу художественного повествования. Отсюда — укрупнение общественно-социального пафоса произведения. Как размышлял, разбирая «Барсуки», Д. Горбов, «центральная тема писателя — о правах мелкого человека в обстановке исторического кризиса — нашла здесь разрешение на материале огромного значения, в общественном конфликте, центральном для этой эпохи. Она представлена здесь в форме столкновения между городом и деревней» (Д. Горбов. Леонид Леонов. — В кн.: Горбов. Поиски Галатеи. М., «Федерация», 1929, с. 170). «Роман является дальнейшим последовательным развитием любимой темы писателя о личности, о маленьком, среднем, неприметном человеке и его правах в нашу огромную, грозную пору,— писал, анализируя «Барсуки», А. Воронский.— Только охват здесь гораздо шире: вместо одного, двух героев Леонов взял деревенскую массу, целое движение, слив жизнь, обиды и запросы отдельных людей в один поток и (слив) личную постановку вопроса с общественной» (А. Воронский. Леонид Леонов. — В кн.: А. Воронский. Литературные портреты, т. 1. М., «Федерация», 1928, с. 345).

Выход романа «Барсуки» породил обширную противоречивую литературную критику. Подчеркивалась значительность этого произведения не только в творчестве самого Леонова, но и в истории русской советской литературы.

«Роман этот представляет собой крупнейшее литературное явление последнего времени,— признавал А. Лежнев. — Прежде всего он показателен как переломный момент в развитии Леонова... В «Барсуках» Леонов делает огромный шаг вперед. Он сразу выходит этим романом на самостоятельный путь. Тут перед нами оригинальное, сильное, здоровое произведение, широкого размаха и крупных художественных обобщений, большое полотно, в котором автор показывает значительный и важный отрезок нашей действительности. Но, развернув «эпическое полотно» такой незаурядной художественной мощи, Леонов тем самым становится в первый ряд современных писателей. Способность к широкому эпическому творчеству — самая редкая способность, по крайней мере, в наше время. В этом отношении Леонов значительно превосходит и Пильняка, и Всеволода Иванова, и Бабеля, и Романова» (А. Лежнев. Л. Леонов. «Барсуки». — «Печать и революция», 1925, № 3, с. 119).

«Барсуки» Леонова,— говорилось в другой рецензии,— серьезное и талантливое произведение. Тема его — одна из самых спорных и опасных в революции — удержание крестьянства в круге борьбы пролетариата в жестоких условиях продразверсток, мобилизации и пр. ...В повести Леонова тема взята глубоко, деревня и ее страсти показаны читателю в их разгоряченном состоянии. Все события повести развертываются на широком фоне разнообразных настроений и вырастают изнутри

окружающей жизни. Автор будто не знает, к чему он придет, так же как не знает этого каждый участник борьбы, и поэтому таким убедительно необходимым вырастает конец повести» (Б. Лунин. Л. Леонов. «Барсуки». — «Книгоноша», 1925, № 29, с. 12—13).

Высоко оценил «Барсуков» М. Горький. Прочитав роман, он писал Л. Леонову: «Сердечно благодарю Вас за «Барсуков». Это очень хорошая книга. Она глубоко волнует. Ни на одной из 300 ее страниц я не заметил, не почувствовал той жалостной, красивенькой и лживой «выдумки», с которой у нас издавна принято писать о деревне, о мужиках. И в то же время Вы сумели насытить жуткую, горестную повесть Вашу тою подлинной выдумкой художника, которая позволяет читателю вникнуть в самую суть стихии, Вами изображенной. Эта книга — надолго. От души поздравляю Вас» (Письмо от 8 сентября 1925 г. — М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29. М., 1955, с. 442).

Лишь рапповская критика, тенденциозно относившаяся ко всему, что не подходило под догмы «социального заказа», высказала немало претензий столь же резких, сколь и несправедливых.

В серьезной литературной критике много говорилось о художественных достоинствах «Барсуков», продолжающих высокие традиции русской классической литературы. Так, А. Воронский выделял: «Барсуки» — настоящий роман. Прошлое в нем органически переплетается с настоящим. Настоящее, уходящее в нашу революционную действительность, не кажется свалившимся неизвестно зачем и откуда. Современное не тонет, не расплывается в мелочах сегодняшнего быта, в газетном и злободневном. Дана перспектива; вещи, люди, сцены удалены на нужное расстояние, чтобы можно было их схватить в их целокупности. Быт густо окрашивает произведение, но не загромождает его, не душит читателя. Сюжет развернут как следует быть по замыслу, действие развивается обоснованно и закономерно, нет ничего случайного. Есть то широкое полотно, о котором у нас многие тоскуют. «Барсуки» ведут нас к лучшим традициям наших классиков» (А. Воронский. Леонид Леонов. — В кн.: А. Воронский. Литературные портреты, т. 1, с. 346—347).

Критики обращали внимание на гармоничность леоновского таланта, на его чувство меры и такта. «Ярче всего это чувство меры, это сознание Леоновым своих творческих качеств сказалось в «Барсуках»,— указывал Д. Горбов. — Именно этим обстоятельством была предопределена художественная удача произведения, а следовательно, и его общественная ценность. Стиль романа, на всем его протяжении сдержанный, спокойный, ясный, построение характеров ненасильственное, свободное, размеренность частей, стройность в развитии действия привели к тому, что основной, занимающий художника конфликт получает здесь оконча-

тельное и внятное уяснение. Притом уяснение это осуществляется не путем голого утверждения, в искусстве никого ни в чем не убеждающего, но органически, посредством раскрытия внутреннего содержания всего положения до конца» (Д. Горбов. Леонид Леонов. — В кн.: Д. Горбов. Поиски Галатеи, с. 174).

Отмечалось мастерство художника в лепке характеров, создании неповторимых индивидуальностей, вплоть до самых «проходных» персонажей: «В «Барсуках» выведена целая толпа действующих лиц, и все они — до последнего третьестепенного персонажа — обладают характерными, им одним присущими чертами, облечены упругой художественной плотью. Для Леонова не существует статистов, и какой-нибудь барин Свинулин, появляющийся в романе на мгновение с тем, чтобы бесследно исчезнуть, какой-нибудь Петька Ад, или приживалка Матрена Симанна, или Васятка Лызлов, участие которых в действии совершенно незначительно, сделаны почти так же законченно и тщательно, как Мишка Жибанда, центральная фигура романа. При этом мастерство Леонова сказывается в том, что он умеет развертывать характер, не прибегая к описательной, статической характеристике от автора, но выявляет каждый шаг за шагом, путем часто как будто второстепенных подробностей, незаметных штрихов — и всегда в *действии*, посредством действия» (А. Лежнев. Л. Леонов. «Барсуки». — «Печать и революция», 1925, № 3, с. 121).

Особое внимание уделялось языку Л. Леонова. Языковое мастерство отметил уже М. Горький, назвав язык «Барсуков» «крепким, ясным, русским языком». «Язык повести,— писал Б. Лунин,— очень красочный и живой, в повести прекрасная разговорная речь, изображения сценичны, у автора — богатый запас наблюдений» (Б. Лунин. Л. Леонов. «Барсуки». — «Книгоноша», 1925, № 29, с. 13). Даже критики рапповского толка, нападавшие на Леонова и его роман, принуждены были признать языковое мастерство в «Барсуках»: «Много и тщательно работал автор над языком романа. Русский сказ, заимствованный из былин, из народного говора, выдержан на протяжении всей вещи» (Г. Колесникова. «Барсуки». Роман Л. Леонова. — «Октябрь», 1925, № 9, с. 187).

14 января 1926 года Леонов на основе романа заканчивает пьесу «Барсуки», которую дорабатывает в сотрудничестве с театром им. Вахтангова в феврале того же года. 25 сентября в этом театре состоялась премьера спектакля «Барсуки». В откликах, наряду с замечаниями о трудности переделки романа в полновесную драму, выделялось нечто принципиально новое, что внес Леонов: «Пожалуй, дата такая будет: 25 сентября. Рождение настоящего большевика в театре им. Вахтангова» (Д. Маллори. Антракты. — «Современный театр», 1927, № 5, с. 71).

Начиная с романа «Барсуки» творчество Л. Леонова становится известно зарубежному, и прежде всего европейскому, читателю. О желательности перевода «Барсуков» на иностранные языки Горький писал Леонову сразу же после выхода романа в свет: «Жалею об одном: написана повесть недостаточно просто. Ее трудно будет перевести на иностранные языки. Стиль сказа крайне плохо удается даже искусным переводчикам. А современная русская литература должна бы особенно рассчитывать на внимание и понимание Европы, той ее части, которая искренне хочет «познать Россию». Честные люди Европы начинают чувствовать, что мы живем в трагический канун Возрождения нашего и что у нас следует многому учиться» (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 29, с. 442).

Прогрессивное парижское книгоиздательство «Ридер» дважды (в 1931 и 1932 гг.) выпустило роман «Барсуки», предисловие к которому написал М. Горький. Он, в частности, указывал: «Это не похвала, не порицание, а только попытка рассказать о том, как я вижу Леонида Леонова... Он — один из наиболее крупных представителей той группы современных советских литераторов, которые продолжают дело классической русской литературы — дело Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Достоевского и Льва Толстого... Я вполне сознательно измеряю Леонова столь высокой меркой, сознательно смотрю на него из ряда крупнейших людей нашей старой литературы: Леонид Леонов сам внушает предъявлять к нему высокие требования... его талант, глубоко радуя меня, позволяет мне уверенно ждать от молодого автора книг, которые могуче послужат делу возрождения человечества, делу объединения его в единую всемирную семью» (М. Горький. Предисловие к французскому изданию романа Леонова «Барсуки». — В кн.: «Литературное наследство», т. 70. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 262—265).

С момента выхода романа «Барсуки» в свет в 1925 году он выдержал свыше двадцати изданий в Советском Союзе, неоднократно издавался за границей, переводился на многие языки.

Стр. 18. *«Венеция»* — вымышленное название; бывший трактир Кукуева во втором этаже дома Берга, по соседству с бакалейной лавкой Быхалова (деда Л. Леонова).

Стр. 24. *А сто восьмого псалма запись...* — Псалом — каждая из песен Псалтыри, книги библейского царя Давида. 108-й псалом — жалоба богу на несправедливые гонения («отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со мною языком лживым; отовсюду окру-

жают меня словами ненависти, вооружаются на меня без причины...») и мольба воздать каждому из врагов за их злобу несчастьями и бедами.

Стр. 40. *...киевский патерик.* — Патерик или отечник — книга, содержащая жития преподобных отцов, подвиги христианских монахов, а также собрание их нравоучительных изречений. Киевский или Киево-Печерский патерик — сборник рассказов об иноках и истории создания Киево-Печерского монастыря (XIII в.).

Стр. 43. *Вшивая* или *Швивая горка* — улица старой Москвы, от Курносовского и Свешниковского до Ново-Космодамианского переулков, за Таганкой к Котельнической набережной. Церковь св. *Никиты мученика,* или Никиты-за-Яузой, находилась на углу Швивой горки и Малого Никитского переулка.

Стр. 54. *Толкучий рынок у Устьинского...* — площадь перед Устьинским мостом через Яузу, где продавалась всякая всячина, большею частью ветошь.

Стр. 60. *...бедноватой Зачатьевской церквушки, загнанной в самый угол Китайгородской стены...* — Церковь Зачатия св. Анны, «что в углу», (конец XVI в.), находилась в конце Кривого переулка, расположенного от Варварки до Проломных ворот.

Стр. 61. *...Пели уже «Славу в вышних»...* — Славословие великое, заутренная служба, совершаемая в православной церкви.

Стр. 82. *...поп от Николы Мокрого* — то есть из церкви св. Николая Чудотворца, именуемого «Мокрым», которая находилась в Мокринском переулке.

Стр. 83. *...горькие слова Давидовой печали.* — См. примеч. к стр. 24.

Стр. 93. *Варварка* — улица от Москворецкой улицы и до Варварских ворот в Китайгородской стене, где были торговые ряды.

Стр. 97. *Проломные ворота* — в Китайской стене, продолжение Псковского переулка у Москворецкой набережной.

Стр. 104. *На Гарасима-грачевника...* — 17 (4) марта день преподобного Герасима, «иже на Иордане», и преподобного Герасима Вологодского, когда с приближением тепла прилетали грачи.

Стр. 113. *...когда еще и второй Александр на Россию не садился...* — Император Александр II (1818—1881) был коронован после смерти своего отца Николая I в 1855 г.

Стр. 139 *...До Петрова дня ест...* — 12 июля (29 июня) день апостолов Петра и Павла.

Стр. 204. *...о русской Вандее и о мужицком Бонапарте...* — Вандея — гражданская война во Франции, в период французской буржуазной революции, в 1793—1795 гг., с контрреволюционными роялистскими

мятежниками, среди которых, наряду с дворянством и духовенством, участвовала и значительная часть крестьянства. Бонапарт — Наполеон Бонапарт (1769—1821) — французский государственный деятель и полководец, первый консул французской республики, а затем император Франции (1804—1815).

Стр. 213. *...разрушающим, подобно Самсону, подпорки...* — Самсон — библейский богатырь, обладавший сверхъестественной силой, победитель филистимлян. Согласно легенде, мощь Самсона была заключена в волосах, которые нельзя было стричь. Лукавая филистимлянка Далила, в которую богатырь был влюблен, усыпив Самсона ласками, остригла его, после чего филистимляне ослепили Самсона и заключили в цепях в темницу. В очередной храмовый праздник филистимляне привели туда в насмешку слепого Самсона, но за время пленения волосы богатыря отросли, и прежняя сила вернулась к нему. Поставленный между колонн, на которых покоились своды, Самсон раздвинул их и вместе со своими врагами погиб под развалинами.

Стр. 216. *...етуаль, по-ихнему* — étoile (фр.) — звезда.

Стр. 217. *Кокусом заведовал...* — искаж.: кокс, топливо или фильтрующий материал, получаемый при высоких температурах без доступа воздуха из каменного угля или торфа.

СОДЕРЖАНИЕ

БАРСУКИ

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Леонов Л.

Л47 Собрание сочинений. В 10-ти т. ———М.: Худож. лит., 1981 ——

Т. 2. Барсуки: Роман. /Примеч. Олега Михайлова. 1982. 328 с.

Во второй том вошел широко известный роман «Барсуки», законченный автором в 1924 году. Его центральная тема — один из драматических моментов в истории послереволюционной деревни — мятеж против советской власти части крестьянства, недовольной продразверсткой, и поражение этого анархического выступления.

Л $\frac{4702010200\text{-}038}{028(01)\text{-}82}$ подписное **Р2**

ЛЕОНИД МАКСИМОВИЧ ЛЕОНОВ

Собрание сочинений в десяти томах

ТОМ ВТОРОЙ

Редактор О. Афанасьева

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор Л. Ковнацкая

Корректоры

Г. Ганапольская, С. Свиридов

ИБ № 2426

Сдано в набор 23.02.81. Подписано в печать А04022 от 29.01 82. Формат 60×84$^{1}/_{16}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 19,13. Усл. кр.-отт. 19,6. Уч.-изд. л. 19,12. Тираж 200 000 экз. Заказ № 1835. Цена 1 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература» 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15



